

ЛЕХАИМ N 6 (218)

**ИЮНЬ
2010г.**

**СИВАН
5770**

ЛЕХАИМ ИЮНЬ 2010 СИВАН 5770 – 6(218)

Сознание, определяющее бытие

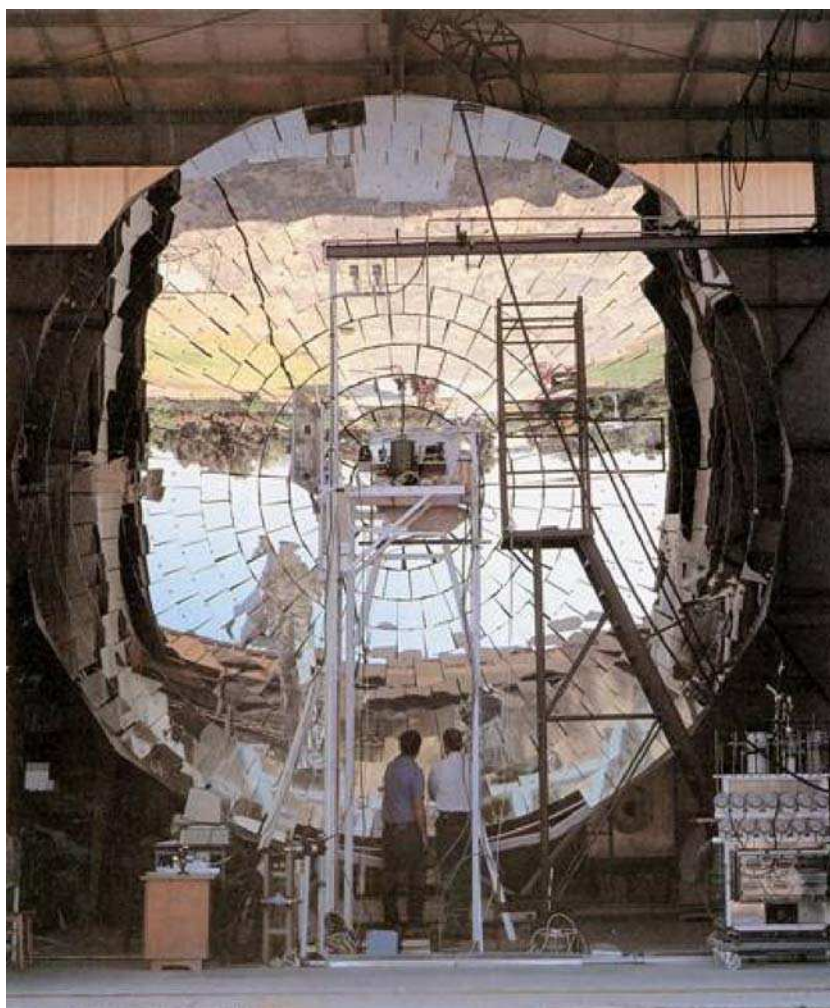
לְיָיִם אֲשֶׁר עָלָיו אֵלֵינוּ אֵלֵי שְׁמַיָּם אֵלֵינוּ אֵלֵינוּ אֵלֵינוּ

Теории эволюции

Возраст Вселенной

По благодати Б-жьей

18 тевета 5722 года (25 декабря 1961)



Солнечная печь Шефера. Институт Вейцмана. Реховот

<...> Я несколько удивился, что Вас до сих пор беспокоит проблема возраста Вселенной в том плане, что разные научные теории не согласуются с Торой, соответственно которой возраст мира составляет 5722 года.

Я не случайно употребил слово «теории»: нужно помнить, что наука оперирует теориями и гипотезами, тогда как Тора содержит абсолютные истины. Это две совершенно разные сферы, которые никоим образом нельзя совместить.

Особенно меня удивило то, что эта проблема мучает Вас так сильно и влияет на Вашу повседневную жизнь, препятствуя Вам как еврею регулярно исполнять мицвот. Вам должно быть известно, в чем заключается основной принцип еврейской веры: сначала «наасе» («делай»), а потом «ве-нишма» («понимай»), т. е. он предполагает обязательность исполнения Б-жьих заповедей независимо от того, насколько человек понимает их.

Иными словами, непонимание и даже существование «законных» сомнений не оправдывает неисполнения Б-жественных заповедей; тем более это относится к случаю, когда сомнения «незаконны» – в том смысле, что для них нет какой-либо реальной или логической основы. Именно к такому случаю относится обсуждаемый вопрос.

По сути дела, проблема коренится в ложном понимании того, что представляет собой научный метод или, попросту говоря, что такое наука. Нужно различать эмпирическую (экспериментальную) науку, задача которой – описание и классификация наблюдаемых явлений, и умозрительную, имеющую дело с неизвестными явлениями, порой с такими, которые невозможно воспроизвести в лаборатории. Научная спекуляция всегда терминологически непоследовательна – ведь наука означает знание, тогда как умозрительное заключение, в строгом смысле слова, нельзя назвать «знанием».

В лучшем случае, наука может рассуждать в терминах теорий, отталкивающихся от известных фактов, и применять их к сфере неизвестного. Соответственно, существуют два общих метода умозаключений:

а) метод интерполяции, когда, зная реакцию в двух крайних точках некоего диапазона, мы пытаемся заключить, что произойдет в любой точке внутри диапазона;

б) метод экстраполяции, когда умозаключение делается о поведении переменных вне известного диапазона, на основе поведения переменных внутри этого диапазона.

Допустим, например, что мы знаем, как ведет себя элемент при изменениях температуры от 0 до 100 градусов, и на этой основе прогнозируем реакцию элемента при температуре в 101, 200 и 1000 градусов.

Очевидно, что из этих двух методов второй (экстраполяция) отличается большей неопределенностью. Мало того, неопределенность возрастает со степенью удаленности от диапазона и по мере сужения диапазона. Так, если диапазон составляет от 0 до 100, то наш прогноз в точке 101 будет иметь значительно более высокую достоверность, чем в точке 1001.

Сразу отметим, что все спекуляции относительно происхождения и возраста Вселенной – порождение второго, менее убедительного метода экстраполяции. Эта неубедительность становится еще очевиднее, если принять во внимание, что всякие обобщения о неизвестной предпосылке, выведенные на основе известных последствий, носят более умозрительный характер, чем заключения о последствиях на основе известной предпосылки. Данный тезис легко проиллюстрировать следующим примером.

Известно, что $4:2=2$. Здесь предпосылка представлена делимым и делителем, последствие – частным. Знание предпосылки дает нам единственный возможный вариант частного (число 2). Однако если, зная конечный результат, а именно число 2, мы спросим себя, как могли прийти к этому числу, то ответ предполагает несколько возможных вариантов: а) $1+1=2$; б) $4-2=2$; в) $1 \times 2=2$; г) $4:2=2$.

Отметим: если мы задействуем и другие числа, дающие тот же результат, то количество вариантов возрастет до бесконечности ($5-3=2$; $6:3=2$ и т. д.).

Добавим к этому еще одну трудность, которую в первую очередь приходится учитывать во всех методах индукции. Если выводы, опирающиеся на определенные известные данные, носят амплиативный характер, то есть распространяются на неизученные сферы, то они могут быть достоверны в единственном случае – при равенстве всех прочих условий и их совокупного влияния.

Если мы не уверены в том, что соответствующие переменные, по крайней мере, схожи в своих изменениях с изученными нами переменными, если мы не уверены, что схожи сами эти переменные, и, наконец, если мы не уверены, что не включаются какие-либо дополнительные факторы, – то любые умозаключения будут совершенно бессмысленными!

Еще один пример. В процессе химической реакции, расщепления либо синтеза, внедрение еще одного катализатора в процесс, каким бы малым ни было его количество, может изменить скорость и форму химического процесса или положить начало совершенно новому процессу.

Заметьте, мы еще не коснулись прочих трудностей, с которыми сталкиваются так называемые научные теории, касающиеся происхождения Вселенной...

Вся наука построена на наблюдениях за реакциями и процессами в поведении атомов в их текущем состоянии, как они в настоящий момент существуют в природе. Ученые-естествоиспытатели имеют дело с совокупностью миллиардов атомов, уже связанных между собой и соотносящихся с другими совокупностями атомов. Ученые знают очень мало об атомах в их первичной форме и о том, как один-единственный атом может воздействовать на другой одиночный атом; еще меньше о том, как части одного атома могут реагировать на другие части того же самого атома. Одну вещь наука считает бесспорной – в той мере, в какой любая наука может быть в чем-то уверена, – а именно, что реакция одиночного атома на другой атом совершенно отлична от реакции одной совокупности атомов на другую.

Давайте теперь просуммируем все слабости, тупиковые моменты так называемых «научных теорий» о происхождении и возрасте нашей Вселенной:

а) эти теории возникли на основе данных, наблюдаемых в течение сравнительно короткого периода времени, буквально нескольких десятилетий, и, в любом случае, не более чем двух веков;

б) на основе сравнительно небольшой выборки изученных (хотя далеко не в совершенстве) данных ученые пытаются построить теории при помощи неубедительного метода экстраполяции, да еще и от последствий к предпосылке, на многие тысячи (и, по их же словам, на миллионы и миллиарды) лет!

в) продвигая подобные теории, они без тени смущения игнорируют то, что общепризнано. А именно, что в начальный период образования Вселенной температурные, атмосферные, радиоактивные условия и множество других катализирующих факторов радикально отличались от тех, которые определяют состояние нынешней Вселенной;

г) ученые пришли к единому мнению, что на начальной стадии образования Вселенной существовали многие радиоактивные элементы, сейчас не существующие или же сохранившиеся в минимальном количестве;

д) приняв эти теории, мы признаем, что образование Вселенной началось с процесса соединения (связывания) отдельных атомов и элементов атомов, их конгломерации и консолидации, включая совершенно неизвестные процессы и переменные.

Короче говоря, из всех неубедительных научных теорий наиболее неубедительны (по признанию самих ученых) те, которые связаны с происхождением Вселенной и ее возрастом. Маленькое чудо (и, кстати, один из фактов, явно опровергающих эти теории) состоит в том, что различные научные теории, касающиеся возраста Вселенной, не только противоречат друг другу, но некоторые из них несовместимы и взаимно исключают друг друга, поскольку верхний временной предел одной из теорий ниже, чем нижний предел другой. Если кто-то принимает такую теорию некритически, это может привести его только к ложным и непоследовательным выводам.

Возьмем, к примеру, так называемую эволюционную теорию происхождения Вселенной, основанную на предположении о том, что она возникла из существующих атомных и субатомных частиц, соединявшихся в ходе эволюционного процесса и формировавших физическую Вселенную и нашу планету, на которой каким-то образом появилась органическая жизнь, также эволюционировавшая вплоть до возникновения *homo sapiens*.

Непостижимо, почему с готовностью принимают концепцию об образовании атомных и субатомных частиц, находящихся в состоянии, о котором нам ничего не известно и которое мы не понимаем, но так неохотно принимают идею о творении планет, живых организмов, людей – такими, как мы их знаем сегодня.

Довод об обнаружении ископаемых останков как свидетельство о большой древности Земли ни в коей мере не убедителен:

а) ввиду того, что нам неизвестны, как я уже отметил, условия жизни в «доисторические» времена, катализаторы, показатели атмосферного давления, температур, радиоактивности, – условия, при которых могли иметь место реакции и изменения, радикально отличающиеся по своей природе и скорости от тех, что знакомы нам в сегодняшнем мире. Поэтому нельзя исключить, что динозавры существовали 5722 года назад и превратились в ископаемые останки из-за величайших природных катаклизмов, происходивших в течение нескольких лет, а не миллионов лет: ведь у нас нет надежных способов измерений и критериев расчетов при неизвестных нам условиях;

б) даже если предположить, что возраст Земли, каким его определяет Тора, слишком невелик для образования окаменелостей (хотя я не вижу, почему нужно быть столь категоричным в таком утверждении), мы можем легко допустить, что Б-г создал уже готовые окаменелости, кости и скелеты (по причинам, известным лишь Ему) – точно

так же, как создал готовые живые организмы, готового человека, готовые природные ископаемые – нефть, уголь, алмазы – вне каких-либо эволюционных процессов.

Если верно сказанное в пункте «б», Вы зададите вопрос: почему же раньше Г-сподь создал окаменелости? Ответ прост: нам неизвестны причины, по которым Б-г выбрал этот путь творения, а не какой-либо иной. И какую бы теорию творения мы ни приняли, ответа на этот вопрос не будет.

Вопрос «Зачем создавать окаменелые останки?» не более уместен, чем вопрос «Зачем создавать атом?». Разумеется, такой вопрос не может служить логическим основанием для эволюционной теории.

Есть ли у нас научный базис для того, чтобы свести творческий процесс исключительно к эволюционному, начиная с атомных и субатомных частиц, – теории, в которой множество открытых брешей и необъясненных сложностей? А ведь мы вместе с тем отвергаем возможность творения, как оно изложено в библейском повествовании!

Если принять последнюю концепцию, то все встанет на свои места и любые спекуляции по поводу происхождения и возраста Вселенной станут ненужными и неактуальными.

Можно спросить: если теории, пытающиеся объяснить происхождение и возраст Вселенной, столь несовершенны, как они заняли лидирующие позиции? Ответ прост: по своей природе человек склонен искать всему объяснения в окружающей среде, и любая теория все же лучше, чем ничего, по крайней мере, пока не найдено более подходящего объяснения.

Вы спросите: почему же эти ученые не принимают библейского рассказа о Творении, пока нет более убедительной теории? Ответ опять-таки следует искать в человеческой природе. Естественное стремление человека – быть изобретательным и оригинальным. Принять же библейское повествование – значит лишиться себя возможности показать свой аналитический талант. Отвергая библейский рассказ, ученые вынуждены искать обоснование своему выбору – и, не имея возможности привести достойные научные аргументы, находят выход в отождествлении библейского рассказа с древними мифологиями.

Если Вас по-прежнему мучает вопрос о теории эволюции, могу сказать: нет ни одного свидетельства для ее обоснования. С момента создания теории прошли многие годы, были проведены исследования и сделаны открытия, в основе которых лежат наблюдения за отдельными видами животных и растений с коротким сроком жизни. Сменились тысячи их поколений, но так и не удалось зафиксировать трансмутацию одного вида в другой, и тем более растения – в животное. Поэтому такой теории нет места в эмпирической науке.

Упомянутая мною теория эволюции на самом деле не имеет никакого отношения к рассказу Торы о Творении. Если бы даже теорию эволюции сегодня доказали, продемонстрировав мутацию видов в лабораторных условиях, это не противоречило бы тому, что мир сотворен не в ходе эволюционного процесса, а таким образом, как об этом рассказано в Торе. Я привел в пример теорию эволюции главным образом для того, чтобы показать, как умозрительная и научно необоснованная теория способна захватить некритическое воображение: ведь ее даже предлагают в качестве

«научного» объяснения загадки Творения, несмотря на то, что она не подтверждена никакими научными фактами и лишена всякого научного базиса.

Думаю, незачем говорить, что я вовсе не имел намерения клеветать на науку и дискредитировать научные методы. Наука не может действовать иначе, чем приняв определенные рабочие теории или гипотезы, даже если их нельзя верифицировать, – хотя некоторые теории отмирают еще до того, как их опровергает и отвергает наука. Но хочу подчеркнуть, что науке приходится иметь дело только с теориями, не с определенностями.

Все научные выводы или обобщения имеют только более или менее вероятностный характер, в соответствии с заранее оговоренными ограничениями в использовании доступных фактов; степень их достоверности уменьшается по мере удаленности от эмпирических данных. Учитывая все это, Вы сразу поймете, что, в сущности, никакого конфликта между любой научной теорией и Торой не может быть.

СПЕРВА ДОБРОЕ ДЕЛО, ПОТОМ МОЛИТВА

Ааде Эацад

У нас существует обычай, введенный много веков назад знаменитым каббалистом Ицхаком Лурия. Каждый день перед молитвой мы произносим следующую фразу: «Я принимаю на себя заповедь любить ближнего, как самого себя». Раввин Лурия учит, что, только соблюдая обязательство любви к ближнему, мы можем быть уверены, что Б-г услышит нашу молитву и ответит на наши просьбы.



Заповедь любви к ближнему, конечно, очень важна для каждого еврея. Однако возникает неизбежный вопрос: в чем связь между этой заповедью и молитвой? Ведь молитва – это то, что происходит между человеком и Б-гом. Какое отношение к ней имеет любовь к ближнему – то, что определяет отношение человека к другим людям?

На этот счет есть одна история из жизни Алтер Ребе. Однажды в Йом Кипур он проводил коллективную молитву в синагоге. Вдруг ему стало известно, что на другом конце местечка женщина рождает и некому ей помочь. Алтер Ребе, ни слова не сказав молящимся, снимает талит, выходит из синагоги и бежит через все улицы в дом роженицы. Когда он туда пришел, оказалось, что необходимо срочно вскипятить воду, чтобы обмыть новорожденного и мать. Ребе нарубил дров, затопил печь, поставил на нее котел с водой, – в общем, сделал все, что сказала акушерка. И только когда вся работа была выполнена, вернулся в синагогу.

Разумеется, ученики Алтер Ребе и другие жители местечка, молившиеся в синагоге, были поражены странным поведением своего учителя. Они не могли понять, как можно прервать такое важное дело, как молитва, да еще в Йом Кипур. На их вопросы Ребе ответил, что молитва, конечно, очень важна и исполнение заповедей тоже, но самое важное – помочь другому человеку, попавшему в трудную ситуацию. Ради спасения человека можно и нужно нарушить любую заповедь, можно и нужно даже прервать молитву в праздник! При этом наши мудрецы определили, кто должен взять на себя нарушение заповеди: эта ответственность лежит на самом уважаемом человеке в общине, он должен пойти и помочь ближнему сам, а не перепоручать эту миссию кому-нибудь другому. Сначала ему нужно совершить доброе дело – и только потом молиться.

Впрочем, слова основателя Хабада только частично отвечают на вопрос, который мы поставили. Понятно, что любовь к ближнему – самая важная заповедь, и выполнять ее нужно в первую очередь, даже если приходится откладывать другие заповеди, даже если ради этого нужно прервать молитву. Но у нашего вопроса есть и другой аспект: какая связь между исполнением заповеди любви к ближнему и молитвой?

Здесь может быть несколько объяснений. Самое простое основано на том, что цель молитвы – возбуждение в человеческой душе любви к Б-гу. Но может ли такая молитва быть искренней, если любовь к Отцу не сопровождается любовью к Его детям? Ведь если вы, например, скажете какому-то человеку: «Я тебя люблю, но терпеть не могу твоих детей», ответ будет очевидным: «Нет, ты не любишь меня, ведь ты не любишь тех, кто мне дороже всего на свете».

Второе объяснение, более глубокое. В молитве мы не просто говорим, что любим Б-га и благословляем Его, но также просим Его защитить нас от невзгод, дать то, что нам необходимо. По сути, наши отношения в молитве близки к отношениям детей с отцом: дети любят родителей и одновременно зависят от них, отец любит детей и одновременно воспитывает их. А что такое воспитание? Это создание связи между хорошим поведением и хорошим результатом. Если дети ведут себя хорошо, отец всегда их поощрит, если они демонстрируют плохое поведение, отец в воспитательных целях не даст им того, о чем они просят. А главное желание отца – чтобы его дети дружили, любили друг друга, помогали друг другу. В этом состоит и желание нашего небесного Отца. Недаром история учит, что самые страшные беды поражали наш народ из-за «беспочвенной ненависти», из-за распрей между евреями. Ясно, что отсутствие любви к ближнему – самый большой порок в глазах Б-га, соответственно, любовь к ближнему – главное достоинство. Недаром в конце «18 благословений» – молитвы о даровании мира – мы просим Б-га: «Благослови нас, всех вместе, в благосклонности Твоей». Почему не просто «благослови нас», зачем надо специально добавлять «всех вместе»? Да именно потому, что для нашего небесного Отца важно, чтобы мы были «все вместе» – спаянные взаимной любовью и всегда готовые помочь друг другу. Тогда благословение сильней, и Б-г обязательно даст нам то, чего мы просим.

Есть история о Цемах Цедеке, третьем Любавичском Ребе. Во время изучения Торы он часто обращался к душам своих покойных отца и деда и просил их вразумить его и подсказать решение того или иного сложного вопроса. И вот в какой-то момент он заметил, что его мистическая связь с предками прервалась: он изо всех сил пытался ее восстановить, много молился, но результата не было.

И вот как-то раз Цемах Цедек пришел на молитву в синагогу, к нему подошел один еврей и попросил денег в долг. Речь шла о сравнительно небольшой сумме, но Ребе и ее не имел при себе. «Сейчас я проведу молитву, потом схожу домой и принесу деньги, – сказал Ребе, – подожди часа полтора». С этими словами он погрузился в молитву. Но вдруг в голову ему пришла мысль: «Сегодня рыночный день, этот еврей, наверное, просил денег в долг, чтобы купить необходимое для своей семьи. Если ему придется ждать полтора часа, все хорошее на рынке уже раскупят!» Цемах Цедек прервал молитву, побежал искать того еврея, привел его к себе домой, дал запрошенную сумму и вернулся в синагогу. И только он надел талит и приступил к молитве, как тут же почувствовал возвращение связи с душами своих отца и деда. С тех пор эта связь его уже не покидала.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ РАЗНООБРАЗИЯ

עֲשֵׂהוּ אֵינְיָאָד

В 1970-х годах я был несмышленным отроком с неустоявшимися взглядами и жил в городе Одессе. Так уж получилось, что мне повезло больше, чем многим моим сверстникам, и я постоянно посещал единственную синагогу, общаясь там с еще уцелевшими хранителями традиции. В один из осенних дней я заметил, что порядок синагогальной службы изменился, и спросил реб Нуте почему. Этот старый хасид был одним из немногих религиозных евреев в моем родном городе, не боявшихся отвечать на мои бесконечные вопросы (пусть память о нем будет благословенна!). Он объяснил, что в этот день прихожане одесской синагоги постятся в память о десятках тысяч одесских евреев, уничтоженных в годы войны. Этот пост, установленный после войны выжившими членами общины, соблюдался долгие годы, вплоть до конца 80-х годов XX века. По молодости и глупости я не придавал особого значения его словам, потом и вовсе забыл о них, а теперь, когда для меня это столь важно, о дате этого поста и спросить уже некого.



Минули годы, многое изменилось... Те считанные старики, которые составляли общины все годы советской власти, уже ушли, а пришедшая (слава Б-гу!) им на смену молодая поросль «гемахте иделех» («сделанных» евреев) учится у раввинов, приехавших на помощь тому, что осталось от некогда славных общин Украины, России, Белоруссии, утративших преемственность и, естественно, не знакомых с местными традициями и обычаями. Идет прежде невиданная в еврейской истории унификация религиозной жизни, «выравнивание линии»... Вы скажете, что это неизбежно, что происходящее ныне имеет объективные причины, что уже ничего нельзя изменить. С этим придется согласиться, но с маленькой поправкой: кое-что изменить все же можно.

По счастью, я вовремя встретил любавичских хасидов, единственную организованную общину, сохранившуюся в страшные годы на территории СССР. Обычай

этой ветви хасидизма стали моими семейными традициями, и моим детям уже не надо мучительно выяснять, – как приходилось некогда мне, – что и как принято делать «у нас». Но те немногие крохи, фрагменты, которые я мальчишкой успел узнать у бабушек (дедушки не вернулись с войны), бережно сохраняются в моем доме, в семейном быте. Мои предки не были любавичскими хасидами, и, наверное, кое-какие домашние обычаи нашей семьи не во всем соответствуют принятым в Хабаде, но...

По моему глубокому убеждению, разнообразие – это благословение. От него зависит выживание биологического вида – спросите у любого генетика. И, полагаю, выживание народа также зависит от многообразия форм религиозного и национального существования. Для меня очевидно, что именно Тора придает смысл и силы еврейскому бытию, но соблюдение ее законов и последовательное воплощение в жизнь ее мировоззрения никак не связаны с нивелировкой общин и индивидуумов. Мы же не из инкубатора вышли. Каждый еврей, каждый из нас – лишь звено в цепи поколений и может, приложив усилия, выяснить свою генеалогию, узнать, из каких общин вышли его не столь уж далекие предки, а после – и специфические обычаи этих общин, такие важные для восстановления полноценного национального существования.

Разумеется, сказанное мною найдет отклик не у каждого. Но я уверен в том, что именно эти детали, не столь уж принципиальные в сравнении с исполнением заповедей Торы, делают нас полнокровным народом, а не «живой окаменелостью», как в сердцах назвал евреев историк А. Тойнби.

Кстати, о постах. Двадцатого числа месяца сиван (в этом году оно выпадает на 2 июня по григорианскому календарю) в общинах Украины (в Подолии, Галиции, Волыни) и Польши было принято поститься в память о сотнях общин и десятках тысяч жертв, умерщвленных под руководством Богдана Хмельницкого, подчас жесточайшим образом, в 5410 году по нашему календарю (1650-м), и в память о двух мучениках: реб Йехиэле-Михле из Немирова и реб Шимшоне из Острополя, убитых именно в этот день.

Этот пост свято соблюдался в общинах Украины вплоть до недавнего времени. Но ужасы второй мировой войны заслонили память о резне XVII века, а потом из жизни ушли и все те, кто знал об этом. Но, может быть, сегодня, когда на территории независимого государства Украина реставрирован этот палач еврейского народа, стоит вспомнить о наших мучениках и о том, что мы – их прямые потомки.

ЗАБЫТЫЙ ПОСТ

Àèàèàí àð Ýèèèèí

К добру или к худу, но мы живем в эпоху глобализации. Еще сто-двести лет назад едва ли не в каждом регионе, крае, области были свои неповторимые обычаи и традиции, сегодня же весь мир от Атлантики до Тихого океана носит почти одинаковую одежду, ест одни и те же блюда, смотрит одинаковые лицензионные телепередачи... Подобные процессы происходят и с евреями: постепенно унифицируется жизнь различных общин, забываются местные обычаи и памятные даты.



Титульный лист книги Натана Ганновера «Пучина бездонная». 1653 год. Венеция



Отряд казаков. 1648 год. Картина неизвестного художника

Одной из таких почти забытых дат стал пост 20 сивана – некогда соблюдавшийся во многих восточноевропейских общинах, а сегодня известный, в сущности, только специалистам. Между тем, этот пост (как и другие подобные посты,

ныне также почти забытые) был установлен в память о трагических событиях в истории ашкеназского еврейства – сначала западного, а затем и восточноевропейского.

Первоначально 20 сивана стало днем поста в Западной Европе, в память о трагических событиях, произошедших во французском Блуа – небольшом городке на берегу Луары, неподалеку от Орлеана. Как и почему это произошло, подробно описано средневековым еврейским хронистом рабби Эфраимом из Бонна (1132–1200)^[1]. Весной 1171 года, незадолго до праздника Песах, некий еврей по имени Исаак бен Эльзар, проезжал верхом около реки. Так случилось, что в то же время слуга-христианин пошел к реке поить коня. Конь чего-то испугался и отскочил, а перепуганный слуга вернулся в город и рассказал, что видел, как еврей бросил в реку тело христианского мальчика. На основании этого обвинения местный правитель граф Теобальд, племянник короля Филиппа, повелел арестовать тридцать человек из местной еврейской общины.

Разумеется, никаких доказательств вины еврея у графа не было. Для проверки обвинения судьи прибегли к тогдашнему способу испытания водой: обвинителя-слугу бросили в огромную бочку, наполненную «святой» водой. Поскольку слуга не утонул, судьи решили, что он сказал правду. Тем не менее Теобальд был готов закрыть дело (конечно, за соответствующую мзду) и даже вступил в переговоры с общинами соседних городов, выясняя, сколько они согласны заплатить за спасение своих собратьев. Однако тут в дело вмешался некий священник-фанатик, и всякие «деловые» контакты на этом прекратились.

Кровавая развязка наступила 20 сивана. Обвиняемых признали виновными и приговорили к сожжению. Правда, им предложили спасти свою жизнь ценой отказа от веры предков. Однако евреи отвергли предложение креститься и тем самым получить помилование. И все тридцать восемь человек, среди которых было несколько известных знатоков Торы, были преданы огню. По словам рабби Эфраима, мужество осужденных потрясло даже христиан, говоривших друг другу: «Воистину, эти люди – святые».

Весть о трагедии в Блуа быстро облетела еврейские общины Западной Европы. И тогда, как пишет рабби Эфраим, евреи Прирейнской Германии, Франции и Англии единодушно объявили 20 сивана днем общественного поста. По некоторым сведениям, одним из инициаторов этого решения стал внук Раши, тосафист рабейну Там.

После того как евреи были изгнаны из Англии (1290 год) и Франции (1307 и 1391 годы, на этот раз окончательно), а на евреев Германии обрушилось множество новых бедствий (включая и обвинения в ритуальном убийстве), о трагедии в Блуа стали постепенно забывать. И о 20 сивана вспомнили только в XVII веке, после чудовищной бойни, которой подверглось украинское еврейство в годы казацкого восстания Хмельницкого.

В XVII веке королевская власть в Речи Посполитой постепенно теряла свое влияние. Полновластными хозяевами страны стали могущественные магнаты, владевшие огромными латифундиями по всей стране, в том числе и на Украине. Поэтому евреи могли селиться в восточных воеводствах лишь на условиях, удобных и выгодных панам. А те были готовы терпеть евреев преимущественно в роли посредников между собой и эксплуатируемым крестьянством. Проще говоря, за определенную сумму шляхтич сдавал мельницу, шинок или все имение в аренду какому-нибудь Янкелю, а тот уже должен был крутиться, чтобы выручить с арендуемой собственности деньги, которые позволили бы ему расплатиться с паном, и самому получить прибыль.

Много ли прибыли имел Янкель с такой аренды? Судя по бесчисленным еврейским историям о бедняге-арендаторе, которому нечем расплатиться с «парицем», не очень. Однако украинские крестьяне этого, разумеется, не знали. И одинаково ненавидели и пана, именем которого с них драли семь шкур, и его еврейского агента.

И если бы дело ограничивалось только эксплуатацией. Со школьной скамьи мы помним казака из гоголевского «Тараса Бульбы», который жаловался запорожцам, что «уже церкви святые теперь не наши, теперь у жидов они на аренде, если жиду вперед не заплатишь, то и обедни нельзя править». К сожалению, это не поклеп: в погоне за прибылью польские помещики сдавали в аренду не только свои имения, но и расположенные в них православные церкви[2] (это также соответствовало официальной польской политике, направленной на то, чтобы максимально стеснить православную церковь, и тем самым побудить «восточных схизматиков» перейти в католичество или, на худой конец, в унию[3]). Из-за этого классовая ненависть многократно усиливалась религиозной.

Еврейские и нееврейские источники единодушно свидетельствуют, что восстание Хмельницкого не было направлено именно против евреев. Казаки с одинаковой жестокостью расправлялись со всеми своими врагами: поляками, католическим духовенством, ополячившимися украинцами. Как писал рабби Натан Ганновер, очевидец ужасов хмельнитчины, «не существует на свете способа мучительного убийства, которого они <казаки> бы не применили; использовали все четыре вида казни: побивание камнями; сжигание; убиение и удушение... Так они поступали <с евреями> во всех местах, куда приходили; и то же самое делали с поляками, в особенности с ксендзами»[4]. Однако паны обычно были далеко и хорошо вооружены. Евреи же были рядом, безоружные и беззащитные. Поэтому именно они стали первыми жертвами восставшего казачества.

Историки расходятся в оценках масштаба бедствия, обрушившегося на украинских евреев. Обычно пишут о сотнях тысяч погибших. Современный иерусалимский исследователь Шауль Штампфер полагает, что эта цифра завышена: по его мнению, число убитых исчислялось десятками тысяч. Однако даже если верны его расчеты, это был страшный удар, подобного которому евреи не знали со времен изгнания из Испании.

Восставшие казаки не только убивали евреев, но и всячески глумились над их святынями: оскверняли синагоги, уничтожали священные книги и предметы. Как вспоминал Натан Ганновер, «библейские свитки <казаки> рвали на клочья и делали из них мешки и обувь; а ремнями для тфилин подвязывали сапоги, покрышки же их выбрасывали на улицу; священными книгами мостили улицы или изготавливали из них пыжи для ружей».

Первой еврейской жертвой, павшей от рук казаков Хмельницкого, стала община города Немирова. Мятежники овладели городом хитростью – подошли к нему под видом польского отряда и потребовали, чтобы их впустили в крепость. Обман удался, и мятежники ворвались в город, убивая евреев и поляков. По словам современника, в этот день было убито 8 тыс. евреев, в том числе прославленный раввин и знаток Торы «мудрый гаон рабби Йехиэль-Михл»[5]. Несколько сот человек, включая кантора и певчих, были убиты прямо в синагоге. После этого «злодеи и насильники, рыча, извлекали старинные и новые священные свитки, раздирали их в клочья, топтали их ногами, обратили в подстилку для скотины, делали из них обувь, называемую “пастлес”, и разное одеяние»[6].

Когда кровавая буря немного улеглась, польские раввины решили установить пост в память о жертвах хмельнитчины. Некоторые из них, однако, колебались, вправе ли они вводить новые памятные даты. И тогда кто-то вспомнил, что общину Немирова уничтожили 20 сивана – именно в тот день, который в свое время уже объявили днем поста в память о трагедии в Блуа. Тогда было принято решение возобновить эту забытую традицию, на этот раз – в память о жертвах хмельнитчины.

По словам рабби Шабтая а-Коена, оставившего нам подробное описание гибели Немирова, Тульчина и некоторых других еврейских общин, решение вновь сделать 20 сивана днем поста принадлежало лично ему. При этом, по его словам, он руководствовался дополнительными соображениями: согласно предпринятым им вычислениям, 20 сивана никогда не выпадает на субботу, и, следовательно, этот пост никогда не придется переносить. Рабби Шабтай также создал специальные элегии и поминальные молитвы, предписав «читать их в этот день из года в год – вечно».

Пост 20 сивана соблюдался во многих восточноевропейских общинах еще в 30-х годах прошлого века. И лишь после второй мировой войны, когда на евреев обрушился удар, несравнимый ни с какими предшествующими бедствиями, эта традиция постепенно забылась.

Свой рассказ об ужасах хмельнитчины Шабтай а-Коен закончил страстной молитвой: «Да отомстит Г-сподь за кровь Своих рабов, которая, словно вода, орошала камни и деревья. Отомсти за всех убитых в эти годы за Твое святое Имя: за праведных мучеников, за ученых и мудрых, за гаонов, вооруженных в доспехи учености, и раввинов, за канторов, служек, синагогальных певчих и за юношей и девушек, малых мальчиков и девочек, за почтенных учителей и их юных учеников»^[7]. На наш взгляд, этими же словами можно закончить и нашу статью об одной из траурных дат еврейского календаря.

^[1] Efraim ben Jakob. The Ritual Murder Accusation at Blois, May, 1171 // The Jew in the Medieval World: A Sourcebook. P. 315–1791.

^[2] См., напр.: Д. Клиер. Россия собирает своих евреев. Jerusalem: Gesharim; М.: Мосты культуры, 2000. Гл. 1 (http://www.pseudology.org/Jews_of_Russia/index.htm): «Разрушительное воздействие арендаторства на отношения крестьян с евреями усиливалось из-за аренды объектов неэкономического характера. Так, польские дворяне-католики со спокойной совестью передавали евреям право взимать сборы за отправление в церквях православных религиозных обрядов – за крестины, свадьбы, похороны. Одним из традиционных образов устного народного творчества стала ненавистная фигура еврея-арендатора, сжимающего в руке ключи от церкви».

^[3] См., напр.: В. Беднов. Православная церковь в Польше и Литве. Минск: Лучи Софии, 2002 (http://www.krotov.info/history/18/bednov/bedn_00.html). См. также: Натан Ганновер. Пучина бездонная // Еврейские хроники. М.–Иерусалим, 1997 (<http://www.vostlit.info/Texts/rus10/Ganover/frametext1.htm>): «Король стал возвышать магнатов и панов папской веры и унижать магнатов и панов греческой веры, так что почти все православные магнаты и паны изменили своей вере и перешли в папскую, а православный народ стал все больше нищать, сделавшись презираемым и низким и обратился в крепостных и слуг поляков и даже, особо скажем, у евреев».

^[4] Натан Ганновер. Там же.

^[5] Шабтай а-Коен. Свиток Тягот (<http://www.vostlit.info/Texts/rus10/Gakogen/text.phtml?id=296>).

^[6] Там же.

^[7] Там же.

КОНЕЦ НЕЗАВИСИМОЙ ИУДЕИ

אָנײַע פֿאַר אַן אַנדערן

Говоря о трагических датах летнего месяца тамуз, обычно вспоминают 17 тамуза – день, когда вавилонские войска, осаждавшие Иерусалим, сделали пролом в городской стене. Однако в этом месяце есть еще одна схожая дата – 9 тамуза прекратило свое существование независимое еврейское государство, созданное в результате восстания Хасмонеев.

Прелюдией к этой национальной трагедии стал конфликт двух сыновей царя Александра Яная, Гиркана и Аристовула. Война между ними началась почти сразу после смерти их матери Александры-Саломеи, вдовы Яная Шлом-Цион. Царем как старший сын должен был стать первосвященник Гиркан. Однако честолюбивый Аристовул стремительно двинулся с войсками к Иерусалиму, чтобы силой захватить престол. Решающее сражение произошло близ Иерихона в 67 году до н. э. и закончилось победой Аристовула. Гиркан II признал себя побежденным и отказался от царского титула, сохранив за собой пост первосвященника. Аристовул был объявлен царем Иудеи под именем Аристовула II. Братья заключили мирный договор, при большом стечении народа подали друг другу руки и обнялись.

К сожалению, этот исход категорически не устроил Антипатра, весьма влиятельного человека, наместника в Эдумее еще со времен Яная.

Сблизившись со слабовольным и нерешительным Гирканом, Антипатр рассчитывал стать его советником и фактическим правителем государства. Когда трон перешел к Аристовулу, Антипатр остался не у дел. Чтобы начать борьбу за престол, он решил пробудить в душе Гиркана подозрительность и ненависть к брату и посоветовал ему обратиться за помощью к соседу – аравийскому царю Арете.



Гравюры с портретами Гиркана и Аристовула II из книги «Собрание изображений выдающихся людей» («Promtuarii iconum insigniorum a saeculo hominum»). 1553 год

В 65 году до н. э. пятидесятитысячная армия Гиркана и Ареты вторглась в Иудею и осадила Иерусалим, где заперся Аристовул со своими сторонниками. Однако город был хорошо укреплен, и осада затянулась.

Как это почти всегда бывает, братоубийственная война сопровождалась пролитием невинной крови. Одной из первых жертв стал прославленный мудрец Хони, снискавший славу чудотворца: стоило ему во время засухи помолиться о дожде, как

немедленно начинался ливень (Мишна Таанит, 3:8). Гиркан решил воспользоваться им как «неконвенциональным оружием». Хони привели в лагерь осаждающих и стали упрашивать, чтобы он проклял защитников Иерусалима. Мудрец встал посреди толпы, однако вместо ожидаемого проклятия произнес следующую молитву:

О Предвечный, Царь всего существующего! Так как окружающие теперь меня – народ, а осаждаемые – твои служители, то я молю Тебя не внимать ни просьбам первых, ни приводить в исполнение их просьбы относительно вторых[1].

Услышав эту молитву, кто-то из солдат, стоявших рядом, убил Хони. Осада продолжалась.

Как пишет Иосиф Флавий, сторонники Аристовула, несмотря на осаду, ежедневно совершали положенные жертвоприношения в Храме. Однако наступил праздник Песах, когда потребовалось множество баранов для жертвоприношений. Аристовул предложил осаждающим продать для Храма жертвенных животных, по 1000 драм за голову. Те согласились и даже взяли деньги, которые спустили им со стены в специальной корзине, – но не отдали за них жертвенных животных[2].

Похожую историю мы находим и в Талмуде. При этом мудрецы добавляют несколько деталей, не упомянутых Флавием:

Учили мудрецы: во время войны между хасмонейскими принцами Гиркан осадил в Иерусалиме своего брата Аристовула. Каждый день осажденные спускали со стен корзину с динариями, и осаждавшие клали в нее жертвенное животное. Один старик, изучавший греческую мудрость, нарекнул осаждающим с помощью греческой мудрости: «Пока продолжают жертвоприношения, вам не взять город». На следующий день вместо жертвенного животного осаждавшие положили в корзину свинью. Когда корзину подняли до половины стены, свинья ударила копытом – и Земля Израиля содрогнулась на 400 парасанг.

(Вавилонский Талмуд, трактат Сота, 49 б.)

Трудно сказать, действительно ли Гиркан и его союзники позволили себе столь кощунственную выходку. Возможно, этот рассказ не следует понимать буквально. В талмудической литературе со свиньей нередко сравнивается Эдом, например, в мидраше Танхума: «Свинья – это Эдом, как сказано: “Обглаживает ее [виноградную лозу из Египта] вебрь лесной...” (Теилим, 80:14)» (Танхума Шмини). Эдомом же начиная со II века н. э. евреи называли Римскую империю. Таким образом, говоря о свинье, ударившей копытом по стене Иерусалима, мудрецы, вероятно, прозрачно намекали на роковую роль римлян в этом конфликте.

Подробности римского вмешательства обстоятельно описаны Флавием. В 63 году до н. э. в Сирию прибыл прославленный римский полководец Помпей. Гиркан и Аристовул обратились к нему с просьбой рассудить их. Помпей пообещал приехать в Иудею и вынести окончательное решение. На самом деле Помпей не собирался помогать ни одному из братьев; он хотел только одного – подчинить Иудею Риму.

Аристовул II отправился в Иерусалим, чтобы продолжить борьбу за престол, но Помпей прибыл с войсками в Иерихон и потребовал полного повиновения. Все еще надеясь на победу, Аристовул пообещал уплатить Помпею значительную сумму денег и сдать ему Иерусалим. Помпей согласился и направил своего помощника Габиния за

деньгами. Однако сторонники Аристовула закрыли городские ворота и отказались впустить Габиния в святой город. Узнав об этом, Помпей приказал арестовать Аристовула, подошел к Иерусалиму и осадил его.

Как уже говорилось, Иерусалим был прекрасно укреплен и почти неприступен. Однако Помпей воспользовался тем, что евреи в то время не слишком твердо знали законы, касающиеся военных действий в субботу: в этот день они продолжали боевые действия против римлян, но ничего не предпринимали против осадной техники. Заметив это, Помпей велел своим солдатам не обстреливать по субботам евреев, но возводить в этот день валы, сооружать башни и заниматься другими инженерными работами. Это позволило римлянам придвинуть осадную технику вплотную к стенам и применить огромные стенобитные тараны[3]. 9 тамуза городская стена была проломлена, и римляне бросились на приступ. Иерусалим пал.

Описывая восточную кампанию Помпея, римский историк Плутарх лаконично заметил: «Помпей покорил также Иудею и захватил в плен царя Аристовула»[4]. Флавий пишет об этом гораздо подробнее. По его словам, падение города сопровождалось резней, причем еврейские солдаты Гиркана зверствовали не меньше, чем римские легионеры:



Помпей входит в Иерусалимский Храм после победы над Аристовулом II. Миниатюра-иллюстрация Жана Фуке из «Иудейских древностей» Иосифа Флавия. 1470–1475 годы. Париж, Департамент манускриптов

Некоторые из иудеев были перерезаны римлянами, другие своими же земляками; были и такие, которые кидались в бездну или сгорали живьем, поджигая свои собственные дома, лишь бы не дожидаться угрожающей им гибели. Таким образом, погибло до двенадцати тысяч иудеев; римлян же пало очень немного [5].

Более того, по словам историка, Помпей, снedaемый любопытством, зашел в Святая святых Иерусалимского Храма – туда, куда, согласно Алахе, имеет право входить только первосвященник, да и то всего раз в году, в Йом Кипур. Впрочем, увиденное, возможно, разочаровало римского полководца. Греческие авторы, недоброжелательно относившиеся к евреям, уверяли, что в Храме стоит идол с ослиной головой, а в специальной комнате откармливают грека, которого раз в году приносят в жертву [6]. Помпей же обнаружил золотые сосуды, чаши для курения, но, разумеется, не нашел ни истуканов, ни человеческих жертвоприношений.

Иосиф Флавий специально отметил, что Помпей не взял ничего из сокровищ святилища. Однако это не изменило главного – вновь, как во времена Антиоха Эпифана, Храм был осквернен.

Взяв Иерусалим, Помпей разрушил городские стены. После этого он назначил Гиркана наместником Иудеи, подчинив его своему полководцу Габинию, римскому правителю в Дамаске. Габиний за короткое время уничтожил остатки государственной независимости Иудеи. Страна была разделена на пять областей (синедрий), после чего Иерусалим из национальной столицы превратился в центр небольшой области. Кроме того, Габиний лишил полномочий Сангедрин (Синедрион), высший судебно-законодательный орган еврейского народа. Вместо него в каждой области был учрежден малый синедрион, с ограниченными полномочиями[7]. Впоследствии мудрецы увидели в этом знак грядущего разрушения Храма. Поэтому, по их словам, «с тех пор как упразднен Сангедрин, перестали слышаться песни радости в тавернах, как сказано: “Уже не пьют вина с песнями” (Йешаяу, 24:9)» (Мишна Сота, 9:1).

Так независимое государство Хасмонеев прекратило свое существование. После почти столетней независимости Иудея вновь попала под власть иноземцев.

Говоря о разрушении Второго храма, мудрецы Талмуда утверждали, что эта национальная трагедия произошла из-за беспричинной вражды между евреями. Эти слова в полной мере можно отнести и к событиям 60-х годов I века до н. э. Неспособность родных братьев найти путь к примирению, вкупе с насилием и святотатством, в течение нескольких лет свели на нет все достижения правителей Хасмонеев и привели еврейский народ к политической и религиозной катастрофе.

[1] Иосиф Флавий. Иудейские древности. 14:2:1.

[2] Там же. 14:3:2.

[3] Иосиф Флавий. Иудейские древности. 14:4:3.

[4] Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Помпей.

[5] Иосиф Флавий. Иудейские древности. 14:4:4.

[6] Иосиф Флавий. Против Апиона. II:79-96.

[7] Иосиф Флавий. Иудейские древности. 14:5:4.

ВОИНСТВА ВСЕВЫШНЕГО

Àäèí Øòáéí çàëüü

В рассказе об исходе из Египта Тора называет народ Израиля «воинством Всевышнего». Любавичский Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон часто использовал этот образ в своих речах. Во все века это воинство составляли разные люди, на это указывает само определение. В любой армии, не исключая и ту, что названа столь возвышенно, есть не только бойцы и командиры, но и интенданты, денщики, штабисты, есть отличники и уклонисты и даже дезертиры. Объединяет этих непохожих друг на друга людей лишь то, что все они имеют отношение к армии. Как бы они себя ни вели, что бы ни делали, они – ее часть, и именно в этом контексте можно и нужно оценивать их деятельность.



Поход воинств Всевышнего продолжается со времени выхода из Египта. Начавшись как марш-бросок по Синайской пустыне, он длится тысячелетия в «пустыне народов». Это не война с определенным врагом, а покорение мира, лишённого святости. Цель этой кампании – покорить несовершенный мир Всевышнему и подчинить Его власти. Во имя достижения такой цели не проливают кровь, не подчиняют себе покоренные народы. Как и во времена Исхода, когда перед станом сынов Израиля двигался облачный столп Славы Г-сподней, расчищавший дорогу от «змеев и скорпионов», он и поныне возглавляет поход против сил зла и духовной нечистоты.

Исполнение приказа, полученного этим воинством, требует верности и самоотверженности, а нарушение его влечет за собой страшные последствия: «Проклят тот, кто не установит слова этой Торы, чтобы их исполнять!» (Дварим, 27:26). «Установить слова Торы» означает не только исполнять заповеди. «Установить» – значит сделать слова Торы основой существования. И каждого, кто уклоняется от этого, Писание называет «проклятым».

Ответственность за исполнение «установления слов этой Торы» возложена на нас. Сыны Израиля должны вести войну против сил, противодействующих Его раскрытию в мире. Установление Его власти не ограничивается общиной, регионом, государством, но все же надо начинать с чего-то конкретного, доступного, находящегося в пределах досягаемости. Ничто не происходит само по себе.

Мы – армия Всевышнего, и сегодня эта армия, к сожалению, не очень организована. За достижениями отдельных бойцов не всегда заметно, что нет боеспособных подразделений, воющих за Него. На протяжении более чем сорока лет Ребе трудился днем и ночью, без отдыха и передышки, стремясь пробудить и заставить действовать людей, напомнить им, что они – армия Всевышнего и у них всех – общая цель. Убедить их в том, что в это народное ополчение необходимо мобилизовать уклонистов и дезертиров, даже тех, кто прикинулся мертвым. Призвав и собрав всех боеспособных, нужно вновь начать кампанию, объединив все силы, как в армии. В этой войне никто не должен идти один, сам по себе, прокладывая путь наугад.

Нам следует вновь соединиться и выступить вместе, станом, особенно сейчас, когда нам предстоит поход по столь обширной и запущенной пустыне. В наше время у каждого «змея» есть телевизионная камера, у каждого «скорпиона» – микрофон, и у всех «пресмыкающихся» – компьютеры, учителя, воспитатели и наставники большей части человечества. Вопреки всему этому мы должны продвигаться в этом мире в стане армии Всевышнего и вести Его войну.

Непросто быть солдатом. В армии добиваются того, чтобы тот, кто выражал недовольство из-за каждого лишнего шага, бежал в полной выкладке больше километров, чем предполагал пройти за всю жизнь. Солдата обязывают вновь и вновь разбирать и собирать оружие, делать одни и те же упражнения. Даже не желая этого, даже падая от усталости и засыпая на ходу, он знает, что обязан выполнить свой долг. Как и в любой армии, солдату зачастую непонятен смысл учений и маневров, но он все же должен находиться в постоянной боевой готовности.

Это задача не для немногих профессионалов, она возложена на всех нас и на тех, кто рядом с нами. Слова пророка все еще актуальны и будут актуальны всегда: «Не с нашими отцами заключил Б-г этот союз, но с нами, находящимися здесь сегодня, – все мы живы» (Дварим, 5:3). Тора многократно повторяет эту мысль для того, чтобы никто не подумал, будто речь идет не о нем, а только о раввинах, праведниках, предках. Речь идет обо всех, кто живет сейчас, о нас, со всеми нашими проблемами, бедами, малодушием. Союз со Всевышним, некогда заключенный у Хорева, нельзя денонсировать.

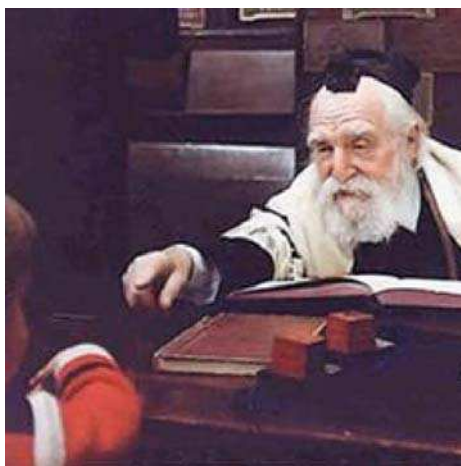
Говорят, что после ухода человека из этого мира его душа с каждым годом поднимается все выше. Призывы Любавичского Ребе из года в год становятся все более востребованными и насущно необходимыми. То, к чему он стремился, можно объяснить как обычными, так и высокими понятиями. Говоря попросту, он хотел изменить мир, но при этом преследовал высокую цель – привести Машиаха. Эти взаимосвязанные стремления не отличаются по существу.

Однако Избавление не наступило, и это значит, что Ребе не удалось достичь его цели. При этом нельзя забывать, что Ребе желал гораздо большего, чем проведение кампаний по распространению иудаизма. Конечно, он считал очень важным, чтобы еще один еврейский ребенок произнес утреннее благословение и еще один еврей возложил тфилин или перестал есть свинину, но во всем этом Ребе видел только средство для достижения цели. Добиться того, чтобы кто-то начал молиться, надел сюртук и отпустил бороду – хорошо, но это еще не достижение главной цели. Она же состоит в том, чтобы изменить весь мир, начав с еврейства, и привести его к Избавлению. И решить эту задачу Ребе завещал нам.

ПОЧЕМУ МЫ ПРАЗДНУЕМ БАТ МИЦВУ?

Ī ādēī ā Eādī īāā

Наблюдая некоторые общепринятые теперь еврейские обычаи, трудно поверить, что многие из них появились совсем недавно по меркам еврейской истории. Взять, к примеру, проповеди. Сейчас никто не удивляется, когда вечером в пятницу или утром в субботу раввин синагоги поднимается на кафедру, чтобы произнести свою еженедельную проповедь – драшу (чаще всего так или иначе связанную с недельным чтением Торы). Правда, необходимо помнить, что практика произнесения проповедей с привязкой к недельным главам Торы была общепризнанной во времена Мишны и Талмуда. Но еще двести лет назад раввины, за редким исключением, практиковали подобное обращение к прихожанам не чаще двух раз в год, накануне Песаха (Шабат а-гадоль) и Йом Кипура (Шабат шува). Регулярно еженедельные проповеди начали произносить только в XIX веке, причем сначала – в синагогах реформистов, охотно копировавших обычаи своих христианских соседей. И лишь позже, после долгого сопротивления старого поколения раввинов, эту практику переняли и ортодоксы, сочтя ее полезной для религиозного воспитания.



Рав Моше Файнштейн за своим рабочим столом в ешиве «Месивта Тиферет Йерушалаим». Нью-Йорк

Почти то же самое произошло с обычаем торжественно отмечать религиозное совершеннолетие девочек – бат мицву (на всякий случай напомним, что совершеннолетие девочек, согласно Алахе, наступает на год раньше, чем у мальчиков, в двенадцать лет). Сегодня в большей части религиозных семей вопрос о том, праздновать или не праздновать бат мицву дочери, даже не возникает: конечно, праздновать, ведь все так делают! Между тем, и этот обычай появился только в позапрошлом столетии. Причем пионерами и здесь оказались реформисты, решившие создать еврейский аналог христианской конфирмации. И лишь затем этот обычай постепенно и неохотно стали перенимать ортодоксы. Сначала бат мицву праздновали отдельные семьи, но постепенно эта практика стала почти повсеместной.

Как нередко случается, это новшество было принято не сразу и не всеми. Некоторые раввины, по различным причинам, сочли празднование бат мицвы нежелательным, а то и вовсе запрещенным.

Одним из наиболее решительных противников нового праздника был рав Аарон Валкин (1864–1940), погибший в годы Катастрофы. Он возглавлял еврейскую общину Пинска-Карлина и был одним из духовных лидеров партии «Агудат Исраэль». В обоснование своей позиции он привел три основных аргумента. Во-первых, тот, кто приглашает «мужчин и женщин, старых и молодых», чтобы торжественно отпраздновать двенадцатилетие дочери, тем самым подражает неевреям и, следовательно, нарушает прямой запрет Торы: «По их установлениям не ходите» (Ваикра, 18:3). Во-вторых, атмосфера подобного торжества может подтолкнуть приглашенных к недозволенному флирту, так как проводится не по установлениям раввинов и без соблюдения правил. И наконец, в-третьих, запрещено нарушать обычаи предков, которые ни о какой бат мицве не слышали (Закан Аарон I, Орах Хаим, 6).

Крайне неодобрительно относился к празднованию бат мицвы и ведущий раввинский авторитет Америки Моше Файнштейн (Игрот Моше, Орах Хаим, 104). В частности, он категорически запрещал отмечать ее в синагоге, если там нет специального зала. Рав Файнштейн давал согласие только на небольшую вечеринку в кругу семьи, ни в коем случае не имеющую статуса сеудат мицва – праздничной трапезы в честь исполнения заповеди. Впрочем, справедливости ради следует отметить, что рав Файнштейн столь же плохо относился и к празднованию бар мицвы, религиозного совершеннолетия мальчика. По его мнению, эти празднества не приближают к Торе никого, включая виновника торжества, зато сплошь и рядом приводят к массовому нарушению субботы (гостями, приезжающими издалека). Если бы это было в его силах, писал раввин, он запретил бы подобные празднества.

Впрочем, другие раввины отнеслись к празднованию бат мицвы куда благосклоннее. К примеру, рав Мешулам Рат (1865–1963), один из лидеров религиозных сионистов Восточной Европы, не только разрешал праздновать бат мицву дома, в кругу семьи, друзей и одноклассников, но и настойчиво рекомендовал учителям выступать во время церемонии со специальной речью о важности соблюдения заповедей (Коль Мевасер, 2:44). Его коллега, иерусалимский раввин Ханох Гросберг, считал, что праздновать бат мицву не только можно, но и правильно. Как писал рав Гросберг, в наши дни, когда семейные торжества нередко устраивают по весьма незначительным поводам, было бы неверно не отпраздновать столь религиозно значимое событие, как вступление в возраст соблюдения заповедей.

Наконец, некоторые раввины и вовсе полагали, что празднества в честь бат мицвы можно и нужно считать сеудат мицва. Этого мнения придерживался, в частности, главный сефардский раввин Израиля Ицхак Нисим (1896–1981). По его мнению, бат мицву можно праздновать даже в синагоге, а человек, получивший приглашение на празднество, не вправе не принять его без уважительной причины, поскольку речь идет о трапезе в честь исполнения заповеди (Ноам VII, с. 4). Другой знаменитый сефардский раввин, Йосеф Хаим (Бен Иш Хай), полагал, что в день религиозного совершеннолетия девочка должна надеть свое лучшее, субботнее платье. Он также рекомендовал дарить на двенадцатилетие какую-нибудь новую одежду, чтобы девочка могла произнести на нее благословение Шеэхияну («Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной, который дал нам жизнь, и поддерживал нас, и привел нас к этому дню»), подразумевая при этом день, когда она принимает на себя «иго заповедей»). В защиту празднования бат мицвы высказывались и другие сефардские авторитеты: рав Овадья Йосеф, рав Овадья Ходая, рав Мусафия и др.

Некоторые известные раввины, не участвовавшие в публичной дискуссии о праздновании бат мицвы, совершали поступки, свидетельствующие об их позиции

красноречивее любых слов. Например, известный борец с реформизмом рав Яков Этлингер (1798–1871), получив как-то раз приглашение на бат мицву, не только не отклонил его, но и произнес во время празднества специальную речь. Впоследствии эта речь была напечатана отдельной брошюрой.

Наиболее развернутый респонс по поводу бат мицвы опубликовал после войны рав Яков Вейнберг (Средей Эш III, 93), получивший образование в знаменитых ешивах Литвы, а затем долгие годы проживший в Германии, где он воспринял некоторые идеи местной неортодоксии. Подробно разобрав доводы противников бат мицвы, рав Вейнберг отверг их.

Относительно запрета «По установлениям их не ходите» рав Вейнберг писал, что речь идет только о тех случаях, когда евреи хотят уподобиться своим нееврейским соседям. Однако намерения тех, кто празднует бат мицву, обычно прямо противоположные: пробудить в сердце девочки любовь к заповедям и гордость за свое еврейство. Кроме того, у евреев хватает обрядов, очень похожих на нееврейские. Например, неевреи во время молитвы нередко встают на колени и простираются ниц. Евреи (в Судный день) поступают точно так же – и никому не приходит в голову это запрещать.

Опровергая аргумент в пользу того, что наши предки не праздновали религиозное совершеннолетие своих дочерей, рав Вейнберг отметил, что с тех пор многое изменилось. Ныне соблюдение заповедей – вопрос личного выбора. Поэтому следует прилагать усилия, чтобы воспитать в девочках любовь к Торе. И празднование бат мицвы подходит для этого как нельзя лучше, поскольку специально подчеркивает важность и ценность соблюдения заповедей.



Более того, отмечал рав Вейнберг, не следует забывать, что в наши дни еврейские девочки хорошо знакомы с учением о женском равноправии. Поэтому, если их братья и одноклассники торжественно отпразднуют свое религиозное совершеннолетие, а их, во имя «традиции», этого праздника лишат, это может отразиться на их отношении к еврейской религии. Причем, как нетрудно догадаться, отрицательно.

Судя по всему, доводы рава Вейнберга и его единомышленников оказались вполне убедительными. Поэтому, как мы уже сказали, в наши дни бат мицву празднуют в

большой части еврейских семей. Причем, как водится, в каждой общине этот праздник постепенно обрывает своими традициями. К примеру, любавичские хасиды нередко устраивают коллективные бат мицвы для учениц из еврейских школ. Обычно такой праздник включает выступление раввина, культурно-развлекательную программу (нередко подготовленную силами самих девочек), а также подарки «со смыслом» – субботние подсвечники, молитвенники, еврейские книги и т. д.

Думаю, будет правильно закончить эту статью небольшой цитатой из упомянутого респонса рава Вейнберга: «Все зависит от намерений тех, кто празднует, – действительно ли они заботятся о Торе и заповедях или просто копируют обновленцев... Не нужно спорить с теми, кто хочет праздновать. Вместо этого добейтесь того, чтобы этот праздник действительно укрепил дух Торы и заповедей в сердцах еврейских девочек».

ЭЗОТЕРИКА В НЕГЛИЖЕ

Yñò àd Bæiî

Çàì éí óò úé ñä - ññò ðà ì îÿ, í ääñò ä, èñò î:í èé çàì éí óò úé, ðñäí èé çàì ä: àò äí í úé.

Øèð à-øèðè, 412

В издательстве «Энигма» вышел перевод «Трактата о реинтеграции существ» Мартинеса Паскуалиса, одного из вдохновителей масонского движения в XVIII веке. Книга эта интригует читателя броским заглавием – «Каббала Мартинеса Паскуалиса». В предисловии переводчика Владимира Ткаченко-Гильдебрандта автор трактата предстает фигурой загадочной и таинственной; даже краткое изложение его биографии свидетельствует о том, что он был личностью выдающейся и внес немалый вклад в становление масонской идеологии, литургики и обрядовой практики.

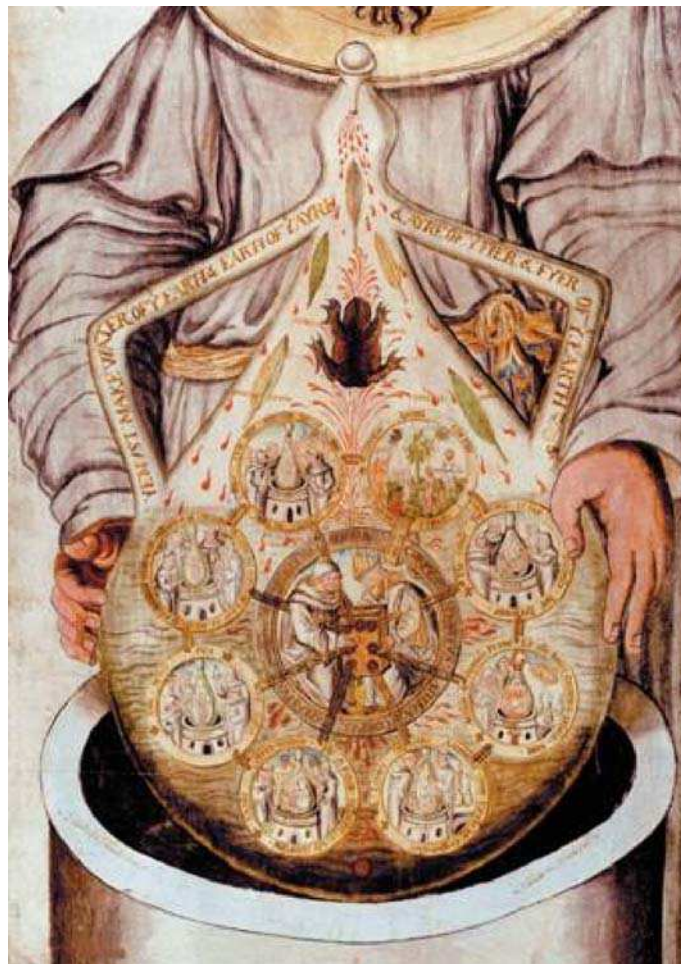


Иллюстрация из свитка Рипли (XV век), классической работы по алхимическому символизму.
Англия. Копия XVI века

В биографии Мартинеса де Паскуалиса много неизвестного, включая его настоящее имя и год рождения. Не вызывает сомнений лишь место рождения – Гренобль – и факт его происхождения из Испании. Один из ведущих исследователей творчества Паскуалиса, Робер Амаду, высказал предположение, что отец Мартинеса был испанским евреем, однако его самого нельзя считать марраном, так как принятие христианства в его случае было результатом свободного выбора. Паскуалис всячески декларировал свою принадлежность к Римско-католической церкви и требовал этого также и от кандидатов в созданный им масонский орден Избранных коенов Вселенной. Амаду называет религию Мартинеса иудео-христианством. Ткаченко-Гильденбрандт подчеркивает, что, несмотря на различные предположения исследователей о его происхождении, Мартинес Паскуалис ни в коей мере не считал себя «обычным» евреем – он был «гебраистом», т. е. евреем в возвышенном, мистическом понимании этого слова. Сам Паскуалис утверждал, что сакральное знание передано ему предшествующими поколениями посвященных, но такого рода утверждения всегда были неотъемлемой частью масонской мифологии. Впрочем, его претензии вдохновили французского эзотерического мыслителя Рене Генона, который в период с 1914 по 1936 год посвятил «загадке Мартинеса» несколько объемных эссе.

Что же за произведение перед нами: трактат по каббале, еврейской либо христианской, или оккультно-теософский опус? И как «Трактат о реинтеграции» соотносится с еврейским мистическим учением?

Настоящее заглавие книги – «Трактат о воссоединении всех творений в своих первоначальных качествах, добродетелях и силах духовных и Б-жественных»^[1] – позволяет предположить, что в ней будут изложены идеи, сходные с одной из центральных концепций лурианской каббалы – Исправлением мира (тикун олам)^[2], однако при ближайшем рассмотрении складывается совершенно иное впечатление.

Трактат представляет собой вольное изложение событий, описанных в двух первых книгах Торы (Берешит и Шмот), в Дварим, 28, и в Шмуэль 1, 28. Обсуждаются избранные библейские сюжеты, наиболее подробно – первые главы Берешит, в значительно меньшей степени – относящиеся к собственно еврейской истории. По ходу повествования автор все больше отходит от первоисточника, подвергая его значительной редактуре, внося добавления и меняя персонажей (так, например, женщина, вызывающая мертвых, из 28-й главы Шмуэль I, согласно Паскуалису, оказывается Пифией). Библейская сюжетная канва снабжена развернутым мистическим комментарием, дополняющим, а нередко и подменяющим текст Писания. По утверждению автора, комментарий составлен им на основе собственных озарений и некоей сакральной традиции, переданной ему лично.



Портрет Мартинеса Паскуалиса из книги Артура Вейта «Тайная традиция франкмасонов».

1911 год

Мистическое учение, лежащее в основе трактата, лишь отдаленно напоминает каббалу. Скорее, это спекуляции гностического и оккультного толка, в некоторых местах соприкасающиеся с еврейской раввинистической традицией. Хотя переводчик в предисловии высказывает предположение, что автор, происходивший из семьи марранов, мог в детстве познакомиться с преданиями из еврейской агады, непохоже, что сведения почерпнуты Паскуалисом непосредственно из еврейской традиции. Возможно, его источниками были произведения Филона Александрийского, Псевдо-Филона, Иосифа Флавия, а также более поздние тексты, интерпретирующие литературу эллинистического периода.

Характерным примером является упоминание известного агадического сюжета, в еврейских источниках появляющегося не ранее X века. Речь идет о Моисее-ребенке, который, играя, снял с фараона корону и возложил ее себе на голову, чем навлек на себя опасность: его заподозрили в том, что в будущем он фараона низвергнет. Моисея спас его будущий тесть, Итро, в то время бывший советником фараона: «Он предложил: «Принесите ему блюдо, полное золота, и блюдо, полное углей, если протянет он руку к золоту – есть у него злой умысел, тогда убейте его; если же протянет он руку к углям, нет у него умысла, – нечего судить его, он и так умрет». Принесли ему. Потянулся он к золоту, но пришел ангел Гавриэль и оттолкнул руку его. Тогда взял он уголь, положил в уста свои, обжегся и стал косноязычным»^[3]. Этот мидраш, в еврейской литературной традиции сохранившийся только в поздних текстах, упоминается у Псевдо-Филона и Иосифа Флавия и с начала первого тысячелетия был доступен нееврейскому миру. Паскуалис, истолковывая данный сюжет как «прообраз пришествия Христа в мир», замечает: «От испытания огнем Моисей стал заикаться, откуда произошло потом обрезание губ». Искаженный фразеологизм милат а-лашон («обрезание языка») из Книги Творения^[4] свидетельствует о непонимании автором еврейских коннотаций изложенного им сюжета.

Влияния собственно каббалы в трактате практически не ощущается. Ни концептуально – подход Паскуалиса несомненно христианский, ни терминологически. Мистика Паскуалиса гностическая и оккультная, его Б-г не обладает полнотой, зло появляется в мире помимо Его воли, земля и материальные формы служат лишь темницей павшим духам. Сопутствующие Ему духовные существа не являются Его эманациями, обладают свободой выбора и озабочены только тем, как отнять у Него право самостоятельно творить и как совратить человека, подстрекая его к богоборчеству и произволу в Творении. Решающую роль в примирении (а вовсе не в исправлении) первого человека с Б-гом должен сыграть Христос, появляющийся одновременно с Адамом. Однако «Трактат о реинтеграции» нельзя назвать и произведением христианской каббалы [5], поскольку он не затрагивает присущей ей духовной проблематики.

И все же ряд своеобразных деталей и идей, недопонятых, но, безусловно, воспринятых автором, намекают на то, что некоторые соприкосновения с каббалистическими источниками у Паскуалиса были. Так, например, объясняя мистическое значение шести дней Творения, автор сообщает о том, что материя будет существовать шесть тысяч лет, а в седьмом тысячелетии низвергнется и будет разрушена. При этом он добавляет: «Шесть тысяч лет жизни вселенского творения... коротки для Предвечного, ибо перед Ним тысяча лет – как один день». Поскольку рассуждение заканчивается парафразом слов из псалма [6], вполне соответствующим логике еврейской экзегезы, напрашивается сравнение и с изречением из Талмуда: «Шесть тысяч лет существует мир, а на седьмое рушится» (Сангедрин, 97а), и с каббалистическим учением о шмитот – семи тысячелетних периодах, соответствующих семи Б-жественным эманациям. вполне вероятно, что Паскуалис был связан с людьми, в той или иной степени знакомыми с переводами книги Зоар и других каббалистических текстов на латынь, осуществленными в XVII веке Кнорром фон Розенроттом и оказавшими значительное влияние на духовную культуру Европы Нового времени.

Русское издание «Трактата о реинтеграции» дополнено текстами нескольких теургических молитв и описаниями обрядов, где впервые используется один из важнейших каббалистических терминов, служащий для описания Б-жественных эманаций, – сфирот, но его значение никак не раскрывается и он предстает понятием скорее магическим, нежели философско-мистическим.

Почему же «Трактат о реинтеграции» назван его издателями «каббалой»? С одной стороны, даже в европейской науке Мартинес Паскуалис остается загадочной фигурой, а его первое появление на российской сцене тем более сопровождается ароматом неизбывной тайны. С другой стороны, не меньшей тайной продолжает оставаться для русскоязычного читателя настоящая каббала. И возможно, любая новая попытка ее популяризировать лишь создаст тайне новое облачение, более надежно укрывая ее от вожделеющих глаз...



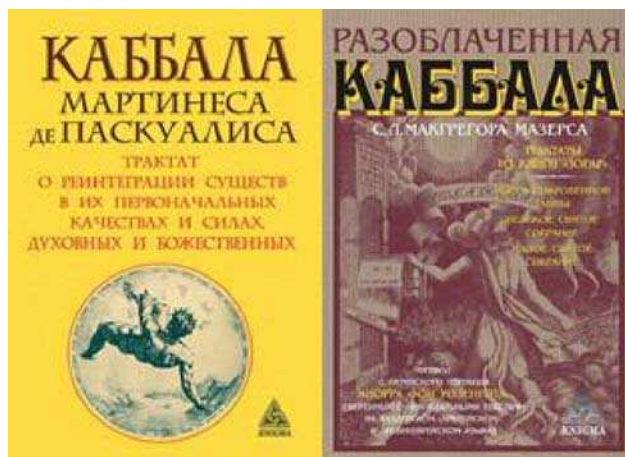
Портрет Сэмюэля Мазерса. Конец XIX века

Другая книга издательства «Энигма», «Разоблаченная каббала» С.Л. Макгрегора Мазерса в переводе Анны Блейз, в еще большей степени претендует на проникновение в сокровенные мистические тайны. «Разоблаченная каббала» – это русский перевод английской версии фрагментов главного труда великого христианского каббалиста, барона Кнорра фон Розенротта, «Обнаженная каббала» («Kabbala Denudata»), созданной английским оккультистом Сэмюэлем Мазерсом в конце 80-х годов XIX века. «Обнаженная каббала» – антология каббалистических текстов, переведенных на латынь и сопровождаемых обстоятельными комментариями, – до XIX века служила нееврейской аудитории основным источником знаний о каббале.

«Разоблаченная каббала» Мазерса включает переводы с латыни относительно небольших по объему самостоятельных трактатов, входящих в состав книги Зоар, – трактатов наиболее таинственных и сакральных. Английская версия, хотя и позиционирует себя в качестве перевода каббалистического первоисточника («Разоблаченная каббала» имеет подзаголовок «Трактаты из книги Зоар»), не является просто изложением арамейского оригинала. По сути это текст, принадлежащий к так называемой «оккультной каббале» – духовному преемнику христианской каббалы, зародившемуся во второй половине XVII века в среде немецкого масонства и существующему по сей день. Мазерс – один из наиболее влиятельных оккультистов своего времени, основатель герметического ордена «Золотая заря»^[7]. Увлекавшийся магией и искусством ведения войны Мазерс, как упоминают многочисленные справочники и энциклопедии, обладал широкими познаниями в древних языках, среди которых латынь, греческий, древнееврейский, коптский и галльский.

Его интерес к еврейским каббалистическим текстам не случаен. Считая евреев народом – хранителем древних тайн человечества, он попытался сделать из еврейского мистического труда трактат по универсальному (в масонском понимании) знанию, снабдив его собственными разъяснениями и комментариями. Его перевод, озаглавленный «The Kabbalah Unveiled» («Разоблаченная каббала», дословно «Каббала без покрывала»), перекликается не только с названием книги Розенротта, но и с заглавием известного труда Елены Блаватской «Isis Unveiled» («Разоблаченная Изида», 1877), безусловно намекая на идеологическую близость с ее идеями. Но Мазерс, в отличие от Блаватской, не предлагает

встать над религиями. В предваряющей перевод развернутой статье, призванной ответить на вопрос, что такое каббала, он советует каждому христианину, изучающему Библию и теологию, изучать также и каббалу, ибо она содержит ключи к пониманию темных мест Ветхого Завета и создана тем самым народом, которому последний принадлежал изначально.



Из краткого обзора содержания, методов и источников каббалы, сделанного Мазерсом, видно, что его знакомство с еврейским мистическим учением весьма поверхностно. Несмотря на добросовестное изучение книги Розенротта, он, скорее, развивает масонский миф о каббале. Так, Мазерс поясняет, что кроме переведенных им частей Зоар включает книгу Авраама Эрреры[8], анонимный алхимико-каббалистический трактат «Эш мецареф» («Огонь плавильщика», XVI–XVII века)[9], а также некий трактат, в описании Мазерса вовсе не поддающийся идентификации. Среди знатоков каббалы автор, естественно, числит исключительно оккультистов, что гармонично вписывается в созданную им картину.

Понятно, что от произведения такого рода не стоит ожидать изложения собственно еврейского мистического учения, – Зоар в устах масона приобретает иное звучание, а его содержание местами напоминает оригинал, а местами кажется нелепым и крайне далеким от исходного смысла. И в этом нет трагедии – наоборот, тайна остается нераскрытой, защищая себя покровом нелепости. На английский язык переведено множество еврейских текстов, сохранивших еврейское звучание, так что англоязычным читателем масонская интерпретация каббалы вряд ли воспринимается как аутентичный перевод первоисточника, а христианская каббала не смешивается с еврейской. Иначе может обстоять дело с книгой Мазерса на русском языке.

Достаточно многочисленные переводы книги Зоар на русский язык[10] столь же далеки от оригинала, сколь и английский «перевод» Мазерса. В единственном адекватном русском издании Зоара[11] приведены лишь небольшие фрагменты различных частей книги; в частности, трактаты, переведенные Мазерсом, там представлены только краткими отрывками. Это неудивительно: как уже говорилось, «Идра раба» («Великое собрание»), «Идра зута» («Малое собрание») и «Сифра де-цниута» («Книга сокрытия» или «Книга сокровенного») – одни из наиболее сокровенных и таинственных частей Зоара. В них повествуется о структуре Б-жественности и ее раскрытии в мире эманаций посредством образов человеческой головы (т. н. «ликов») и ее внешних и внутренних элементов: черепа, волос, глаз, ушей, носа, губ, бороды, а также полостей мозга и его покровов. В этом же контексте говорится о мужественности и женственности Б-жественного изначалия. Каждая из трех книг обладает уникальным мистическим

настроением и собственной поэтикой, а натурализм в них столь тесно переплетен с откровением, что не оставляет места для буквального восприятия.

Известно, что еврейское видение Б-га отрицает любые материальные образы. Однако во многих мистических текстах повествование носит характер красочный и чувственный, апеллируя к глубинной духовной интуиции, и вместе с тем не предоставляет возможности упрощения. Еврейская мистика говорит языком человеческих символов. Упомянутые части Зоара традиционно воспринимаются сквозь призму учения великого мистика XVI века рабби Ицхака Лурии (Ари) – учения еще более эзотерического, чем сам Зоар, и обращенного к адептам, обладающим обширным опытом многолетнего религиозного служения и изучения классических еврейских текстов. Решиться переводить «Идрот» и «Сифра де-цниута» религиозному человеку необыкновенно трудно: для этого необходим особый душевный взлет, на грани мистического прозрения, а также уверенность в своем праве приступить к изложению сокровенных тайн.

Вполне вероятно, что жаждущий информации российский читатель, интересующийся разного рода эзотерикой, как еврейского, так и нееврейского происхождения, воспримет «Разоблаченную каббалу» в качестве непосредственного источника еврейского мистического учения, не обратив внимания на его масонское содержание. Тогда вся тяжеловесность и невнятица русского текста будут приписаны несовершенству оригинала.

О качестве перевода книги Мазерса нужно сказать особо. Удивительно, что в настоящее время, когда существуют высокопрофессиональные группы переводчиков, редакторов, комментаторов и издателей классических еврейских текстов, а также немало высококвалифицированных специалистов, пишущих на еврейские темы, издательство, специализирующееся на мистической литературе, может выпускать книгу в таком состоянии. Хотя Мазерс и сам допустил множество ошибок в написании еврейских и арамейских (как у него сказано в традиции времени – «халдейских») терминов и названий, что свидетельствует о весьма относительном владении ивритом и арамейским, в русском переводе эти термины в некоторых случаях не смогли даже правильно транслитерировать. Очевидно, этого издания в процессе подготовки вообще не касался человек, знающий иврит, не говоря уже о специалистах, сведущих в каббале. Вероятно, издатели рассматривали трактат Мазерса в качестве сугубо масонского текста, никак не связанного с еврейской духовной традицией. Перевод местами звучит нелепо, а иногда почти смехотворно. Не хочется приводить примеры, ибо они будут звучать издевательски по отношению к исходному тексту, чего хотелось бы избежать, – еврейская традиция предписывает особо бережное отношение к книге Зоар и уж тем более к трактатам, опубликованным в «Разоблаченной каббале».

Несмотря на все изъяны, русское издание «Разоблаченной каббалы» представляет несомненный интерес для исследователей оккультной и христианской мистической традиции и, несомненно, будет востребовано читателями неподготовленными, но интересующимися каббалой. Последнее утверждение звучит довольно дико: в традиционном еврейском мире «Идрот» не изучают профаны, содержание этих трактатов не в полной мере доступно интеллектуальному восприятию даже сквозь призму лурианской каббалы и их понимание во многом зависит от индивидуальной религиозной интуиции. Но в российском культурном пространстве, где пока практически нет ни авторитетных переводов оригинальных каббалистических текстов, ни трудов ведущих современных исследователей каббалы, перевод книги Мазерса неизбежно будет читаться и обсуждаться.

[1] В переводе Ткаченко-Гильдебрандта «Трактат о реинтеграции существ в их первоначальных качествах и силах духовных и Б-жественных».

[2] Тикун (ивр. «исправление») – согласно лурианской каббале, процесс исправления космического несовершенства и воссоединения изначально единых Б-жественных проявлений, разделенных в результате серии катастрофических актов, первым из которых был собственно акт Творения, а последним – грехопадение первого человека.

[3] Мидраш Шмот раба, 1:26.

[4] Сефер Йецира («Книга Творения») – одно из наиболее ранних и важных произведений еврейской мистики, созданное предположительно во II–IV веках в Земле Израиля. По традиции ее автором считается праотец Авраам. «Обрезание языка» и «обрезание ногтей» в ее тексте – два мистических символа завета Израиля со Всевышним.

[5] Христианская каббала возникла в процессе межкультурного и межконфессионального взаимодействия христианских и еврейских мыслителей Средневековья, в результате чего христологический миф был включен в концептуальную систему каббалы. Возникла в Европе примерно в XIII веке, а в XV–XVII веках пережила наивысший расцвет.

[6] Ср. Теилим, 90:4: «Ибо тысяча лет в глазах Твоих как день вчерашний».

[7] Орден «Золотая заря» – оккультная организация, существовавшая в Англии с 1888 по 1923 год и оказавшая значительное влияние на формирование идеологии неоязычества и развитие геополитических тенденций в Западной Европе первой половины XX века.

[8] Мазерс, очевидно, имеет в виду основной труд Эрреры «Врата небес», наряду с другими текстами вошедший в «Kabbala Denudata».

[9] См. монографию Константина Бурмистрова «Ибо он как огонь плавильщика: Каббала и алхимия». М., 2009. «Эш мецареф» также является частью «Обнаженной каббалы» Розенротта. Мазерс не способен отличить, где кончается Зоар и начинаются другие тексты. Вероятно, труд Розенротта являлся для него главным источником, откуда он черпал знания по каббале.

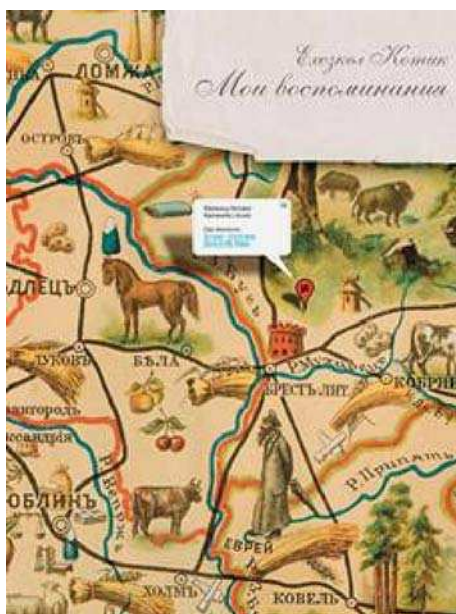
[10] На русском книжном рынке присутствует не менее четырех «полных переводов» Зоара – крайне далеких от оригинала и выдержанных в откровенно сектантском или оккультном духе.

[11] Рабби Шимон. Фрагменты из книги Зоѓар / Пер. М. Кравцов. Москва: Гнозис, 1994; недавно вышло второе издание: Иерусалим: Дом еврейской книги, 2010. В настоящее время переводчик продолжает работать над полным текстом «Книги сияния».

Исроэл Некрасов. Конечно, есть и нечто притягательное, есть и пиетет перед памятником, но, может быть, дело еще в том, что на русский язык переведена только ничтожная часть еврейской литературы. Поэтому каждая новая переведенная книга очень много добавляет к существующим в России представлениям о литературе на идише.

Виктория Мочалова. Возможно, это эффект вдруг приплывшей из глубин времени бутылки с текстом, рассказывающим о некоей Атлантиде, о мире, которого никто из живущих «здесь и теперь» не мог видеть, но который, тем не менее, существовал в реальности, а не в фантастических построениях автора. Поэтому, вероятно, эта книга может быть притягательна как такое нетривиальное сочетание миража (описания, так сказать, еврейского града Китежа) – и подлинного свидетельства очевидца, участника, современника описываемого; как интригующее совмещение реального и ирреального.

Для современного читателя может представлять интерес и то, как непрофессионал весьма зрелого возраста (65-летний дебютант!) вдруг берется за перо – и попадает в «десятку», повергая в изумленный восторг высокое профессиональное жюри в лице Шолом-Алейхема и Ицхака-Лейбуша Переца. К тому же успеху книги, полагаю, в немалой степени способствует теперешний повальный интерес к мемуарной и исторической литературе, независимо от порта ее национальной приписки. «Non-fiction» – написано на знаменах нашего времени.



А если говорить о читателе, «мало-мальски интересующемся еврейской проблематикой», то ему Сам Б-г велел вчитываться в эту книгу в поисках своих неведомых корней, в процессе этого чрезвычайно распространившегося на почве беспочвенности занятия – searching of the roots. Этот читатель, наверное, мысленно поставит мемуары Котика на ту же полку, где у него уже стоят и идишские мемуары Гликель из Хамельна, и сочинение Бера из Болехова, и «Автобиография» Соломона Маймона, и написанные по-немецки «Воспоминания бабушки» Полины Венгеровой, и «русские» воспоминания из николаевской эпохи Авраама Паперны, и трехтомные мемуары Генриха Слиозберга «Дела минувших дней. Записки русского еврея», и «Книга моей жизни» Семена Дубнова. И в этом ряду Котик займет, я думаю, достойное место.

– Что для вас в первую очередь книга Котика: исторический памятник или литературный? Секрет ее привлекательности в информативной насыщенности или в мастерстве рассказчика?

И. Н. Одно другого не исключает, но скорее все-таки первое.

Ш. Р. В литературном отношении я выше ставлю воспоминания Маймона. Не хуже и несколько других авторов (Ковнер, Паперна, Слиозберг – жаль, что он не переиздан полностью). Книга неровная: есть части, которые читаются прекрасно, а есть и такие, которые не доставили мне особого удовольствия. Прежде всего я читал Котика как первоисточник по истории нравов, образа жизни, быта штетла, а также отношений между митнагедами и хасидами.

В. М. Для меня это скорее исторический памятник, причем в том смысле, в котором мы различаем «историю» и «память». Это отражение образа жизни и образа мысли, представлений наших местечковых предков, покинувших места традиционного проживания ради больших городов, но причудливым образом сохранивших обломки прежней системы ценностей.

– Как Каменец Котика соотносится с тем образом местечка, который сформировался в современной ему идишской литературе?

И. Н. Никак не соотносится. Предшественники Котика не ставили перед собой цели описать местечко, оно было для них только сценой, на которой разворачивалось действие.

Ш. Р. Я не специалист по литературе, но образ, созданный классиками, довольно схож. Штетл застыл в своеобразном консерватизме. Недавно я видел несколько любительских фильмов 30-х годов, кадры из которых могут быть иллюстрацией к Котику.

В. М. Конечно, существует богатая мифология штетла и его неоднозначная литературная история. Образ штетла двойится в зависимости от того, был ли автор маскилом, как, например, Йеуда-Лейб Гордон, гневно или саркастически ополчившимся на провинциальную затхлость, отсталость, косность, ограниченность и тому подобное местечковой жизни, из которой рвались на просторы просвещенного мира все те, кому там было душно и тесно (этот процесс подробно описан, в частности, еврейским бытописателем Семеном Ан-ским), или более традиционным типом еврея, хранящим теплые (Роскис в предисловии к книге Котика называет их слащаво-сентиментальными) воспоминания о плотно заселенном и стоящем на прочных алахических основаниях местечковом мире.

У меня впечатление, что Котик, человек начитанный, «просвещенный», тем не менее далек от тенденциозности обоих направлений, что у него преобладает стремление описать, зафиксировать «уходящую натуру». Если же отвлечься от идеологии описания, то котиковский образ местечка вписывается в общий канон, во всяком случае, не противоречит ему.

– Котик, исходящий из представления о «смерти местечка», пишет о мире, ушедшем навсегда. Велика ли в его мемуарах роль идеализирующей памяти детства, ностальгического искажения?

Ш. Р. Чтобы ответить на этот вопрос, надо хорошо знать жизнь местечка. Есть, конечно, некоторые этнографические работы, но я знаю о ней лишь как читатель Котиков. У Котика видна идеализация его семьи, и это искажает картину.

И. Н. Об этом трудно судить тому, кто никогда не жил и не мог жить в местечке, но идеализации в мемуарах Котика не чувствуется. У него все описано достаточно жестко и убедительно.

В. М. Мне тут тоже трудно судить – верифицировать картину Котика я не имею никакой возможности, все мои познания об этом «мире, ушедшем навсегда» почерпнуты из литературы. У Котика мне не бросилось в глаза какое-то явное «ностальгическое искажение», превышающее обычную идеализацию мира детства. Детство-то ушло у всех, но у еврейских авторов XX века безвозвратно ушел и описываемый мир, поэтому всякая попытка его реконструкции представляется ценной сама по себе, даже при наличии «искажений». Возможно, поэтому был так высоко оценен Исаак Башевис Зингер, взявшийся описать этот мир после его тотального уничтожения, до которого умерший в 1921 году Котик, слава Б-гу, не дожил.

– Валерий Дымшиц в предисловии к книге пишет об ориентации Котика на традиционные литературные и фольклорные модели. Не сказывается ли «память жанра» на фактической достоверности мемуаров?

И. Н. Может, и сказывается, но, наверное, не больше, чем на достоверности любых мемуаров.

Ш. Р. Котик – не новатор. И трудно от него этого ожидать. Все мы не свободны от разного типа влияний. Не вижу особенных отличий мемуаров Котика от воспоминаний хотя бы Горького или Свирского. Нет воспоминаний «объективных», все они проходят через фильтр времени и жизненного опыта.

В. М. Вы все клоните к верификации «показаний» Котика, последовательно в своих вопросах акцентируете именно фактическую достоверность его мемуаров. Меня в данном случае это интересует не в первую очередь. Ведь мемуарист всегда, по определению, «врет», его свидетельства нельзя принимать за чистую монету (абберация памяти, ее услужливость, «wishful thinking», принцип «что пройдет, то будет мило» и прочее), и историки знают, что сведения, почерпнутые из мемуаров, следует воспринимать критически. Котик приводит и слухи своего времени, тоже важную составляющую бытия всякого социума, при этом далекую от фактической достоверности (например, об участии Огиньского в польском восстании), и для нас эти слухи тех лет, та «память» столь же интересна, как и «история».

Многие персонажи Котика напоминают сходные образы, представленные в еврейской литературе, но мне кажется, что это скорее не литературная модель, которую он заимствует, а восхождение к общему реальному прототипу, инварианту, что, в свою очередь, свидетельствует о достоверности.

Вообще ценность мемуаров – не только и не столько в этой пресловутой достоверности (да и что она вообще такое – вопрос философский). Как памятник представлений эпохи, «документ ментальности», свидетельство сознания и восприятия человека того времени, они бесценны. Им просто нет цены.

– Насколько вообще можно верить Котику-мемуаристу? И позволял ли еврейский литературный канон начала XX века мемуаристу включать фантазию, вносить в текст игровое начало?

И. Н. Не знаю, что такое еврейский литературный канон начала XX века. Каждый значительный автор сам для себя устанавливал какие-то законы и смело их нарушал, если считал нужным это сделать.

Ш. Р. Когда Котик пишет о своей семье, фактам можно верить. Когда он пишет о своем отношении к вере – тоже. Но он пишет также о событиях, которые знает из «вторых рук», или повторяет мифы, имевшие хождение в его кругу. Например, это касается образа жизни помещиков. Когда он пишет о восстании 1863 года, это интересно, потому что это не образ восстания, а его отражение в сознании евреев. Как и к любым воспоминаниям, к мемуарам Котика следует относиться критически.

В. М. Ну, если уж сам Шолом-Алейхем писал Котику: «Что меня очаровало в Вашей книге – это святая, голая правда, безыскусная простота» – то нам, я думаю, и вовсе не пристало сомневаться в подлинности его описаний.

– Насколько высоким представляется вам качество русского издания Котика (перевод, сопроводительные статьи, научный аппарат)?

И. Н. Достаточно высоким. Переводчик и редактор сделали свою работу честно, на совесть, с уважением к автору и читателю. Эта книга – прекрасный подарок всем, кто интересуется еврейской литературой, но не может знакомиться с ней в оригинале.

Ш. Р. Начну с конца. Обработку текста Дымшиц сделал прекрасно, его комментарии и сноски ценны сами по себе. О переводе трудно судить, не зная оригинала. В общем, книга читается хорошо. В нескольких местах возникают сомнения, но, повторяю, надо знать оригинал. Например, владелец дома называется «обывателем». В переводе на иврит используется термин бааль-хабит, так же и в идише, поэтому лучше назвать его – «хозяин». Во времена Котика «обывателем» называли исключительно помещика, житель города был «подданным». Теперь это слово «демократизировалось» и по-польски означает «гражданин».

В. М. Предисловие Роскиса и работа Дымшица (предисловие, комментарии), полиграфический облик издания – выше всяких похвал. Что касается самого перевода, я не могу судить квалифицированно, так как, увы, не знакома с оригиналом. Однако многие места в переводе вызывают сомнения, возражения. Трудно поверить, что в оригинале католический священник, ксендз, назван «попом» – «поп русский» и «поп польский». Не вполне удачными представляются обороты «с Б-жьей помощью случилась эпидемия кори», «митнагед впадает в страшную сухость, в какую-то пустыню» и другие.



**Вацлав Конюшко. Кидуш левана – освящение луны. 1880 год.
Национальный музей Варшавы**

Александр Локшин. У читателя, знакомящегося с опубликованными воспоминаниями Котика, может сложиться впечатление, что перед ним «все» воспоминания, которые написал автор. По крайней мере, характеризуя в предисловии и второй том мемуаров, Валерий Дымшиц не оговаривает, что к русскому читателю приходит лишь первый. Тот самый первый том, которым восхищался Шолом-Алейхем, впоследствии разочарованный продолжением воспоминаний Котика. Между тем Ицхаку-Лейбушу Перецу понравились оба тома. Не публикуя вторую часть, издатель не дает возможности читателю самому сделать вывод, который формулирует автор предисловия: «история его (Котика. – А. Л.) собственных скитаний и мучений ему не удастся». Во втором томе представлен целый пласт еврейской истории времен царствования Александра II, это богатый источник для изучения описываемой эпохи.

Сам мемуарист, приступая ко второму тому воспоминаний, писал: в первой части «я был вольная пташка, беззаботное дитя и крутился в маленьком, любимом Каменце среди веселых хасидов и задумчивых митнагедов», считая, что «Каменец – это весь мир, а Б-г сидит сверху, на небесах, и смотрит только на нас, на местечко». Во второй же части он «настоящий галутный еврей – скитающийся, бродячий еврей с большим грузом, ищущий, как заработать. Меламед, арендатор, собственник, продавец, винодел, Менахем-Мендл... не способный ни к чему практическому». Но, кидаясь из стороны в сторону, наш герой, как он сам признавался, «держал глаза открытыми». Из-за этого он, возможно, и не пришел «ни к чему практическому» – но именно благодаря «открытым глазам» он увидел и запечатлел многие стороны еврейской жизни: Белосток как один из местных центров Хаскалы; Варшаву и отношение польских евреев к приезжим литвакам, получившим обидное прозвище «целем коп» – «голова крестом»; не отразившуюся в других еврейских воспоминаниях жизнь ишувников, деревенских евреев, и самого мемуариста, оказавшегося волею судеб управляющим помещичьей усадьбы; картину еврейской повседневности в Киеве; портреты ряда еврейских богачей-филантропов Егупца, включая Израиля Бродского; описание еврейской Москвы, которое никогда не было востребовано историками, как и зафиксированная Котиком реакция евреев на убийство Александра II. Очень колоритны в воспоминаниях описания жизни хасидов. Интересны свидетельства Котика об отношении евреев к Русско-турецкой войне 1877–1878 годов (любопытно сравнить их с рассказом на ту же тему Семена Ан-ского «Мендель Турок»). Завершается второй том описанием еврейского погрома в Киеве и смертью деда Котика.

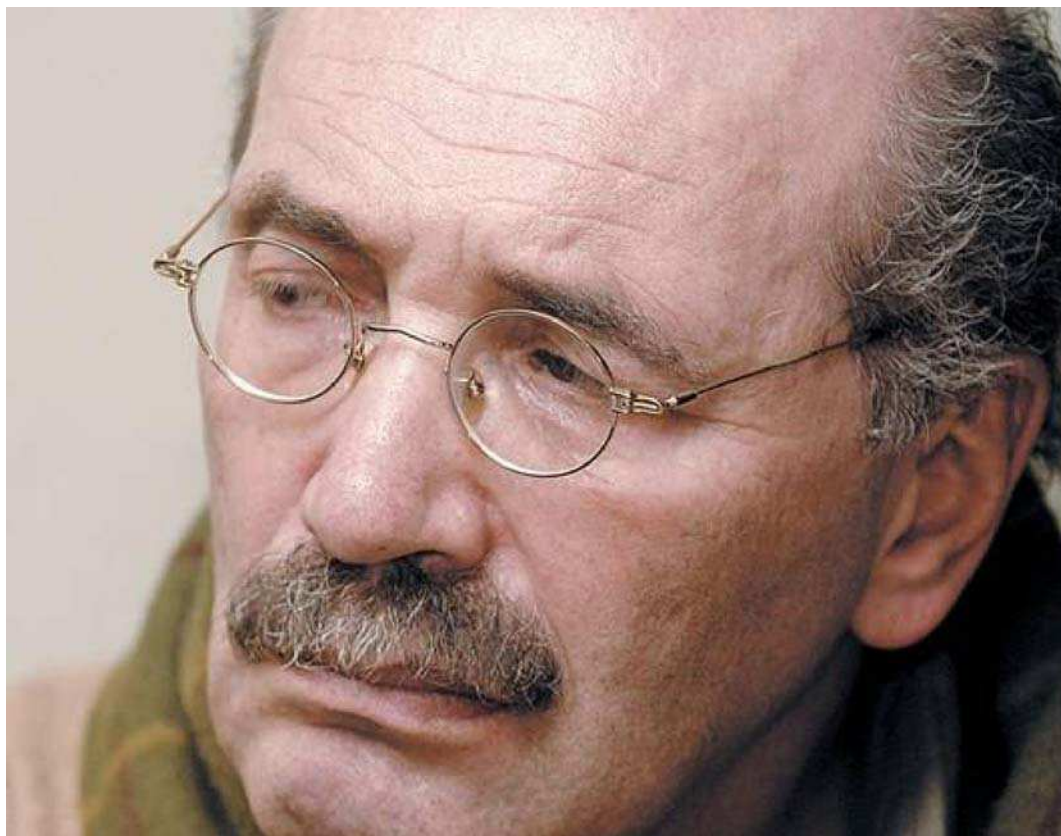
Позволю себе выразить надежду, что выложенный в Интернете перевод второго тома воспоминаний будет прокомментирован так же добротнo, как и первый, и вскоре тоже станет достоянием русскоязычного читателя.

ЛЕХАИМ ИЮНЬ 2010 СИВАН 5770 – 6(218)

Александр Кабаков: «Самое главное я понял в 12 лет»

Аהיה לי יום הולדת יג' בילד' וזה היה היום הכי חשוב שלי

Со времен прошлого появления Александра Кабакова на страницах «Лехаима» (см. 2005. № 3) прошло больше пяти лет. За это время в его жизни произошло немало важных событий: он выпустил новый роман, стал лауреатом нескольких престижных премий... Наш корреспондент решила побеседовать с известным прозаиком о литературном процессе, интересе к премиям и небезупречности всего, что делают люди, а также о любви к кошкам и равнодушии к блогам.



– За роман «Беглец (дневник неизвестного)» вы получили премию «Проза года – 2009». Роман вызвал интерес, был положительно встречен и критиками – судя по отзывам, и читателями – судя по тому, как продается. Что для вас значит эта премия?

– Мне, конечно, приятно, премия – это удовольствие.

Но радость была подпорчена тем, что среди положительных отзывов был ругательный – одного уважаемого мной критика. Он нашел у меня много исторических ошибок и ляпов. Я очень расстроился. На многие его замечания мне было что ответить, но глупо выглядит писатель, который отвечает критику, вступая с ним в публичную дискуссию. Я этого делать не стал. Постепенно успокоился, но осадок, как говорится, остался...

«Беглец» – существенная для меня работа. Много сил было вложено не только в изучение времени, еще и серьезные художественные усилия были приложены: роман стилизован, значительная часть его написана в форме дневника за 1916–1917 годы банковского служащего, жившего в Москве, языком, который даже для тех лет несколько старомоден, это объясняется особенностями характера и биографии героя. Есть там и другие постмодернистские фокусы, в частности, в конце повествования поставлено: «Закончено в 2013 году», да еще и по-немецки, то есть публикатор дневника тоже вынужден был (точнее, будет) уехать...

На сегодняшний день «Беглец» – последнее мое сочинение. И я им, несмотря ни на что, доволен.

– **В Интернете, в блогах «Беглец» довольно активно обсуждался сразу после выхода. Если суммировать, есть два разных мнения: скучно или страшно. Как вам такие оценки?**

– Мнения, которые высказываются в блогах, меня не интересуют. Я в целом к интернет-сообществу отношусь безразлично. Это не мои читатели. Мои читатели, в основном, не живут в Сети – у них и возраст иной, постарше, и культурный уровень.

Оценка «страшно» нормальна, поскольку в книге описана катастрофа. А оценка «скучно» нормальна для человека из интернет-сообщества. Конечно, ему скучно, нет крыс в метро, как у Дмитрия Глуховского, да и самого метро тоже нет. Жители Сети любят более или менее умеренную фантастику, сказки либо описания их собственной жизни – жизни офисного планктона, как, например, у Сергея Минаева. Им интересно читать про таких, как они, – с одной стороны, весьма образованных, знающих несколько языков, с легкостью осваивающих технические новинки, а с другой – фантастически темных, пишущих по-русски неграмотно, иногда нарочно, а чаще просто по незнанию, мало читавших и не потрудившихся в прочитанном что-либо понять.

– **Названия нескольких ваших произведений – «Беглец», «Сочинитель», «Невозвращенец» – существительные, но в них есть действие, движение. Это, видимо, не случайно?**

– Да, наверное... Конкретные, одушевленные существительные. Они отражают мой интерес к определенному складу человека и типу поведения. Практически все мои герои – эскаписты, то есть люди, пытающиеся убежать.

– **От чего они убегают?**

– От всего.

– **От жизни?**

– В первую очередь. Эти люди находятся в большем или меньшем противоречии с жизнью. Меня иногда упрекают в том, что мои герои – не те, «хочется делать жизнь с кого». А с них и не надо брать пример, они неудачники, слабые, небезупречные в смысле морали люди. Такие, какие есть. Я пишу о городском образованном слое. О других не пишу – их не знаю, пишу о таких, как я сам. А писать о них, как о некоем Павке Корчагине с высшим образованием, – значит... ну, очень себя самого любить, а я не могу относиться к себе с безусловным одобрением. Поэтому и герои у меня такие.

– **Среди ваших персонажей есть и военные. Это отчасти воспоминания детства, связанные с отцом?**

– Да, отец был офицером. В первой части романа «Все поправимо» я описываю военных так, как их видит мальчик, – рыцарями, сильными и смелыми... но со слабостями. Правда, тогда я других мужчин не видел. Я вырос в таком месте, где все мужчины были в форме. Первый мужчина-штатский, которого я знал, был мой школьный учитель рисования, спившийся художник, длинноволосый человек в вытертых бархатных штанах, с серебряным перстнем. Был еще и второй, настройщик (все же учили детей музыке) в широкополой шляпе, тоже с длинными, но седыми волосами. Все остальные были в погонах. Я много раз смотрел, и всякий раз едва ли не со слезами, безумно

любимый мною фильм Петра Ефимовича Тодоровского «Анкор, еще анкор!» – вот мое детство!

– **Во многих ваших книгах чувствуется не просто неприятие, а ненависть к советской власти. В чем ее причины?**

– Как говорится, ничего личного.

– **Тем более, откуда она?**

– В нашей еврейской интеллигентной семье, как ни странно, никто не был репрессирован. Папа, Абрам Яковлевич, был военным, мама, Фрида Исааковна, – домохозяйкой, одна мамина сестра была некогда концертирующей пианисткой, брат – железнодорожником, другая сестра – бухгалтером, замужем за юрисконсультантом, они были вольнонаемными в подмосковном лагере в Электростали, их тоже не тронули.

Со мной, конечно, в свое время комсомол вел бескомпромиссную воспитательную работу, но я, надо признать, сам на нее нарывался. И честно говоря, ничего дурного от советской власти, кроме невозможности печатать свои сочинения (заметьте, вполне антисоветские), лично я не видел. Но при этом я с раннего детства воспринимал советскую власть как абсолютно бесчеловечную силу.

– **В какой момент возникло это ощущение?**

– Довольно рано я узнал про преступления власти. В семье обсуждался знаменитый доклад Хрущева XX съезду, обсуждался, конечно, тайком от меня, но я все слышал. И как-то мгновенно понял: «Тут дело не в Сталине, тут в целом что-то не в порядке...» Я это осознал в 12 лет. Помню эту мысль, как она во мне звучала: «тут дело не в Сталине». Я сразу все как-то понял примерно так, как и сейчас понимаю.

Эта моя враждебность носит идеологический характер, она на уровне убеждений, а не бытового неприятия. Но таких людей, как я, было немало. И это только доказывает, что в системе советской власти действительно что-то было совсем не в порядке.

– **Вас «обвиняют» в пророчестве – прежде в связи с «Невозвращенцем», теперь из-за «Беглеца»...**

– И «Невозвращенец» не был пророчеством, и «Беглец» не пророчество. Преду-пре-жде-ние, а не пророчество. Это разные вещи. Это как в известном анекдоте про чукчу, который сидит на дереве на ветке и ее же пилит. Русский проходит и говорит: «Не пили ветку – упадешь». Чукча продолжает пилить, через какое-то время падает, лежит и думает: «Русский-то шаман, однако». На его взгляд, русский пророчествовал, а русский – предупреждал. Пусть чукчи не обижаются, анекдоты про них добродушные. А не слышать предупреждений – это общечеловеческая черта.

– **Это значит, что вероятность трагических событий в скором будущем для вас совершенно очевидна?**

– Если ничего не изменится, то да. А чего еще можно ждать: народ страшно раздражен бешеной инфляцией, которая, конечно, ни в какие официальные цифры не укладывается, цены на жилье летят вверх, все дорожает невообразимо. Между тем очень

маленькая часть богатых людей выжала из этого кризиса все, что можно. Во всем мире все-таки пытаются заставить и богатых расплачиваться тоже. А у нас нет никаких ограничений. Им дали огромное количество государственных денег, и они эти деньги вывезли за границу.

Кроме того, кому-то не хватает гражданских свобод – это незначительная часть населения, а кому-то не хватает безопасности: все хотели бы спокойно ездить в метро и не бояться ни взрывов, ни милиционеров, и это беспокоит уже заметное число людей. И если при всех этих проблемах самым главным событием в стране считается результат выступления на Олимпиаде в Ванкувере... Выступление действительно было чудовищным, но, если сегодня это главное, то из такого отношения ничего хорошего не получится.

В России причины могут быть самыми разными, но к результатам они приводят очень похожим.

– **Вам хорошо знакома «кухня» целого ряда премий. Как это происходит, как выбирают того, кто достоин?**

– Премии вручают люди, и, как все, что делают люди, небезупречно. Они могут ошибаться, могут случайно или сознательно принимать неправильные решения.

Меня всегда изумляло выражение, очень любимое непрофессиональными авторами как ответ на критику редактора: «Ну, это же вкусовщина!» А в литературе, кроме вкусовщины, ничего нет! Абсолютно объективными бывают только количественные параметры. В литературе же и гигантские тиражи могут ни о чем не свидетельствовать. Случайность, попал вовремя... Вот у моего «Невозвращенца» литературная составляющая успеха была крайне незначительная, он просто вовремя попал.

– **Все зависит от дальнейших событий. Если они подтверждают, «оправдывают» закономерность первого удачного «выстрела», значит, он был не случайным.**

– Согласен. Но жюри премий уже не так привязаны к случайностям, их можно упрекнуть только во «вкусовщине», поскольку состоят они из профессионалов. Отбираются они по-разному, иногда постоянно действующим комитетом, как, например, комитет Букеровской премии, который тоже составляют профессионалы: они выбирают ежегодно в жюри прозаика, критика, драматурга, поэта из тех, кто еще не был. В жюри «Большой книги» – 100 человек – входят вообще практически все заметные писатели, критики, редакторы и еще люди бизнеса. Они ведь дают деньги и имеют право судить, хотя бы как просто читатели...

– **У нас много литературных премий, четыре государственных и не менее 50 различных негосударственных, одни исчезают, другие появляются. Как вам такое количество?**

– Ого! Не думал, что так много. Но вообще 50 премий, причем они же даются за разное – за литературный дебют, прозу разнообразнейшую, поэзию – на несколько тысяч профессиональных писателей в стране – это нормально.

Но кроме большого количества премий, сейчас, на мой взгляд, возникло (или возродилось) одно важное явление: интенсивное внутрилитературное общение. Причем между писателями, которые совсем недавно общаться между собой не могли. Так, например, в рамках проекта «Пушкинская библиотека», занимающегося на альтернативной основе комплектацией провинциальных библиотек, я несколько раз ездил по стране с прекрасным писателем Алексеем Варламовым. От общения с ним я получил колоссальное удовольствие. А еще лет пять назад нас бы ничего с ним не свело, мы формально относимся к совершенно разным литературным направлениям.

– **А самая ценная, дорогая для вас премия?**

– Имени Аполлона Григорьева. Ее присуждало жюри, состоявшее из членов АРС'С (Академия русской современной словесности). Это абсолютно профессиональное, строгое признание. И очень важно для меня то, что сразу две мои книжки в первом сезоне «Большой книги» попали в короткий список – «Московские сказки» и «Все поправимо», это случилось единственный пока раз в истории премии. Роман «Все поправимо» тогда получил премию.

– **Вы были председателем жюри премии «Дебют». Кто из новых авторов произвел на вас впечатление?**

– В «Дебюте» я работал давно, но и сейчас пытаюсь следить за новой литературой. Мне очень нравится Майя Кучерская, область тех чувств, которыми питается ее проза. Мне нравится и совершенно противоположный автор, который должен был бы вызвать у меня отторжение, мировоззренческое неприятие, но он настоящий писатель – это Захар Прилепин. Практически все остальное, что появлялось в последние лет пять, для меня в диапазоне от «никак» до «плохо».

– **А что вы можете сказать о современной еврейской литературе?**

– Я плохо знаю литературу на иврите. Есть прекрасный израильский писатель Амос Оз, явный претендент на Нобелевскую премию. А еврейская литература не на иврите и не на идише – я не очень понимаю, что это значит. Литература определяется не по крови, а по языку, на котором пишет автор. Если человек пишет по-русски, он русский писатель, он может при этом писать об автогонщиках или про евреев.

Среди тех, кто пишет про русских евреев, есть блестящий автор – Асар Эппель, изумительный стилист и первоклассный рассказчик. Но я не могу прекрасного русского стилиста назвать еврейским писателем. Ведь никому же не придет в голову еврея по крови (и, кажется, верующего иудея) Нормана Мейлера назвать еврейским писателем – он американский писатель.

У меня были по этому поводу очень неприятные разговоры в Израиле. Там много людей крайних взглядов, это в основном приехавшие из СССР, и они находятся в состоянии постоянной обороны. Я их понимаю. К Государству Израиль я отношусь с большим уважением, к израильтянам, которые всю жизнь ведут мужественную борьбу за выживание страны, испытываю также огромную симпатию. Сожаление у меня вызывает далеко не безупречная позиция многих европейских стран, да и России, которые мешают Израилю своим уравниванием террористов и защищающихся. Сейчас Израиль просто держат за руки, в то время как нарастает террористическая угроза, и это очень грустно.

– В «Беглеце» в доме вашего героя два пекинеса. Почему именно пекинесы?

– Есть животные, кроме находящихся вне конкуренции кошек, которые доставляют мне удовольствие своим видом, – это таксы и пекинесы. Но кошка плохо вписывается в роман, она требует дополнительных объяснений, а собака, любая, – гораздо лучше.

Любовь к животным мне передалась от моей нынешней жены. У нее была кошка, когда мы сошлись, и дальше все пошло естественным путем. Сейчас у нас шесть кошек и три собаки, было больше, некоторые уже умерли... Они все никакие не породистые, спасенные. С кошками мне комфортнее и интереснее. Собаки попроще. И чтобы общаться с ними, я должен делать над собой некоторое усилие, какое я делаю, когда общаюсь с примитивными людьми... А с кошками нет, с ними и так на равных. Кошка сама все время находится в неких отношениях с тобой и с миром.

Не знаю, откуда такая потребность... У меня довольно рано родилась единственная дочь, нет внуков. Вероятно, естественная потребность заботиться о ком-то маленьком не была реализована. Дочь родилась, я был еще совсем молодым, гулял, а не дочерью занимался. И эта потребность сублимировалась в заботу о животных. Но я и не хочу другого.

ИОСИФ КНЕБЕЛЬ – ПИОНЕР ХУДОЖЕСТВЕННО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА В РОССИИ

Éäíéä Píéäää

Проработав свыше 25 лет с десятком всевозможных издателей, должен признаться, что среди них И.Н. Кнебель был сверкающим исключением: не преследуя только коммерческие интересы и часто прямо вопреки им, он с увлечением отдавался идее, его захватившей, особенно в области популяризации искусства в широких кругах.

Игорь Грабарь [Ш](#)

...Толпа разделилась: одни устремились на второй этаж, другие остались у книжного магазина. И тут, и там быстро были взломаны двери, после чего народ ринулся в торговые и складские помещения. Наиболее ярые принялись за битье витрин и окон, за разгром мебели в книжном магазине и «Школьном музее»; большинство же хватало в охапку первое, что попадало под руку, и выбегали на улицу, чтобы принародно – к удивлению, а то и к радости набежавших зевак – с азартом все уничтожить. «Патриоты» яростно выдирали книжные блоки из красивых добротных переплетов «Истории русского искусства»; безжалостно разрывали наклеенные на паспарту репродукции с картин русских художников; с треском протыкали ножами живописные картины-оригиналы к изданным или только готовившимся к печати учебным пособиям; с силой разбивали стеклянные фотонегативы, многие из которых были сняты с разрушенных во время войны памятников русской архитектуры... Само разнообразие производимых громилами действий порождало невероятную какофонию звуков, возбуждавших толпу, подогревавших ее низменные инстинкты, прикрытые, как фиговым листком, чувством «истинного патриотизма»...



Иосиф Кнебель. 1900-е годы

Так, увы, трагично был подведен итог 35-летней деятельности на благо русской художественной культуры одного из замечательных московских книгоиздателей и книготорговцев – Иосифа Николаевича Кнебеля (1854–1926). «Еврейское счастье» настигло и его: избежав страшных еврейских погромов, он стал жертвой не менее варварского антинемецкого погрома в Москве 28 мая 1915 года.

«Удивительная, трудноописуемая картина предстает перед глазами приезжего, взирающего на распростертый у его ног великолепный царский град с рядами зеленых и красных крыш, бесчисленными церквами и дворцами. <...> Отражающийся от них луч солнца создает не виданное ранее поблескивающее многоцветье, сказочное великолепие которого нельзя увидеть ни в одном городе Европы»[2]. Именно такой воспринял Москву 26-летний Иосиф Кнебель, один из авторов процитированного здесь немецкоязычного «Путеводителя по Москве», после переезда туда из Вены в 1880 году.

Позади осталось детство, прошедшее в небольшом галицийском городке Бучаче, насчитывавшем в то время около 7 тыс. жителей, по большей части евреев: не случайно купцы Бучача славились своим богатством, широкими связями и энергией. В патриархальной еврейской семье одного из таких купцов 21 сентября 1854 года и родился будущий книгоиздатель.

Сведения о семье Кнебеля крайне скудны: известно лишь, что его прадед, Йозеф Кнебель, числился в списке домовладельцев Бучача уже в конце XVIII века, а отец Иосифа – Николай Кнебель – был купцом 2-й гильдии. Известно также, что у него был властолюбивый и вспыльчивый характер, от которого часто страдали его жена и трое детей. В конце концов, это привело к тому, что 13-летний Иосиф, незадолго до того отпраздновавший бар мицву, решил покинуть родной дом и уехать в Вену.

Тяжелыми оказались юношеские годы будущего издателя: много сил отнимали и ежедневные заботы о пропитании, и упорные занятия гимназическими науками[3]. Сдав экстерном экзамены, Кнебель еще семь лет учился: сначала – на гуманитарном факультете Венского университета, а затем – в Академии коммерческих наук. В 1880 году, после плодотворной практики в лучших европейских книжных магазинах, он переехал в Москву, где намеревался создать собственное книготорговое, а впоследствии и издательское дело.



Петровские линии. Конец XIX – начало XX века

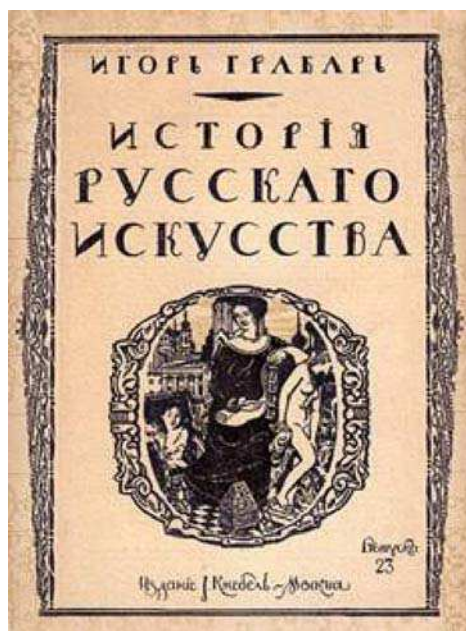
Уже через два года Кнебель вместе со своим новым московским другом, обрусевшим немцем Павлом Францевичем Гроссманом (соавтором упомянутого «Путеводителя»), основал книготорговую фирму «Гроссман и Кнебель», состоявшую из книжного магазина и «библиотеки для чтения», разместившихся в нескольких помещениях дома № 13 в Петровских линиях (ныне – дом № 1/20). Вот как описана эта улица в романе Бориса Пастернака «Доктор Живаго»: «Петровские линии производили впечатление петербургского уголка в Москве. Соответствие зданий по обеим сторонам проезда, лепные парадные в хорошем вкусе, книжная лавка, читальня, картографическое заведение, очень приличный табачный магазин, очень приличный ресторан, перед рестораном – газовые фонари в круглых матовых колпаках на массивных кронштейнах. <...> Здесь жили серьезные, уважающие себя и хорошо зарабатывающие люди свободных профессий».

Вскоре новая фирма зарекомендовала себя как одно из наиболее солидных предприятий страны по продаже отечественных и зарубежных художественных изданий и журналов по искусству, а позже – и как одно из лучших издательств, выпускающих оригинальные альбомы и книги по русскому изобразительному искусству, детские книги и наглядные пособия. К сожалению, Гроссман так и не дожил до начала издательской деятельности фирмы: в 1890 году он умер от скоротечной чахотки, оставив своего друга осуществлять их общие мечты и планы.

К главным достижениям Иосифа Кнебеля – основателя первого в России специализированного издательства по изобразительному искусству – относится в первую очередь многотомная «История русского искусства», по общему признанию, один из самых серьезных искусствоведческих трудов дореволюционной России. Игорь Грабарь, редактор и основной автор «Истории», вспоминал в своей «Автобиографии», как долго и настойчиво убеждал его Кнебель взяться за этот грандиозный труд: «...идея издания “Истории” настолько захватила его, что понемногу и я освоился с нею и в конце концов перестал возражать»^[4]. Отодвинув на второй план свои многолетние и достаточно успешные занятия живописью, Грабарь в течение шести лет – с 1910 по 1916 год – подготовил к печати пять больших томов, и поныне весьма ценимых любителями

искусства. В подготовку «Истории» Кнебель вложил весь свой богатый издательский опыт, вкус, неукротимую энергию и, конечно, немалые средства. Современники высоко оценили труд издателя, что отразилось во многих рецензиях. Наиболее содержательные из них принадлежали петербургскому искусствоведу В.Я. Курбатову. Эту работу, по его мнению, «...смело можно назвать подвигом»[5]. Высоко оценил фундаментальный труд и А.Н. Бенуа, справедливо назвав его «настоящим памятником нашей художественной науки», одним изданием которого «Кнебель заслужил глубокую признательность русского общества»[6].

Широкую известность приобрела и серия иллюстрированных монографий «Русские художники», в которую вошли книги, посвященные Михаилу Врубелю, Исааку Левитану, Валентину Серову и другим крупным российским живописцам. До сих пор остаются непревзойденными по степени близости к оригиналам альбомы гелиографур с лучших картин Третьяковской галереи, Русского музея и Румянцевской галереи. Все они по заказу Кнебеля были превосходно отпечатаны в прославленных графических мастерских Вены. Интересно отметить, что по сей день эти репродукции, отпечатанные в один цвет, охотно используются популяризаторами изобразительного искусства при организации передвижных выставок.



Обложка одного из выпусков «Истории русского искусства». 1910–1916 годы. Оформление Е. Лансере

Большим событием в художественной жизни России начала XX века стали также и кнебелевские детские книжки, проникнутые заботой о приобщении детей к миру большого искусства. Их иллюстраторами были, как правило, крупные мастера графики, такие, как Георгий Нарбут, Дмитрий Митрохин, Елена Поленова, Николай Ульянов и ряд других, близких к кругу «Мира искусства» или к «Союзу русских художников». С их помощью Кнебелю удалось создать свою знаменитую «Подарочную серию» детских книг, ставшую не только любимым чтением для детей, но и предметом коллекционирования для взрослых. «Мне много раз доводилось встречать эти книги у друзей и знакомых, были они и у меня, – вспоминал замечательный российский художник Ю. Пименов. – И каждый раз я с радостью открывал эти, почти не пожелтевшие, плотные листы с прекрасными цветными иллюстрациями, отпечатанными, как правило, в лучших типографиях России»[7].

Тут уместно заметить, что ряд своих детских книг Кнебель, видимо, по заказу книготорговцев издал в переводе на польский язык. Однако для меня полной неожиданностью стало недавнее знакомство с несколькими детскими книгами Кнебеля, переведенными на иврит и изданными в 1920-х годах в Германии. Это были книги с рисунками Георгия Нарбута и Дмитрия Митрохина. Причем некоторые из особо удачных иллюстраций этих художников перекочевали затем на страницы ряда ивритских учебников и учебных пособий, вышедших уже в Израиле!

Школьные наглядные пособия, изданные И. Кнебелем, вновь показали неизменность его эстетической программы: он как бы продолжал шефство над детьми, только что расставшимися с его книжками-картинками и взявшими в руки учебники. Бесспорно, самым замечательным и известным кнебелевским школьным пособием явились «Картины по русской истории» (1908–1913), включавшие свыше 50 исторических композиций, созданных выдающимися художниками того времени: А. и В. Васнецовыми, С. Ивановым, Д. Кардовским, Б. Кустодиевым, Е. Лансере и др. Мало кому известно, что среди заказанных Иосифом Кнебелем исторических картин были и такие шедевры, как «Петр Великий» В. Серова, «Вахтпарад при Павле I» А. Бенуа и «Город в николаевское время» М. Добужинского. Не случайно эти картины были приобретены Третьяковской галереей и Русским музеем. «Такого подлинного Петра мы до того не видали, – вспоминал серовскую композицию Грабарь. – Школьная картина силою счастливого вдохновения развернулась почти во фреску»[\[8\]](#).

Перед первой мировой войной известность Кнебеля как одного из крупнейших и серьезнейших издателей, а также как владельца культурного, европейского уровня книжного магазина стала поистине всероссийской. Не менее высоко ценили Иосифа Николаевича за высокий профессионализм и безупречные деловые качества в зарубежных книжных кругах. Этому способствовал и успех кнебелевских изданий на Международной выставке печатного дела и графики в Лейпциге в мае 1914 года. Достаточно сказать, что из 214 художественных изданий, представленных 54 российскими издательствами в разделе «Современная иллюстрированная книга», 31 было выпущено Кнебелем.

Все это привлекало к сотрудничеству с московским книгоиздателем наиболее видных искусствоведов, литературоведов, ученых-естествоиспытателей, педагогов и художников. В разные годы это были: А. Бенуа, В. Васнецов, И. Грабарь, М. Добужинский, П. Ефремов, И. Забелин, И. Остроухов, Н. Рерих, В. Серов, К. Тимирязев и др. Однако многим задуманным изданиям не суждено было осуществиться: как уже упоминалось, 28 мая 1915 года, в разгар войны, московские «патриоты» устроили грандиозный антинемецкий погром. Среди других фирм с нерусскими названиями были варварски разгромлены принадлежавшие фирме «Гроссман и Кнебель» книжный магазин и «Школьный музей» со складами наглядных пособий и клише. В результате было уничтожено много рукописей, подготовленных к печати (в том числе и материалы к нескольким очередным томам «Истории русского искусства»), более 10 тыс. фотонегативов и клише с ценнейших фотографий, сотни оригиналов иллюстраций к детским книгам, готовые тиражи репродукций и огромное количество уже отпечатанных книг, альбомов и наглядных пособий. Очевидцам навсегда врезалась в память узкая улочка Петровских линий, заваленная на метр высотой всем тем, что в течение многих лет составляло смысл жизни Иосифа Николаевича Кнебеля.

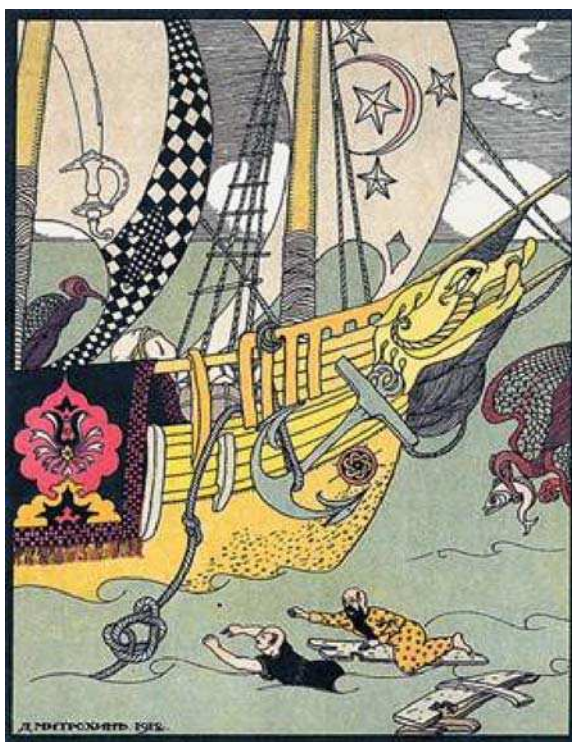


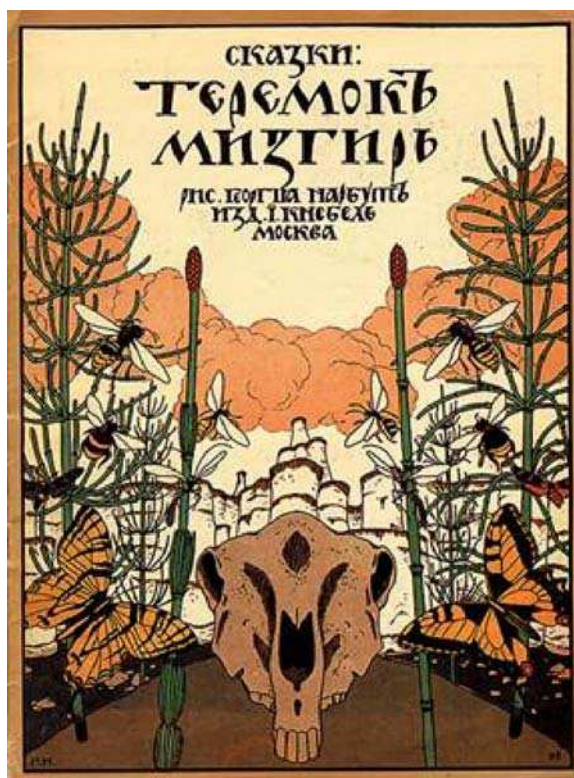
Иллюстрация Д. Митрохина к сказке В. Гауфа «Корабль-призрак». Москва, 1913 год

Помимо непоправимого морального ущерба, издатель претерпел значительные материальные убытки, оцененные в полмиллиона рублей, что нанесло сильнейший удар по фирме и поставило вопрос о ее дальнейшем существовании. Как писал позже сам Кнебель, он не прекращал дела только «под влиянием уговоров и убеждений со стороны ряда правительственных, общественных и частных образовательных и художественных учреждений», а также «моей твердой веры в ту пользу, которую я приношу России своей честной деятельностью»^[9]. Два года спустя правительство все же нашло возможность возместить Кнебелю часть суммы, в которую был оценен нанесенный ему ущерб, однако до конца оправиться от трагических майских событий он так и не смог.

После Октябрьского переворота 1917 года Кнебель, в числе многих других специалистов, откликнулся на предложение о сотрудничестве с советской властью. Иосиф Николаевич был вызван в Совнарком к Ленину и после разговора с ним согласился возглавить комиссию по национализации собственного книжного имущества. (Кстати, подробности встречи Кнебеля с Лениным, пересказанные Марией Кнебель – младшей дочерью издателя драматургу Н.Ф. Погодину, были использованы им в пьесе «Кремлевские куранты», в сцене разговора Ленина с инженером Забелиным.)

Последующие годы вновь были наполнены для Кнебеля неустанным трудом: то он работал консультантом государственных издательств; то, после введения нэпа, – контрагентом Госиздата по выпуску детских книг; то стал инициатором и одним из руководителей «Акционерного общества наглядных пособий»... В конце жизни Кнебелю все же удалось вернуться к любимому делу: выпуску книг по изобразительному искусству. Весной 1925 года по его инициативе было организовано издательство при Третьяковской галерее, а вскоре увидели свет два каталога выставок галереи: «У истоков русского искусства» и «К.Ф. Юон. К 25-летию художественной деятельности». Оба они отличались той самой культурой издательского дела, т. е. высоким уровнем подготовки текста, изящным оформлением и превосходной печатью, что сразу выдавала причастность к их выпуску такого первоклассного профессионала-издателя, каким был и оставался

Кнебель. Эти книги стали последними, вышедшими при его участии: внезапный сердечный приступ оборвал жизнь Иосифа Николаевича 14 августа 1926 года.



Обложка Г. Нарбута к книге «Сказки: Теремок. Мизгирь». Москва, 1910 год

* * *

С той поры прошло около ста лет. Однако не канули в Лету ни сам Кнебель, ни выпущенные им 700 изданий, большинство из которых до сих пор сохраняют свою научную и художественно-эстетическую ценность, являясь предметом собирательства для многих библиофилов. После многолетнего замалчивания имени Кнебеля («частник», да еще еврей!) о нем впервые написала в своих известных театральных мемуарах «Вся жизнь» (М., 1967) его дочь – замечательный театральный режиссер и педагог, народная артистка РСФСР, доктор искусствоведения Мария Кнебель. Именно на эту книгу в 1971 году указал мне – тогда студенту 2-го курса книговедческого отделения Московского полиграфического института – преподаватель истории книжной торговли Александр Алексеевич Говоров (1925–2003). Ему – историку, писателю, принципиально беспартийному человеку, прошедшему сталинские лагеря, но не потерявшему веру в себя и в людей, – обязан я встречей с Иосифом Николаевичем Кнебелем. (Да, как это ни покажется странным, за 25 лет исследования его жизни и деятельности, во время которых было обследовано свыше 20 архивов, просмотрены сотни книг и статей, проведены десятки встреч с современниками издателя, я настолько сроднился с ним, что воспринимаю его как своего давнего знакомого...)

Спустя три года, уже завершив работу над дипломным проектом, посвященным деятельности Кнебеля, я организовал в центре Москвы, в Доме детской книги, первую выставку его изданий, нашедшую широкий отклик в столичных художественных кругах. Побывавший на вернисаже известный литературовед Ираклий Андронников записал в Книге отзывов: «Многие издания я помню с детства, по ним я учился рассматривать картины великих художников, а когда подрос, мог цитировать тексты монографий о

Врубеле, Левитане, Серове. <...> Многие знаю, потому что работал библиотекарем в Ленинграде, в Публичной библиотеке. Но все вместе?!.. Все вместе они производят громадное впечатление! Ум, образованность! Вкус! Темперамент! Размах! Творчество! Высоко поднимается огромная фигура издателя, редактора, инициатора и пропагандиста русского искусства и русской книги!»[\[10\]](#)

В 1979 году, в связи со 125-летием со дня рождения Кнебеля, мне посчастливилось добиться разрешения властей на установление издателю мемориальной доски. До последней минуты обе дочери Иосифа Николаевича – Мария и Елена – не верили, что открытие доски состоится. Однако это произошло, причем в том самом месте, где в 1915 году русские «патриоты» громили книжный магазин и издательство их отца... (Многие годы в этом помещении находилась районная библиотека им. А.И. Герцена, а ныне – Дом культуры «На Петровских линиях».)



**А. Бенуа. В немецкой слободе. 1912 год.
Иллюстрация из издания И. Кнебеля
«Картины по русской истории»**

Не менее приятным сюрпризом для родных, друзей и почитателей Кнебеля было создание в Историко-краеведческом музее г. Бучача небольшой, специально посвященной ему экспозиции (кстати, она опередила на несколько лет другой мемориальный уголок, посвященный нобелевскому лауреату, израильскому писателю Шмуэлю-Йосефу Агнону, земляку Кнебеля). Наконец, за последние годы в России и за рубежом было опубликовано свыше двух десятков статей об И.Н. Кнебеле, защищена диссертация о его издательской и книготорговой деятельности (1982), а также подготовлена и выпущена монография[\[11\]](#), положившая начало иерусалимскому издательству «Филобиблон».

И все же главным остается другое: издания Кнебеля вновь возвращаются к читателям, обретая вторую жизнь благодаря их факсимильному воспроизведению. Так, в 1989 году в московском издательстве «Книга» вновь увидели свет 12 его лучших детских книжек, а в другом крупном российском издательстве – «Изобразительное искусство» – вышел комплект открыток, включивший 32 композиции из «Картин по русской истории». Примечательно, что 100-тысячный тираж этого издания разошелся чуть ли не в две недели! Видимо, успех переиздания «Картин» вдохновил популярный московский журнал «Юный художник» на другую издательскую акцию: в середине 1990-х годов, в течение нескольких лет, редакция выпускала ежемесячные приложения, включавшие репродукцию одной из исторических картин Кнебеля и пояснительный текст к ней, взятый из того же издания. И что интересно: своим нынешним качеством печати эти

издания еще раз доказали, что установленный Кнебелем высочайший уровень книгопечатного искусства до сих пор остается в России непревзойденным. Не случайно Александр Бенуа писал об издателе: «Во всяком большом деле – главная сила в личных человеческих качествах, сообщающих предприятию и жизненность, и яркость, и значительность, и этими личными качествами в избытке обладает Кнебель»^[12].

^[1] ЦГА РСФСР. Ф. 539. Оп. 3. Ед. 4763. Л. 17.

^[2] См.: Grossman P., Knoebel I. Fuhrer Durch Moskau. M., 1882.

^[3] См.: Кнебель М.О. Вся жизнь. М., 1967. С. 15.

^[4] Грабарь И.Э. Моя жизнь: Автобиография. М.–Л., 1937. С. 218.

^[5] Зодчий. 1912. № 25. С. 267.

^[6] ГРМ. Ф. 137. Ед. 409. Л. 4.

^[7] Пименов Ю.И. Москва стала его домом // Детская литература. 1974. № 9. С. 77.

^[8] Грабарь И. Валентин Александрович Серов: Жизнь и творчество. М., [1913]. С. 247.

^[9] ЦГИА. Ф. 23. Оп. 28. Ед. 633. Л. 1.

^[10] Цит. по «Книге отзывов» выставки // Архив Л. Юниверга.

^[11] Юниверг Л. Издательский мир Иосифа Кнебеля. Иерусалим, 1997.

^[12] ГРМ. Ф. 137. Ед. 409. Л. 3.

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БЫЛ «САМ ПО СЕБЕ»

О ЮЛИИ МАРГОЛИНЕ

Аֵלֵּיִם עַד הַיּוֹם

Сколько я знал Юлия, он всегда был, так сказать, подчеркнутым евреем (хоть и не был религиозным). Но, став убежденным сионистом, он все-таки никогда не мог духовно оторваться от русской культуры. Да и не хотел. Он любил ее. Любил русскую интеллигенцию, русскую мысль, русский характер, русскую литературу, философию, поэзию, музыку. Русскую литературу он знал изумительно. Одна духовная половина его души всегда оставалась русской. Да и прожил он всю жизнь как типичный русский интеллигент старого закала и «великих традиций» – с полным пренебрежением к материальной стороне жизни и с упором на «идейность», на все доброе в человеке и справедливое для человека.

Роман Гуль

Публициста и политического писателя, поэта и философа, видного еврейского общественного деятеля и узника советского ГУЛАГа Юлия (Йеуду) Борисовича Марголина (1900–1971) без колебаний можно причислить к тем, кому весьма подходит загадочное определение «знакомое незнакомца»: с одной стороны, его имя вроде бы не нуждается в детальном представлении, но с другой – мало что говорит широкой аудитории.



Юлий Марголин

Родившийся в Пинске, на географической и культурной окраине Российской империи, Марголин, как и многие его современники, со временем переселился со всем своим еврейским и европейским багажом в русскую культуру. Как замечательно метко писала уже после марголинской смерти израильский – в те времена – журналист и литературный критик Наталья Рубинштейн, *азбуке он выучился по Гоголю, а любви к поэзии – по Блоку и Пастернаку. <...> он не только Мандельштама, он и Тувима читал в подлиннике, и Рильке, и Верлена. Русскую культуру любил не по скудости образования, связавшего его одноязычием: он был европеец высокой пробы, для которого любая национальная культура была лишь частью культуры универсальной. И еврей он был не со вчера, не вычислил, не надумал себе «еврейское самосознание», а был знаток литературы на идиш, ценитель новой поэзии на иврите, участник горячих сионистских дискуссий*^[1].

После окончания Екатеринославского реального училища Марголин учился в Берлинском университете, где слушал лекции по философии, посещал семинар Ю. Айхенвальда по русской литературе. Это было время, когда после прихода к власти большевиков часть России устремилась на Запад и многочисленные русские эмигранты осели в Берлине. Марголин, в каком-то смысле также эмигрант, был тесно связан с ними, в особенности с членами творческой группы, носившей причудливое название «4+1» (четыре поэта+прозаик)^[2]: Вадимом Андреевым (сыном крупнейшего русского писателя Л.Н. Андреева), Брониславом (Владимиром) Сосинским (он и был тот самый единственный прозаик), Георгием Венусом, Семеном Либерманом и Анной Присмановой^[3]. Судьбы этих молодых литераторов сложились в дальнейшем по-разному: Андреев, Сосинский и Присманова переселились в Париж, Венус, а затем

Либерман вернулись на родину (первый был репрессирован[4], второй, уйдя в переводческую и педагогическую работу, прожил до 1975 года[5]).

Там же, в Берлине, Марголин познакомился и подружился с Романом Гулем, редактором литературного приложения к сменовеховской газете «Накануне», который, по собственным словам, привлек его к сотрудничеству в ней[6]. Вспоминая в некрологической статье о Марголине годы, проведенные вместе в Берлине, Р. Гуль писал:

Тогда (и на всю жизнь!) характерно в Юлии было то, что он был человеком совершенно без всяких масок: никакой игры расчета в нем не было (не говоря уж о какой-нибудь хитрости, что в приложении к нему было бы просто смешно). В Юлии жила полная душевная открытость, подкупающая веселость и некая незащищенная детскость. И ни малейшего желания петь с кем-то «в унисон». Уже тогда он всегда был «сам по себе» [7].

Защитив в Берлинском университете диссертацию по философии, в 1926 году Марголин вместе с молодой женой, Евой Ефимовной Спектор (Вусей, как ласково называл ее он сам и близкие друзья), перебрался в Лодзь. В октябре того же года у них родился сын Эфраим. Спустя десятилетие, когда в Европе «запахло серой» и стало понятно, что запах этот не предвещает ничего хорошего, в особенности евреям, семья Марголиных репатриировалась в Палестину. Однако в апреле 1939 года сохранивший польский паспорт Марголин вновь оказался в Польше. Через полгода его и настигли здесь катастрофические события: с запада надвигалась фашистская армада, а с востока – советские войска. В июне 1940 года он был арестован как беженец из Западной Польши, приговорен к пяти годам заключения, отправлен в зону «лагерей ББК» (Беломорско-Балтийского канала) и лишь по окончании второй мировой войны, в конце 1946 года, был отпущен как польский гражданин, а из Польши вернулся в Израиль.

Исчезновение Марголина в сталинском ГУЛАГе создало среди его друзей и знакомых прочное мнение о его изъятии из мира живых. И какова же была радость, когда после освобождения из заключения Марголин подал о себе весть. И сделал это не тайно, не приглушенно, не в частной беседе, а публично, в обычной своей мятежной манере, напечатав в еврейской прессе – в нью-йоркской «Форвертс» – письмо о советском «правопорядке». В переводе на русский язык это письмо было затем перепечатано издававшимся в США еженедельником «Социалистический вестник» (1946. № 12 [592]. 27 декабря).

Высылая автору оттиск, главный редактор «Социалистического вестника» Р. Абрамович писал ему 22 января 1947 года:

Многоуважаемый д-р Марголин,

из прилагаемого номера Социалистического Вестника Вы увидите, что, с разрешения г. Спектора, мы перепечатали В<аше> письмо из евр<ейской> «Форвертс». Без комплиментов должен сказать, что В<аше> письмо, по общему признанию, произвело огромное впечатление и несомненно оказало большую пользу делу разоблачения сущности советской системы. К сожалению, пока еще не удалось провести его через английскую прессу, может быть, потому, что по неопытности инициаторов с самого начала совершили несколько технических промахов [8].

В статье-письме Марголина речь шла о деле Йосефа Бергера-Барзилая (наст. имя и фамилия: Ицхак Желазник; 1904–1978), палестинского коммуниста, которого московские единоверцы заставили страдать за идею в холодной Сибири. В 1931 году он был послан Коминтерном в Берлин в качестве секретаря Антиимпериалистической лиги (председатели А. Эйнштейн и А. Барбюс). Через год отозван в Москву, где возглавил отдел Коминтерна по Ближнему Востоку. В 1934 году за «троцкистскую агитацию» смещен с этой должности, исключен из партии, арестован и приговорен к пяти годам заключения в лагере. В 1936-м за отказ дать показания против Зиновьева был осужден на смертную казнь, которую заменили восемью годами тюрьмы. Проведя в общей сложности 15 лет в советских тюрьмах и лагерях, в 1951 году Барзилай был приговорен к пожизненной ссылке в Сибири. В 1956-м – реабилитирован. В 1957-м он покинул Советский Союз и уехал в Польшу, а оттуда вернулся в Израиль^[9].

Вырвавшийся на свободу Марголин рассказал о Бергере-Барзилае, чтобы пробудить голос демократического мира не только в его поддержку, но и в поддержку всех жертв сталинского террора. Для спасения коммуниста Бергера и иже с ним Марголин обращался ко всем, включая сионистов. Его письмо завершилось так:

Дело не в Бергере и его товарищах. Подумаем: дело в нас самих.

Горе такому обществу, которое теряет способность живо и сильно реагировать на вопиющую Несправедливость и бороться со злом. Такое общество – моральный труп, а где показываются первые признаки морального разложения, там и политический упадок не заставит себя долго ждать.

«Помочь Бергеру» значит: «помочь самим себе».

Чего вы, сионисты, боитесь? Или вы думаете, что у вас есть более важные дела, чем судьба ваших товарищей и достоинство вашего сионизма?

Открытым и смелым выступлением вы не повредите своим товарищам, напротив. Ухудшить их положение уже ничем нельзя. Но если советская власть будет знать, что на судьбу этих людей обращено внимание всего мира, – она примет меры хотя бы к тому, чтобы они содержались в более приличных условиях.

Тем, что вы отвернетесь от них, вы как бы скажете их тюремщикам: «Можете с ними делать, что хотите. С нашей стороны вам беспокойства не будет».

Ведь речь идет о мировом скандале, и это надо сказать во всеулышание. Здесь не может быть места для неясностей и полутеней. Перемена к лучшему никогда не наступит как награда на наше «примерное поведение». Эти люди убивают наших братьев. А мы молчим.

Допустим, что во время общей борьбы с Гитлером было невозможно возбудить этот вопрос. Но теперь война кончена.

Больше откладывать нельзя! ^[10]

Именно этой статьей было положено начало «возвращению» Марголина в тот мир, в котором он жил до ареста, а точнее сказать – его превращению в одного из самых принципиальных и последовательных разоблачителей советской системы.

О пережитом в советском лагере Марголин поведал миру в книге «Путешествие в страну Зе-Ка», выпущенной в свет в 1952 году наиболее солидным по тем временам эмигрантским издательством – Издательством им. Чехова (Нью-Йорк). Увы, более трети материала в книгу не вошло; в письме М.В. Вишняку, которое публикуется ниже, Марголин говорит об этом издании как об «урезанной, кургузой версии»[\[11\]](#). Почти сразу «Путешествие» было переведено на французский язык.

Написанная в ряду самых ранних свидетельств о советской тюремной деспотии, тотального бесправия человеческой личности, книга Марголина несла в себе мощный заряд отрезвления для тех, кто строил хоть какие-то иллюзии в отношении СССР, связывая коммунистический порядок с победой во второй мировой войне. Борьба с этими иллюзиями как своего рода продолжением политического зла, приобретающего в сознании западных интеллектуалов если не оправдательные, то по крайней мере смягчающие интонации, Марголин будет и в дальнейшем, не останавливаясь ни перед гипнотизирующей магией авторитетных имен, ни перед напором противоборствующей полемической демагогии, ни перед общественным равнодушием. Разоблачение сатанинского варварства, пещерного антигуманизма, лжи и цинизма, возведенных в принцип советской государственной политики и достигших самых изощренных форм, станет для него без преувеличения и стилистических прикрас делом всей жизни.

«Путешествие» было воспринято не как лагерное бытописание, а именно в качестве философско-политического текста, в котором большевизм и сталинизм осмысливались в категориях мирового зла. Не случайно известная эмигрантская писательница и политический публицист В.А. Пирожкова, высоко Марголина ценившая, состоявшая с ним в переписке и переведшая эту книгу на немецкий язык[\[12\]](#), ссылаясь на него как на одного из крупнейших авторитетов в мире современной политической философии[\[13\]](#).

* * *

Резкий полемист и неуступчивый ниспровергатель удобных, но ложных трюизмов, претендующих на оригинальность, или заблуждений, замаскированных под истину, Марголин обладал «трудным характером» для окружающих, в особенности для любителей «закруглять углы». Одним из проявлений нонконформистской цельности этого человека, служащим одновременно объяснением, почему его известность уступала европейским коллегам-интеллектуалам типа, скажем, Ж.-П. Сартра или А. Кестлера, а сам он в конце концов оказался вне их круга, стала конфронтация с идеями лево-либерального толка. Человек с жизненным опытом Марголина, прошедший «университеты ГУЛАГа», органически не мог разделять социалистических иллюзий западных либералов, для которых утопический идейный блеск философских абстракций «равенства» и «свободы» нередко служил категорическим императивом к антибуржуазной пропаганде, исключая промежуточные варианты. Погруженность Марголина в философские абстракции, напротив, была минимальной, и сам он как политический мыслитель и писатель привык трезво соотносить теоретические догматы с реальными жизненными обстоятельствами. В этом состояло его неоспоримое преимущество перед теми, кто готов был отстаивать европейские ценности с лево-радикальных позиций, но в этом одновременно проявлялась оппозиционность духу либерализма, господствующему не только в послевоенной Европе в качестве реакции на пережитый и побежденный фашизм, но и в Израиле, официальная политика которого отражала приверженность социалистической перспективе.

Говоря о Марголине, нельзя не отметить, что критикуемые им авторитеты, законодатели европейской «идейной моды», нередко вызывали его ревностное отношение, проявлявшееся по разным поводам. Так, в своих полемических статьях он зачастую обращался к А. Кестлеру, испытывая к тому, судя по всему, честолюбивое чувство конкуренции, – спорил, не соглашался, как, скажем, по поводу высказанной тем мысли о том, что война между коммунизмом и западной демократией завершится сама по себе, как якобы разрешился конфликт между христианством и мусульманством, не разрешенный ни Крестовыми походами, ни «джихадом» («итог мирового спора – ничья»)[14].

С тем же самым «разногласием» связана марголинская репутация в официальном Израиле как человека крайне неудобного – «экстремиста» и «инсургента», несогласного с государственными решениями не только по частностям, но порой и в корне. Нет поэтому ничего удивительного в том, что люди, в Израиле не жившие, но зато хорошо знавшие Марголина, ощущали то напряжение, которое существовало между ним и государственными структурами, о чем, например, писал посетивший эту страну весной 1963 года Р. Гуль:

В то время – 1963-й год – большинство израильской интеллигенции и правительственной элиты было настроено по отношению к Совсоюзу, увы, весьма «мягко» и «симпатично». Всем этим людям хотелось дружбы с Советами во что бы то ни стало. Почему? Думаю, что не последнюю роль тут играл так называемый «ореол революционной страны», все еще веявший и реявший над реакционнейшим Совсоюзом. И благодаря этой психологии «верхнего слоя» израильской интеллигенции, благодаря этому «климату» побывавший в концлагерях Юлий, занявший совершенно непримиримую в отношении Совсоюза позицию, оказывался «более-менее» не у дел. А на компромисс с политической совестью Юлий пойти и не мог и не умел, если б даже захотел [15].

Путешествие в страну ЗЭКА

Часть I	
3. Мое предисловие	1
1. Сентябрь 1939	4
2. В кольцо	15
3. История одного разговора	23
4. Пикное интервью	40
5. Улыз-пророк	62
6. Пикное тюрьма	66
7. Жогущий гроб	83
Часть II	
8 «БЕБЕКА»	91
9 «Серый восьми квадрат»	101
10 Рабцунсилья	108
11 Разговоры	124
12 Бригада Карасина	133
13 Расчеловечение	142
14 Лесоповал	158
15 Санчасть	169
16 Враг мой Лабанов	178
17 Бригада Гарденберга	188
18 Велер в барак	198
19 Люди на 48-ом	208
20 Весна 1941 года	219

Оглавление «Путешествия в страну Зе-Ка» из рукописи Ю. Марголина

Колочие-непримиримого и неуступчивого Марголина Р. Гуль сравнивал с Осипом Мандельштамом: ощущение разительного сходства вызывало присущее тому и другому нежелание идти на поводу у вымученных социальных проектов и предпочтение отчаянной фронды и политического бузотерства разумным компромиссам: «...у Юлия в какой-то степени было в характере нечто мандельштамовское: ни с какими фарисеями он за стол садиться не хотел». Сопротивление удобным и спасительным догмам, а попытка прожить вопреки им, «себя губя, себе противореча», отличало поведение обоих.

Он, конечно, знал, – развивал Гуль аналогию неконформизма обоих, – что этого стихо о Сталине – «Тараканы смеются усица / И сияют его голеница... Что ни казнь для него, то – малина / И широкая грудь осетина» – писать НЕЛЬЗЯ, что это – СМЕРТЬ, и, наверное, очень страшная смерть, – и все-таки он эти стихи написал. И не только написал, но еще читал приятелям, среди которых (он и это прекрасно знал) были, конечно же, стукачи. И как только стихо дошло до Сталина, он вовсе не расстрелял Мандельштама, он замучил его голодом, нищетой, тюрьмами, допросами и под самый конец концлагерем [16](#).

В этом сопоставлении Гуль, как кажется, нащупал крайне значимую для характера и социального поведения Марголина точку. Младший современник Мандельштама, человек несходной с ним биографии, но в чем-то идентичной судьбы,

Марголин, судя по всему, испытывал острую духовную близость к замученному собрату: недаром авторское название его очерка, напечатанного в нью-йоркском альманахе «Воздушные пути» (1961. Кн. II), было «Брат мой Мандельштам». «Братство» это носило, безусловно, метафизический характер: оно было замешано на единой – еврейской – крови обоих и проистекало из их общей – лагерной – доли: искореженной, изувеченной судьбы и испытанного обоими «в советской преисподней» (марголинское выражение) насилия над личностью. «Я, Юлий, многим обязан брату Осипу, и только случайно не встретились мы в одной советской тюрьме, в одном лагере», – пишет он в этом очерке, хорошо сознавая, что встречи произойти не могло: к моменту его ареста Мандельштама уже не было в живых. Однако замечательно это марголинское стремление установить, вопреки фактам, степень своего «родства» с затравленным поэтом и отыскать хоть какие-нибудь, пусть самые отдаленные, биографические конвенции с ним.

Только раз я был близок поэту – географически, – рассказывает он. – Было это в году 1918-м – или, м<ожет> б<ыть>, 20-м, когда

χού ἀγῶνι ἐὰ ἐὰσί ἐ, ἰὸ δαῖνι μῆ αὐὸ ἐέ

ἰ ῥὸ ἀεὶ ὠῶ

Ἰ ἰ ὀάαε ἀέ ἐ Ἰ ἀδὲ ἀῖι, ἰ ἀ χῶδῖ ἰ ἰ ὀά

и проездом побывал в Харькове. Там местные поэты и почитатели ходили за ним толпой, отдавая должный почет. Он посетил тогда на Сумской дом Евы Ефимовны Спектор, моей будущей жены, и произвел неизгладимое впечатление на ее десятилетнего братишку: худенький, потешного вида, поэт декламировал свои стихи так странно-патетически, петушком закинув головку и пискливо, что Изя прыснул со смеху[17].

* * *

Из сказанного о Марголине выше может возникнуть ложное представление о нем как об антикоммунисте-фанатике, главной доминантой в характере которого была суровая мужественность, максимализм и несговорчивость бунтаря со свирепым взглядом. Между тем был Марголин человеком мягким и интеллигентным, склонным к веселой шутке и обладавшим глубоким чувством красоты. Любил поэзию и сам был поэтом. Его лагерные стихи составили сборник «Из северной страны», вышедший двумя посмертными изданиями (1974, 1998)[18]. Прекрасно знал литературу и наверняка, сложись жизнь иначе, вырос бы в крупного и своеобразного литературного критика. В его архиве сохранился текст сочиненной им шуточной песенки «Утромбунт» – облеченный в стихотворную форму протест нежелающих покидать по утрам теплую постель:

УТРОМБУНТ

(поется в постели утром, лежа на спине и дрыгая ногами)

Ἰ ἰ ἀεὶ ἀρ ἰ ἰ ἰ ἰ ὠ ῥῖ,

Ἰ ἰ ἀεὶ ἀρ δαῖ αἰ ἰ ἰ ὠ ῥῖ,

Ἰ ἰ ἀεὶ ἀρ ἰ ὠ ὀ ῦ ἰ ἰ ὠ ὀ ῦ-

Ἐ ἰ ἰ ἰ ὀ ἰ ἰ ἰ ἰ ὀ ἰ ἰ,

*xò íáú íáēī ē íá íáēī,
Í íáúī àòü ē áīōīēòü
Óáōáēòü ē á áíé áāīāēòü
Óòōīī áóíò ý íá:ēíàþ,
Óòōīī áóíò ý íáúýáēýþ,
Óòōīī áóíò!
Óòōīī áóíò!
Í á:ēíàþ ñāé ī ēíó(í)ò.*

*Í á æāēàþ í áāēáàòüŷ,
Í á æāēàþ ðāçāēáàòüŷ,
Í á æāēàþ í á æāēàòü
Í á ēāæàòü ē í á āñò àāàòü!*

*Í á æāēàþ!
Í á æāēàþ!
Óòōīī áóíò ý íá:ēíàþ -
Óòōīī áóíò!
Óòōīī áóíò!
Óòóáú òòóáýò óòōīī áóíò.*

*Óòóáú òòóáýò óòōīī áóíò!
Óáēēīē òðááúò ñāīé óóíò!
Í í í á āāī ñŷ
È í á ñāāī ñŷ
Í á òī:óñò íýòü āī óðóíò!*

Áσίγ̃ á ñò ðáσá: ÷ ò î ñéó: è è î ñî?

Ñ é àî áî é í á? È ÷ ò î î ðè ñî è è î ñî?

- Î áúγ̃ á è γ̃ ð ó ð î ñ á σ í ò!

Ó á ç æ à ð

Á Ó ð à î á ç í ä

- Ó á ç æ à á σ ú? - ç à è á ç í ò [19].

Ó ò ð î ñ á σ í ò!

Ó ò ð î ñ á σ í ò

Î ð î ò è á è è è è è è ì ñ ð ò è á ð í ò.

Á á î á ð à è í á

Î ð á ç è á á í ò í á

Ó ð è á σ í á è í á

Î á ð è à î á í ò í á

Á á è á ñ ò í á

Î á è í í á ð à ñ î

Î ò Ó í ñ à è ú

Á î Î á à ñ î,

È î ñ í ó í è ñ ò í á

Á σ í á í è ñ ò í á

Î á è á ð ò ó ð í á

Ñ è í í è ñ ò í á

Ñ à î í á ð ð í á

È ä è í ò í á

Î á ò ð è í ò í á

Öèöäñííá

Éíñèüñííá

Ñíáóéýíòíá

Øáéííáñá

Ñèí óéýíòíá

Áóíòáñá

Ñàí íçáí óáá

Ðññèó è

Àí áðèéáí óáá-

Í áúýáéýþ Óòðíí áóí ò!

Í à:éí àþ Óòðíí áóí ò!

Передайте это, пожалуйста, мадам Гертик для перевода и в Фигаро Литерэр, золотыми буквами, на первой странице:

Í á æéäþ ííãäçàòüñý,

Í á æéäþ íòèè÷:àòüñý,

Í á æéäþ íðèáçæàòü

Óáçæàòü

È íñò ááàòüñý,

Áúñò óí àòü è ííñò óí àòü

Í àñò óí àòü è óñò óí àòü

Óòðíí áóí ò!

Æéäþ ñí àòü

«Ну, этого не будет! – говорит Вуся и стягивает с меня одеяло. – А кто на базар пойдет?» [\[20\]](#)

Отправившись на проходивший 28–30 марта 1951 года в Бомбее Международный конгресс в защиту свободы культуры, шутник Марголин пишет – от

имени жены – сам себе открытку (открытка с видом «Taj Hotel», на лицевой стороне которой его рукой написано: «Моя резиденция»):

Сиди, старый хрен, дома и не шатайся без дела. Ну и что тебе с того, что ты обедаешь в тронном зале, с 12-ю мраморными колоннами под музыку? Все – суета сует. Довольно уже, как нищему с писаной торбой, обносить свои «5 лет в лагере». Пусть бы лучшие тебя чествовали за книгу новую, а не за синяк на лбу. Вот приедешь домой «с трофеями», прочти эти слова и скажи сам, неужели я не права? – Твоя Евка, которая старую гулящую няньку ждет домой поскорее, и уж тогда ни-ни. Никуда не пуцу. Здесь сиди, при детях.

30/3, в полночь. БОМБЕЙ! [21]



Открытка с видом на «Taj Mahal Hotel». Бомбей

* * *

Из многообразного творческого и эпистолярного наследия Марголина, отложившегося в разных мировых архивохранилищах – от Сионистского в Иерусалиме до Гуверовского в Станфордском университете – мы решили остановиться только на одном письме из его переписки с М.В. Вишняком. В нем, как уже было сказано выше, Марголин сетует на то, что при издании «Путешествия в страну Зе-Ка» ему пришлось пожертвовать 40% текста. Как пример писателя, с кем не посмели бы так поступить, он приводит упоминавшегося выше А. Кестлера. Ощущая свое зависимое и потому гораздо более уязвимое положение в писательском мире, нежели положение А. Кестлера – фактически такого же эмигранта-еврея (родился в Будапеште, жил в Германии, потом в Палестине, в конце концов обосновался в Европе, перейдя с 1939 года на английский язык), Марголин вольно или невольно сопоставлял свой и его статус. В результате – неутешительный вывод, к которому он приходит и о чем пишет Вишняку: о своей ущербности, подчеркнутой издательской бесцеремонностью: «Кестлеру какому-нибудь, небось, не посмеют урезать 250 стр<аниц> из книги, а ко мне было отношение, как к поставщику “информации”...»

Другой – крайне небезынтесной – темой данного письма являются рекомендации Марголина, которые, как он рассчитывал, должны были через его корреспондента достичь слуха работников Издательства им. Чехова – о распространении «Путешествия в страну Зе-Ка» в Израиле. Молодое государство представляло собой уникальную ситуацию с точки зрения читательских возможностей на русском языке,

включая высшие правительственные сферы. Мы не располагаем точными сведениями, в какой мере воспользовалось чеховское издательство советами Марголина, однако, исходя из собственного опыта, можем свидетельствовать, что еще в начале 90-х годов, когда в Израиле ликвидировались последние склады русской книги, «Путешествие» было представлено в них несколькими десятками экземпляров.

Однако самой актуальной для Марголина темой, хотя и возникающей в заключительной части его небольшого письма, была борьба с любыми проявлениями коммунистической или прокоммунистической деятельности. Просоветские настроения в самом Израиле давали обильный материал для его политического кипения и негодования.

Полагаем, что нет особой необходимости подробно представлять адресата публикуемого марголинского письма. Заметим бегло, что Марк Вениаминович Вишняк (1883–1975), известный общественно-политический деятель, историк, политолог, публицист, редактор, мемуарист, был членом партии эсеров. С 1919 года жил в эмиграции в Париже, в 1940-м, перед лицом надвигающейся нацистской опасности, перебрался в США, куда ему и адресованы письма Марголина.

Письмо приводится по оригиналу из: Hoover Institution Archives on War, Revolution and Peace (Stanford University). M. Vishniak Papers. Box 5 D.

Тель-Авив, 30/11 – <19>52

Дорогой друг,

Ваш непосредственный отклик по прочтении книги очень обрадовал меня. Я гораздо больше доволен русским изданием, чем франц<узским> переводом, но все-таки: из 650 стр<аниц> было напечатано 400, и у меня были серьезные сомнения насчет эффекта этой урезанной, кургузой версии. Я себя чувствовал художником, которому соскребли с картины 40% красок или отрезали часть полотна под предлогом, что «не помещается в раму». Кестлеру какому-нибудь, небось, не посмеют урезать 250 стр<аниц> из книги, а ко мне было отношение, как к поставщику «информации»: выбрать, что поинтереснее, остальное в корзину. Пропали многие крепкие и для целостности нужные страницы. Поэтому Ваша оценка меня очень поддержала. Я написал в Изд<ательст>-во, прося сообщить мне, что они предпринимают для распространения книги в Израиле, но ответа не имею еще... Понимают ли они, что здесь может быть продана значительная часть их 3000-ного тиража? Что надо послать экземпляры Бен-Цви (президенту будущему...) [\[22\]](#), Шарету [\[23\]](#), Динабургу (министру просвещения) [\[24\]](#) и прочим русским выходцам, также из «просоветского» лагеря?.. Месяц спустя <после> выхода книги на моих руках один экземпляр, и вообще ни одной книги Чеховского Изд<ательст>-ва здесь в продаже нет и не было... Издалека трудно мне с ними сговориться... Я собирался в ноябре поехать в США, но... в Консульстве объявили мне, что для лиц, подобно мне, родившихся в России и даже сидевших там в тюрьме (imprisonment) – в советской тюрьме – формальности, связанные с получением визы, возьмут «от 3 до 9 месяцев»... Так что уж не знаю, когда попаду в Нью-Йорк.

Пока пишу книжку под названием «Дорога на Запад» [\[25\]](#) и много публицистики. На будущей неделе читаю лекцию (на иврите) «Трагедия русского еврейства». Все здесь взбудоражены процессом Орена в Праге [\[26\]](#). Ближайшим результатом этого процесса, однако, явится... усиление Изр<аильской> компартии, т. к. многие члены просоветского несчастного МАПАМ'а (партии Орена) [\[27\]](#), поставленные перед альтернативой – туда или сюда, сионизм или коммунизм, – выберут

коммунизм ^[28] И это хорошо нам – под условием, чтобы пр<авительст>во нашло в себе мужество ликвидировать ком<мунистическую> партию, что, по-моему, было бы единственным логическим следствием из создавшегося положения...

Сердечный привет Вам и Вашей жене от нас обоих.

Ю. Марголин

[1] Р<убинштейн> Н. Урок Марголина // Юлий Марголин. Над Мертвым морем. Б/м, 1980 (?). С. 7.

[2] Об этой группе см.: Сосинский Владимир. Рассказы и публицистика. М.: Российский архив, 2002. С. 51–65.

[3] См. мемуарно-некрологический очерк Ю. Марголина «Памяти Анны Присмановой» (Русская мысль. 1961. № 1629. 12 января. С. 7).

[4] См. о нем: Литвин Е.Ю. Последняя одиссея Георгия Венуса // Ново-Басманная, 19. М.: Художественная литература, 1990. С. 243–264; Венус Б. Мой отец Георгий Венус // Г. Венус. Зяблики в латах. Л.: Советский писатель, 1991. С. 3–14;

[5] О С.П. Либермане см.: Фрезинский Борис. Мозаика еврейских судеб. XX век. М.: Книжники, 2008. С. 312–367.

[6] Гуль Роман. Я унес Россию: Апология эмиграции: В 3-х томах. Т. 1. Россия в Германии. М.: БСГ-Пресс, 2001. С. 248.

[7] Гуль Роман. Юлий Марголин // Новый журнал. 1971. № 102. С. 256 (включен в его кн.: Одвуконь: Советская и эмигрантская литература. Нью-Йорк, 1973. С. 209–218).

[8] The Central Zionist Archives (Jerusalem). A 536. Folder 30.

[9] Отрывок из тюремных воспоминаний Бергера-Барзилая (на русском языке) о Парфенове, авторе песни дальневосточных партизан «По долинам и по взгорьям», и сыне Есенина Юрии, которых автор встретил в годы заключения, см.: Бергер И. Из тюремных воспоминаний // Новый журнал. 1963. № 74. С. 178–185.

[10] Марголин Ю. Дело Бергера (Открытое письмо) // Социалистический вестник. 1946. № 12 (592). 27 декабря. С. 278.

[11] Полный текст восстановлен И.А. Добрускиной (Израиль) по рукописи Марголина только в 2005 г.

[12] См.: U..berleben ist alles: Aufzeichnungen aus sowjetischen Lagern. Mu..nchen: J. Preiffer, 1965.

[13] Пирожкова В. Человек в тоталитарном государстве // Новый журнал. 1967. № 87. С. 268–293.

[14] См.: Марголин Ю. Письмо из Израйля // Русская мысль. 1958. № 1262. 9 сентября. С. 3; включена в кн.: Марголин Юлий. Над Мертвым морем. Б/м, 1980 (?). С. 39–45.

[15] Гуль Р. Одвуконь: Советская и эмигрантская литература. Нью-Йорк: Мост, 1973. С. 215.

[16] Там же.

[17] Марголин Юлий. Памяти Мандельштама // Воздушные пути. 1961. Кн. II. С. 107.

[18] При жизни публиковались в альманахе «Воздушные пути» (1963. Кн. III. С. 84–97) и в журнале «Грани» (1957. № 33. С. 139–141); см. также небольшую подборку стихов Марголина под заголовком «Этапы (Стихи из старой тетради)» в: Новое русское слово. 1970. № 21846. 6 апреля. С. 2.

[19] Будь здоров! До свидания! (идиш)

[20] The Central Zionist Archives (Jerusalem). A 536. Folder 50.

[21] Там же.

[22] Бен-Цви Ицхак (Шимшелевич; 1884–1963), второй президент Государства Израиль (его избрание произошло 8 декабря 1952 года).

[23] Моше Шарет (Черток или Шерток; 1894–1965), израильский политический и государственный деятель; в это время – министр иностранных дел.

[24] Бенцион Динур (Динабург; 1884–1973), историк, педагог и общественный деятель; в 1951–1955 годах – министр просвещения и культуры.

[25] Первая публикация этого текста (по всей видимости, по-французски) не разыскана; восстановлена для печати на основе марголинских рукописей, см.: Иерусалимский журнал. 2007. № 24/25.

[26] Мордехай Орен – видный функционер израильской партии МАПАМ (см. след. примеч.), задержанный в Чехословакии во время сфабрикованного Москвой судебного процесса над Генеральным секретарем Коммунистической партии Чехословакии Р. Сланским (1952). Арест М. Орена и второго израильтянина – Ш. Оренштейна, бывшего торгового атташе Израиля в Праге, который во время Войны за независимость закупал у чехов оружие для ЦАХАЛ, преследовал цель скомпрометировать руководство чехословацкой Компартии в «близости с сионистами».

[27] МАПАМ (Мифлегет поалим а-меухедет) – Объединенная рабочая партия. Была основана в 1948 году в результате объединения левосоциалистических групп в рабочем движении: «А-шомер а-цаир» и «Тнуа ле-ахдут а-авода». Апологетически относилась к сталинскому режиму.

[28] Прогноз Марголина оказался не совсем верным: в результате «дела Сланского», носившего откровенно антисемитский характер, внутри МАПАМ начался идеологический кризис и первые признаки раскола.

ПИР

Ἀδελφεὲ Ἐταῖοι αἱ

...и поняли мы,

Что мы на пиру в вековом прототипе –

На пире Платона во время чумы.

Откуда же эта печаль, Диотима?

Борис Пастернак. Лето

Мы на пиру в Неардее, в городе на реке Евфрат, в стране, которую называют Вавилон, хотя Вавилон давно захирел и лежит в развалинах. Рав Нахман здесь дома, а рабби Ицхак пришел из Земли Израиля. Когда там случилась чума, здесь объявили пост. Но сейчас – ни чумы, ни поста, и мудрецы пируют. Спросил рав Нахман: «Не произнесет ли господин мой слово?» Ответил ему рабби Ицхак: «Не беседуют во время еды, чтобы пища не попала в дыхательное горло вместо пищевода». Так мы учим из трактата, имя которому – Таанит, что значит «Пост» (5б).



Пять мудрецов на седере в Бней-Браке. Иллюстрация из Пасхальных агадот 1927–1930 годов. Справа налево сидят: Рамбам, Раши, р. Яаков бен Ашер, р. Йосеф Каро и р. Ицхак Альфаси (спиной к зрителю). Из Библиотеки Института Шехтера

Вот и на пире Платона Аристофан, сочинитель комедий, переел, и на него напала икота. Он сказал врачу Эриксимаху: «Либо прекрати мою икоту, Эриксимах, либо говори вместо меня, пока я не перестану икать». В ту ночь говорили, справа по кругу, похвальные речи Эроту, богу любви. Сократ, когда очередь дошла до него, вспомнил Диотиму, жрицу Зевса, что прибыла в Афины из Аркадии и на десять лет отодвинула приход чумы. И вот что она рассказала Сократу. Когда родилась Афродита, боги собрались на пир. Пришел и Пор, бог изобилия, опьянел от нектара и заснул. Спящим в саду нашла его Пеня, богиня бедности, и зачала от него сына. Имя же сыну – Эрот. Потому что отец его богат, а мать – нищенка, он вечно домогается и стремится. К чему стремится? К прекрасному. Ведь зачали его в день, когда рождена Афродита. Поскольку же мудрость –

самое прекрасное, то Эрот – философ. По-гречески философ – «возлюбленный мудрости», а вовсе не мудрец. Томление его бесконечно, как бесконечно познание.

На трапезе в Неардее речь также шла о любви. Сказал рабби Ицхак: «Стоит кому-то произнести “Рахав, Рахав”, как сразу происходит у него семяизвержение». Ответил ему рав Нахман: «Я произношу, и хоть бы что!» Рабби Ицхак разъяснил: «Это я сказал о том человеке, который сошелся с Рахав, познал ее и упоминает ее имя». Рахав же была блудница, в доме которой спрятались еврейские шпионы, а она их не выдала своим, жителям Иерихона. Когда затрубили трубы и пали стены города, евреи оставили Рахав и ее родню в живых. И не только это – в Сифрей сказано, что восемь священников и восемь пророков были ее потомками. А в Евангелии от Матфея (1:5) Рахав названа матерью Вооза, того самого, что выкупил Руфь и женился на ней, и от него пошел род царя Давида.

Если кого-то удивляет, что блуднице выпала такая честь, то вот другая женщина, которая оделась, как блудница, и села у дороги, как блудница, а от нее произошло колено Иудино. Из этого колена вышел царь Давид и выйдет мессия, помазанник. Звали ее Тамар, и свекром ее был сам патриарх Иуда. Когда его первый сын умер, Иуда по обычаю ибума отдал Тамар своего второго сына, но умер и второй. Третьего же сына он не хотел отдавать. Вот тут-то Тамар оделась блудницей и села у дороги, чтобы соблазнить собственного свекра. Рабби Йоханан учил, что Иуда хотел пройти мимо, но Святой, благословен Он, послал к Иуде ангела вожделения, и тот сказал: «Иуда, куда ты идешь? Не туда ли, откуда выйдут цари и избавители?» Так в Берешит раба, 85:8.

Через три месяца, когда увидели, что Тамар беременна, хотели ее сжечь. Но она показала три знака, которые Иуда оставил ей. Что за знаки? Печать, шнур и жезл. Шнур – это мудрецы Синедриона, ведь они удлиняют бахрому на одежде своей. Жезл – царь-помазанник, мессия. Ведь сказано в псалме (110:2): «Жезл силы твоей пошлет Г-сподь из Сиона!» А о печати сказано в Песни Песней (8:6): «Положи меня печатью на сердце твое, печатью на руку твою, ибо сильна, как смерть, любовь...»

Историю Тамар и Иуды мидраш толкует как историю любви, а плод этой любви – царь-помазанник, мессия. И не только это – всю историю Израиля мидраш делает историей любви. Для этого он переводит «Песню моря» в Шир а-ширим («Песнь Песней»). «Песню моря» пел Моше, когда Г-сподь потопил колесницы фараона и войско его, а Шир а-ширим сложил царь Шломо на радость Шуламит. И в Шир а-ширим (5:9) мы читаем слова, обращенные к Шуламит: «Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейшая из женщин?» Истолковал рабби Акива словами из «Песни моря»: «Это Б-г мой, и воспою красу его». Народы мира спрашивают Израиль: «Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных? Ведь вас убивают за Него, ибо сказано “За Тебя убивают нас всякий день” (Теилим, 44:22)? Ведь вы красивы и сильны, придите и смешайтесь с нами!» И Израиль отвечает им: «Знаете ли вы Его? Мы расскажем вам. “Возлюбленный мой бел и румян, лучше десяти тысяч других: голова его – чистое золото; кудри его волнистые, черные, как ворон...” (Шир а-ширим, 5:10-11)». Когда слышат это народы мира, говорят Израилю: «Мы пойдем с вами, как сказано: “Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейшая из женщин? Куда обратился возлюбленный твой? Мы поищем его с тобою” (Шир а-ширим, 6:1)». Израиль же говорит им: «Нет вам доли в Нем, как сказано: “Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему” (Шир а-ширим, 2:16, 6:3)». Так в Мехильте.

И вот чему Диотима учила Сократа: любовь есть стремление к прекрасному, сначала – к прекрасным телам, а потом – к истинно существу. И для платоников любовь к Б-гу есть любовь к прекрасному, и для них «возлюбленный мой бел и румян». Но нет в

мидраше платонического «потом» и «сначала». Нет лифта, подъема от плотской любви к духовной, но все дано смертельно и сразу: любовь Израиля к Б-гу и любовь девушки к юноше. Потому и сказано: «Положи меня печатью на сердце твое, печатью на руку твою, ибо сильна, как смерть, любовь...»

«Откуда же эта печаль, Диотима?» – спрашивает поэт, подозревая происки Мэри-арфистки, поющей «уныло и протяжно». Или он имеет в виду флейтистку, которую Алкивиад привел на пир? Эти пиры всегда в соседстве с чумою, всегда двоятся. То ли чума в Афинах при Перикле, то ли чума в Римской империи в правление Марка Аврелия. Платоновский пир, прототип всех пиров, завершился странной мыслью Сократа: один и тот же человек должен быть и комическим поэтом, и трагическим. И на пире богов, по словам Диотимы, был зачат странный демон – сын богача и нищенки, не мудрец и не глупец, вечно ищущий того, чего нельзя достичь.

И таков же был пир Авуи в честь обрезания его сына Элиши, того самого, что сначала стал знаменитым мудрецом, а потом сложил с себя иго Торы, и за это был прозван Ахер – «Другой». И он был учителем рабби Меира. Как-то раз Ахер ехал на лошади в субботу. Пришли и сказали рабби Меиру: «Там – твой учитель». Вышел рабби Меир, и Ахер спросил его: «Какие слова Торы ты толковал сегодня?» Ответил рабби Меир: «Конец дела лучше его начала» (Коелет, 7:8). Сказал Ахер: «Конец дела хорош, когда начало было хорошим. А вот что случилось со мной. Мой отец Авуя был знатен в Иерусалиме. Когда настал день моего обрезания, он позвал всех знатных людей Иерусалима и посадил их отдельно, и позвал рабби Элизера и рабби Йеошуа и посадил их отдельно. Только знатные гости наелись и напились, они начали плясать и топтать ногами. Увидел это рабби Элизер и сказал рабби Йеошуа: “Пока эти заняты своим делом, мы займемся своим”. Сели и занялись словами Торы – от Пятикнижия к Пророкам и от Пророков к Писаниям, и сошел огонь с небес и окружил мудрецов. Спросил их Авуя: “Господа, вы пришли сжечь мой дом?” “Б-же упаси, – ответили те. – Мы сидели и занимались словами Торы – от Пятикнижия к Пророкам и от Пророков к Писаниям, и слова веселились, словно только что даны на Синае, и огонь пылал вокруг нас, как пылал на Синае, а на Синае – разве не в огне они даны? Ведь сказано: „А гора пылала огнем до сердца небес“ (Дварим, 4:11)”. Мой отец, Авуя, сказал им: “Господа, раз такова сила Торы, то, если этот сын мой будет жив, я отделю его для Торы”. Поскольку же намерение моего отца не ради Небес было, то и не исполнилось оно». Так в Иерусалимском Талмуде, в трактате Хагига.

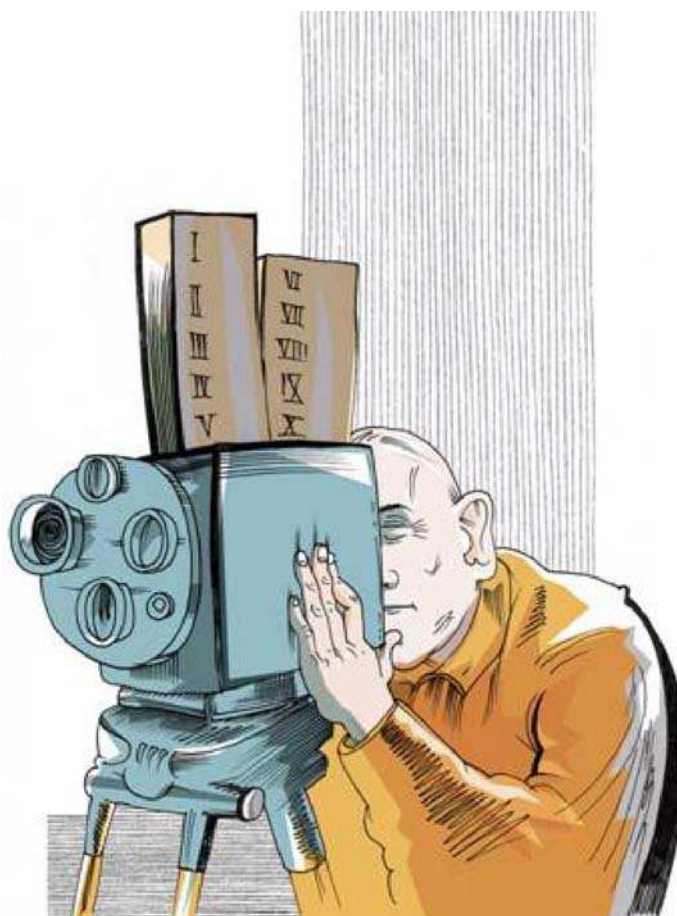
А рабби Элизер и рабби Йеошуа вместе с другими мудрецами – рабби Эльазаром бен Азарьей, рабби Акивой и рабби Гарфоном – пировали еще в Бней-Браке. Они возлежали на ложах в триклинии всю пасхальную ночь и рассказывали об Исходе, пока не пришли их ученики и не сказали им: «Учителя наши, настало время утреннего чтения Шма». А в Шма есть такие слова: «И люби Г-спода, Б-га твоего, всем сердцем своим, и всею душою твоею, и всем лучшим, что есть у тебя» (Дварим, 6:5). И заповедь об этих словах: «И повяжи их как знак на руку твою...» (Дварим, 6:8). То есть повяжи на руку тфилин, черные коробочки со словами Торы. Рабби Берахья отнес заповедь о тфилин («на руку твою») к словам из «Шир а-ширим»: «Положи меня печатью на сердце твое, печатью на руку твою, ибо сильна, как смерть, любовь...» Так в мидраше на «Шир а-ширим».

Мы на пиру, господа. Мы в вековом прототипе. Лехаим, господа, лехаим!

ТАКОЕ ВОТ ЕВРЕЙСКОЕ КИНО...

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ

Было время, когда известная голливудская актриса Кейт Уинслет еще не имела «Оскара» и сильно горевала по этому поводу. Как-то у нее брали интервью, речь зашла о фильме на тему Холокоста, в котором ей только предстояло принять участие. На вопрос, зачем актриса это делает, Уинслет высказалась без обиняков: «Я заметила, когда ты снимаешься в фильме о Холокосте, “Оскар” тебе практически обеспечен. “Список Шиндлера”, “Пианист” – они ведь не остались без “Оскара”! Я была номинирована четыре раза и ничего не получила. Весь мир спрашивал почему. Вот я и решила попробовать».



Получилось именно так, как предполагала актриса: сыграла Ханну Шмиц в фильме «Чтец» режиссера Стивена Долдри и получила «Оскар». А получив, коротко бросила тому же журналисту: «Ну, я же говорила!..»

Простим голливудской диве ее раздражение и холодный расчет, ибо получился фильм потрясающий. Актриса прекрасно сыграла бывшую надзирательницу концентрационного лагеря, которая во время пожара не открыла дверь тремстам еврейским женщинам, сгоревшим заживо в церкви во время бомбежки. Тем более что по сути Уинслет права.

Михаил Жванецкий как-то заметил, что евреев, вообще-то, мало, но в каждом конкретном месте их много.

Похоже, кроме артистов, продюсеров и режиссеров еврейского происхождения, мы сталкиваемся с новым феноменом: еврейская тема становится все более ощутимой в кинематографе, а удельный вес фильмов, получивших престижные мировые награды, неуклонно растет. Однако, когда размышляешь о причинах этого феномена, удивление исчезает.

Конечно же, дело не в каком-то еврейском лобби или моде. Все значительно глубже.

Однажды кинорежиссера Джеймса Кэмерона спросили о причине его любви к масштабным проектам. У Кэмерона их предостаточно: «Терминатор», «Чужие», «Терминатор 2», «Правдивая ложь». И конечно, «Титаник» и «Аватар».

Кэмерон ответил в таком духе, что современные средства кино позволяют показать масштабные, почти апокалиптические события, сломы истории и стоящие за ними судьбы. И именно эта возможность превращает самые дерзкие фантазии художника в реальность.

Свою мысль режиссер пояснил на примере «Титаника»:

– Что представлял собой этот корабль? Это был абсолютный символ человеческого величия и победы над силами стихии. «Титаник» был не просто «Б-гом» среди кораблей, он был почти равен Б-гу. Такая гора технической мощи и человеческого ума, воплощенного в стройных линиях и гениальных расчетах, должна была стать символом попрания любой случайности и природного хаоса. Но незаметный айсберг пропорол «Титаник», и он, самый большой и мощный в мире, рухнул в пучину. Так вот, – продолжил Кэмерон, – эта реальность сравнима с историей про Икара, с древнегреческими трагедиями с их гибелью богов. Это сравнимо со строительством Вавилонской башни, когда люди по Б-жественному приказу были наказаны за гордыню и амбиции и перестали понимать друг друга. Именно такое кино, которое в состоянии передать эпичность событий, мне интересно делать.

В свете этих точных рассуждений Кэмерона становится понятно, что обращение к еврейской истории, особенно к Холокосту, благодатная почва для анализа и показа одной из величайших трагедий человечества. Холокост сродни гибели Атлантиды, когда в водовороте неотвратимой стихии гибнут миллионы людей с их культурой, мироощущением и великими памятниками цивилизации. Однако кино на еврейскую тему не ограничивается плачем по погибшим. Еврейский мир разнообразен, а творцы свободны в выборе жанра. Да и они не всегда евреи.

Джуди Айронсайд, организатор фестиваля еврейского кино в Англии, довольно просто описала критерий понятия «еврейского кино»: «Фильм должен в той или иной степени затрагивать еврейскую тематику. Наш подход к этому предельно широкий. Мы не хотим замыкаться в рамках сугубо еврейской аудитории. Мы все время пытаемся привлечь к нашему фестивалю как можно больше людей, убедить их в том, что вовсе не обязательно быть евреем, чтобы найти в этих фильмах что-то интересное для себя. Потому и подход к отбору максимально широкий. Режиссеру фильма вовсе не обязательно быть евреем – он только должен быть связан с еврейской культурой и историей».

Если исходить из критерия Джуди Айронсайд, то можно смело сказать, что любой современный фестиваль кино – это фестиваль еврейского кино. Обязательно

найдется фильм, где герой либо еврей, либо поднята проблема антисемитизма, либо кто-то работает на «Моссад». Более того, даже при беглом взгляде на кино, которое нас окружало последние 10–30 лет, огромное число фильмов, полюболюбившихся подавляющему числу зрителей, охватывают, в большей или меньшей степени, еврейскую тематику. «Кабаре» Боба Фосса, «Список Шиндлера» Спилберга, «Папа» Машкова, «Быть или не быть» Мэла Брукса и его же комедия «Всемирная история», «Комиссар» Аскольдова. Далее можно просто перечислять: «Ас из асов», «Приключения раввина Якова» с умопомрачительным Луи де Фюнесом, «Скрипач на крыше», «Пианист», «Жизнь прекрасна».

Эти и прочие фильмы, упоминание которых заняло бы слишком много места, – только я насчитал их более двухсот – сделаны отнюдь не по методике Кейт Уинслет, то есть «попасть в тему и схватить “Оскар”». Еврейство в них – необходимая часть киноландшафта, а привлеченные еврейские характеры необходимы для появления некоей атмосферы, позволяющей более выпукло показать остальных героев.

Блокбастер «День независимости» режиссера Роланда Эммериха, вообще-то, про попытку захвата Земли инопланетянами и, казалось бы, не предполагает появления еврея в сценарии: есть герои, стремящиеся уничтожить пришельцев, президент США как символ сопротивления, простые американцы, проявившие мужество. Но один из главных героев – ученый Дэвид Левинсон. И пока он думает, как победить инопланетян, появляется его отец Джулиус Левинсон. В блистательном исполнении актера Джудда Хирша. Это смешной персонаж – как будто из маленького еврейского местечка. Вначале сценаристы просто устраивают ему случайную встречу с сыном, но потом проводят по всему сценарию участником событий. Тот, кто видел фильм, понимает для чего: на фоне возможной величайшей трагедии человечества появляется герой с неистребимым еврейским юмором, позволяющий снизить пафос киногероизма, что, в свою очередь, дает зрителю психологически передохнуть перед очередной атакой на вражеские инопланетные корабли.

Пример «Дня независимости» – своеобразный «Гамбургский счет» в киноиндустрии, потому что блокбастеры ориентированы на коммерческий успех. Это не авторское кино – это кино для всех. И появление в фильме именно героя еврея, а не итальянца, например, или француза говорит о том, что сценаристы считают, что в данном фильме зрителям необходим именно еврейский философский подход к жизни, который можно сформулировать так: «Все бывает, но будем надеяться на лучшее».

Еврейский слой в кино отнюдь не паразитирует на Холокосте, выжимая слезу из членов «оскаровской» академии. Режиссеры крайне осмотрительно используют ту или иную черту еврейской жизни, еврейского характера. В результате фильм оказывается глубже, поднимая далеко не еврейскую тематику.

Этим особенно отличается современное кино, о котором сейчас речь. Вот несколько примеров.

Фильм «Мюнхен» Стивена Спилберга.

Во время Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене одиннадцать израильских атлетов были взяты в заложники, а затем убиты палестинской террористической группировкой, известной как «Черный сентябрь». Для возмездия израильское правительство посылает группу агентов «Моссад» с заданием выследить и уничтожить ответственных за преступление. Казалось бы, обычный рассказ о возмездии. Но главный

герой случайно убивает невинного. Обычный сюжет вырастает в философскую историю о смысле мести, о праве на ее существование.

Фильм Романа Поланского «Пианист», получивший три «Оскара».

В фильме рассказывается о судьбе музыканта Владислава Шпильмана – выдающегося польского пианиста, еврея по национальности. Вынужденный жить в Варшавском гетто во время второй мировой войны, он сполна познает вкус унижений и страданий. Но один из офицеров отступающей немецкой армии обнаруживает его среди руин разрушенного бомбежками города и помогает ему выжить. Конечно, в центре фильма судьба и трагедия таланта. Но не только. Это еще фильм о том офицере, который, казалось бы, изменяет «идее» и помогает «врагу», которого должен уничтожить. Об этом же, кстати, и «Список Шиндлера» Спилберга, причем там эта тема еще более заострена.

Людам, ворочающим большими деньгами, не свойственно ссориться с властью. Шиндлер своей помощью евреям поставил на карту главное – бизнес и свою жизнь. Но, если его спросить в тот момент почему, он вряд ли бы сразу ответил. Правильный ответ был бы: «Потому что я человек», но Шиндлер был человеком со вкусом и такую фразу никогда бы не произнес.

Появляются и примеры совсем необычного кино, где «присутствие еврейского» хотя и является составной частью произведения, но к Холокосту и проблемам евреев прямого отношения не имеет.

Квентин Тарантино со своим полотном «Бесславные ублюдки», как известно, главного «Оскара» не получил, что не снижает уровня его фильма. Тарантино разрабатывает свой стиль в кино, и в этом стиле, что особо проявилось в фильме «Убить Билла», материалом для создания работы служит вся современная культура. Это похоже на альбомы популярных певцов.

Сюжет «Бесславных ублюдков» прост: действие картины разворачивается в оккупированной Франции. На глазах у Шошанны Дрейфус от рук немецкого полковника Ганса Ланда погибает ее семья. Ей чудом удается спастись и бежать в Париж, где она устраивается на работу в кинотеатр. В это же время где-то в Европе лейтенант Альдо Рейн собирает группу еврейских солдат, именующих себя «ублюдками». К ним примыкает тайный агент Бриджет фон Хаммерсмарк. Обе сюжетные линии пересекаются, когда диверсанты встречаются в кинотеатре с Шошанной, мечтающей отомстить обидчикам.

Далее Тарантино устраивает кинофантазмагорию, доводя все до абсурда: в финале фильма, в результате спецоперации «ублюдков» и, одновременно, ее провала, гибнут не только герои, но и вся гитлеровская верхушка во главе с фюрером, чего, конечно, не было. Феномен этого фильма совсем не в эксцентричном сюжете, а в том, как именно использовано еврейское происхождение героев.

Ответ будет парадоксальным: никак, и в этом прелесть.

Никто из героев не зажигает свечи, никто не говорит о Торе. Брэд Питт, играющий главного героя, евреем по сюжету не является, остальные герои его команды на евреев тоже мало похожи. И вообще, то, что эта история про евреев, забывается через пять минут после начала фильма: просто группа людей мстит врагам за их преступления. В этом парадокс классики и современного ее осмысления.



Когда мы смотрим «Ромео и Джульетту», нам все равно, что дело происходит в Вероне, – дело ведь где-то должно происходить. И многие, если у них спросить, кто по национальности Ромео и Джульетта, задумаются перед ответом.

А кто по национальности Гамлет? Да, мы знаем, что он принц датский, но при просмотре пьесы или фильма «Гамлет» никогда не возникает мысли, что сам Гамлет поступил так, а не иначе, потому что он датчанин.

И все это благодаря гениальности автора, сумевшего поднять сюжет до греческих стандартов эпичности. (Вспомним замечание Кэмерона.)

Тарантино делает то же самое. Для него «еврейская тема» в «Ублюдках» низведена или поднята, если хотите, до той же греческой эпичности: есть убийцы, которых нужно наказать, и есть зло, которое нужно победить, возможно, ценой собственной жизни.

Однако есть фильм, вернее, сериал, который еще более парадоксален. Название «Морская полиция» (NCIS) знакомо зрителю не понаслышке – этот сериал телекомпании CBS с успехом показывается и в России. Сюжет сериала незамысловат: в каждой серии группа агентов морской полиции расследует очередное преступление. Однако где-то к десятой серии первого сезона одна девушка-агент гибнет, и на ее месте появляется другая. Но эта другая – спецагент «Моссад» Зивва Давид, направленная в США по обмену спецслужб.

Она хорошо знает английский, но иногда ошибается. Она прекрасный агент, но ее понимание героизма, толерантности, житейских традиций, отношение к врагу, понятие долга перед страной и даже своей семьей отличают ее от всей команды. Таким образом, на протяжении уже нескольких сезонов мы наблюдаем «притирку наций». Эта притирка во всем: начиная от особенностей поедания хумуса до сложнейшего поступка – «расставания с родиной».

И это оказывается выигрышным ходом, потому что Зивва, несмотря на то что ее отец – руководитель «Моссад», а она там ценнейший агент, вынуждена расстаться с Израилем. Да, она любит свою родину, но не приемлет методов работы отца.

Согласимся, что подобные вопросы несколько необычны для обычного, казалось бы, полицейского сериала. Смелый ход в выборе национальности героя только обогащает сериал, потому что кроме преступлений и их раскрытия мы наблюдаем реальную жизнь непохожих людей.

Важно заметить, что среди авторов и актеров сериала я не нашел еврейских фамилий, так что нельзя утверждать, что этот сериал делался по линии каких-то лоббистских кругов. Да, он, в определенной степени, посвящен борьбе против терроризма, в том числе идущего из ближневосточного региона, но не это является определяющим.

Какой же вывод можно сделать из приведенных примеров?

Интерес к присутствию «еврейского слоя» в мировом кино резко возрос, но лучшие режиссеры не занимаются произраильскими агитками. Они говорят о человеке.

Каков же герой фильма, если он еврей, на экране?

Разный, конечно. Чаще – личность, проявляющая собственный гуманизм или, в силу обстоятельств, заставляющая проявлять гуманизм других, возможно ранее не склонных к подобным проявлениям. И именно эстетический, а не политический выбор, определяющий появление героя-еврея на экране в 2010 году, наиболее ценен.

КАЗАЧИЙ ТРОФЕЙ

Àèàèàí àð Èèè: ààèèè

Горизонт застлан не то облаками пыли, не то дымами костров. Там и здесь на заднем плане мы видим скопления пик, смутные образы группового движения, все вокруг кипит и движется, – что именно движется и кипит, неясно, но художник создает подлинное впечатление многолюдной деятельности, увлеченности многих людей каким-то общим – жизненно-военным – делом.

Перед нами бескрайний степной ландшафт Сечи. Не видно ни кибиток, ни каких-либо иных подробностей хозяйственной деятельности. Детали неразличимы, как не различаются в костре отдельные угли, пока он не потухнет. Разве только над плечом широкоплечего черноусого казака в бурке и с окровавленной повязкой на лбу угадывается дымящийся котел – с кулешом, с похлебкой?

Вскоре передний план картины полностью захватывает наше внимание. Он составлен из восемнадцати крупных портретных фигур, каждая из которых надолго останавливает взгляд своеобразием характера, определенной повествовательной основательностью. За каждым казаком выстраивается целый рассказ о типе натуры, преломленной ее военной деятельностью. Казаки эти все удачливы в бою: некоторые награждены увечьями, но счастливы в главном – в том, что выжили. Некоторые из них явно сильны статью, некоторые карикатурно худосочны, болезненны или беззубы. Однако все лихи и обладают органической уместностью в целостности картины, составляют весомый вклад в ее художественную ценность. Образы их выполнены филигранно, и позы как первостепенных персонажей, так и тех, что находятся вне поля действия главных фигур, склоненных над писарем, под коллективную диктовку составляющим лихое письмо османскому султану Мехмеду IV, – образуют сердцевину кипучего пространства Сечи, полного удали и стойкости перед походными лишениями.

Возникающее в конце концов желание узнать что-нибудь о могущественном, но неизвестном для нас султанине – естественно. И прежде чем мы перенесемся в Константинополь, остановимся на одной интересной детали картины, которая обогатит смыслом нашу траекторию наблюдения. Это пороховница, прикрепленная к поясу казака, сидящего с обнаженным торсом. При серьезной игре казаки снимали рубахи, чтобы не иметь возможности подложить карты за пазуху или в рукав. И вот мы видим у поясницы этого весело ухмыляющегося казака, с залихватски закрученным вокруг уха оселедцем, инкрустированную вещицу – часть боевой амуниции – сосуд с длинным горлышком, через которое сыпается на ружейную полку порох.

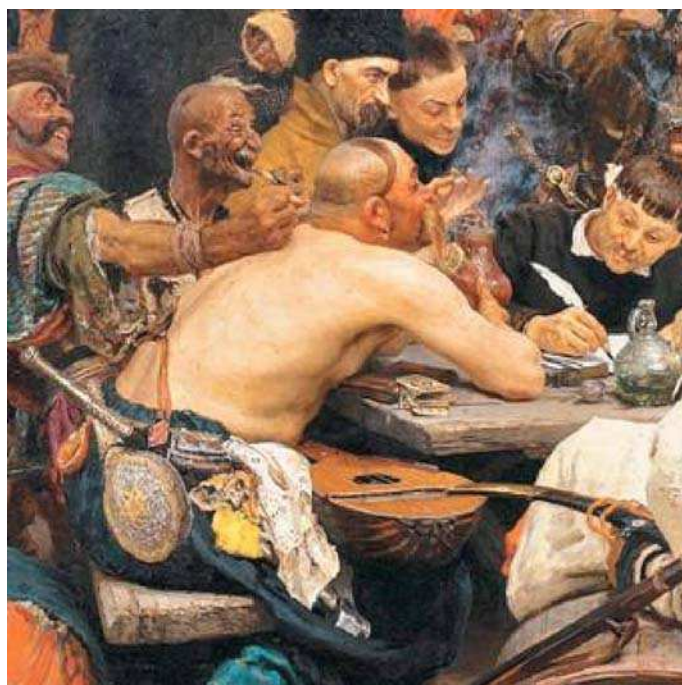
Теперь нам еще более внимательно следует взглянуть на картину Репина, чтобы обнаружить удивительное обстоятельство: центральный узор пороховницы представляет собой еврейскую золоченую шестиконечную звезду, Щит Давида.

Репин тщательно подходил к срисовыванию казацкой амуниции. Во множестве эскизов он использовал коллекцию знатока старого Запорожья Дмитрия Яворницкого. Так что сомнений в принадлежности пороховницы к казацкой амуниции нет никакого. Но

возникает вопрос, каким образом Щит Давида – символ мирных евреев – попал на оружейную принадлежность?

Единственная правдоподобная гипотеза состоит в том, что пороховница принадлежала караимам (или только была ими изготовлена), широко проживавшим в Крымском ханстве. Достаться казакам она могла, как и всевозможная прочая амуниция, в качестве трофея.

Одно из наиболее знаменитых мест проживания караимов – Чуфут-Кале («Еврейская крепость»), средневековый город-крепость, основанный в IV–V веках в Крыму близ Бахчисарая. Религия караимов (потомков древних тюркских племен, исшедших из Хазарского каганата) была фундаменталистским толком иудаизма, отрицавшим значение Талмуда. Чуфут-Кале стал резиденцией первого крымского хана; традиционно здесь же содержались высокопоставленные военнопленные (способные себя выкупить; людей же небогатых продавали в рабство в Каффе, нынешней Феодосии) и располагался государственный монетный двор.



И. Репин. Запорожцы пишут письмо турецкому султану (фрагмент).

1880–1891 годы

По быту и одежде почти ничем не отличаясь от татар, караимы жили замкнутой общиной, занимались торговлей и ремеслом. Подражая иерусалимской топонимике, окрестности Чуфут-Кале караимы именовали своеобразно: здесь есть и Иосафатова долина погребений, и Масличная гора, и источник Юсуп-Чокрак («Фонтан Иосифа»), а у подножия крепости протекает пересыхающий летом Кедронский ручей.

Не исключено, что здесь же, в Чуфут-Кале, и была произведена та пороховница, добытая казаками в одном из Крымских походов.

Вернемся к султану. Что пишут ему запорожцы? В письменной истории Запорожской Сечи имеется несколько апокрифов, одному из них мы последуем:

Письмо запорожских казаков к султану в благозвучном переводе:

Ответ Запорожцев Магомету IV

Запорожские казаки турецкому султану!

Ты – шайтан турецкий, черт, проклятого черта брат и товарищ и самого Люцифера секретарь! Какой же ты, к черту, рыцарь, когда голым задом ежа не убьешь? Черт гадит, а твое войско пожирает. Не будешь ты, чертов ты сын, сыновей христианских под собой иметь, твоего войска мы не боимся, землей и водой будем биться с тобой, чтоб тебе пусто было.

Вавилонский ты повар, Македонский колесник, Иерусалимский пивовар, Александрийский козлодран, Великого и Малого Египта свинопас, Подолянская злодеюка, Татарский сагайдак, Каменецкий палач и всего света и подсвета шут, а для нашего Бога – дурак, самого аспида внук.

Вот так тебе запорожцы ответили, никчемный! Не годен ты и свиней христианских пасти! Числа не знаем, ибо календаря не имеем, месяц в небе, год в книге, а день такой у нас, какой и у вас!

Подписали: кошевой атаман Иван Сирко со всем войском Запорожским.

Мехмед IV, по прозвищу Авджи (Охотник), получивший его за свою страсть к спорту и охоте, – девятнадцатый османский султан, правивший в 1648–1687 годах. Сын Ибрагима I, свергнутого янычарами, и наложницы, Мехмед вступил на престол в 1648 году. Время его малолетства отличалось беспорядочным двоевластием его матери и бабушки, благодаря чему в 1656 году венецианцы у Дарданелл одержали над османцами блистательную морскую победу и были остановлены перед Константинополем только что назначенным великим визирем Мехмедом Кепрюлем.

Теперь же, чтобы дополнить образ султана, мы вспомним одного небезызвестного современника – как его, так и запорожских казаков и оружейников-караимов, – Шабтая Цви.

Шабтай Цви – знаменитый еврейский лжемессия, возглавивший массовое мессианское движение XVII века, охватившее почти все еврейские общины. Родившись в 1626 году в Измире в семье византийских евреев, Цви получил хорошее религиозное образование, одним из учителей его был каббалист и раввин Иосиф Исафа. С юных лет он возглавлял группу молодежи, чьи занятия были посвящены Талмуду и каббале, молитвам и медитациям, обсуждению мессианских чаяний, вызванных тяжелейшим положением еврейского народа в связи с погромами Богдана Хмельницкого на Украине. В 1648 году Шабтай Цви объявил себя спасителем Израиля, однако поддержки в общине не нашел; он переселился в Салоники, но и там его идеи не имели успеха.

Тем не менее Шабтай Цви предпринял масштабные пропагандистские усилия, выразившиеся в его многочисленных поездках по еврейским общинам Османской империи. В одной из общин Египта, где он был хорошо принят, Цви женился на беженке из Польши по имени Сара, которая стала его соратницей.

Вскоре после женитьбы Шабтай Цви приехал в Землю обетованную, где встретил Натана из Газы – молодого проповедника, поддержавшего его и разославшего по

еврейским общинам призыв ко всем встать под знамя мессии, которым 31 мая 1665 года Шабтай Цви публично себя объявил.

Весть от Натана из Газы нашла широкий отклик во всем тогдашнем еврейском мире, взволнованном распространявшимися многочисленными посланиями, которые восхваляли Шабтая Цви и в которых утверждалось, что мессия скоро вернется в Сион. Однако из Иерусалима, куда Цви прибыл вместе с двенадцатью учениками, он был изгнан.

Вскоре лжемессия обосновался в Измире, где его с ликованием приняли приумножившиеся сторонники, среди которых были и его прошлые противники.

В 1666 году Шабтай Цви прибыл в Константинополь, где наш знакомец, султан Мехмед IV, отказал ему в аудиенции и вместо этого приказал арестовать. Впрочем, пребывание в заключении не представляло для Шабтая Цви препятствия в его проповеднической деятельности. К нему приезжали отовсюду посланники, стража получала немалое вознаграждение за то, что позволяла им встретиться с лжемессией.

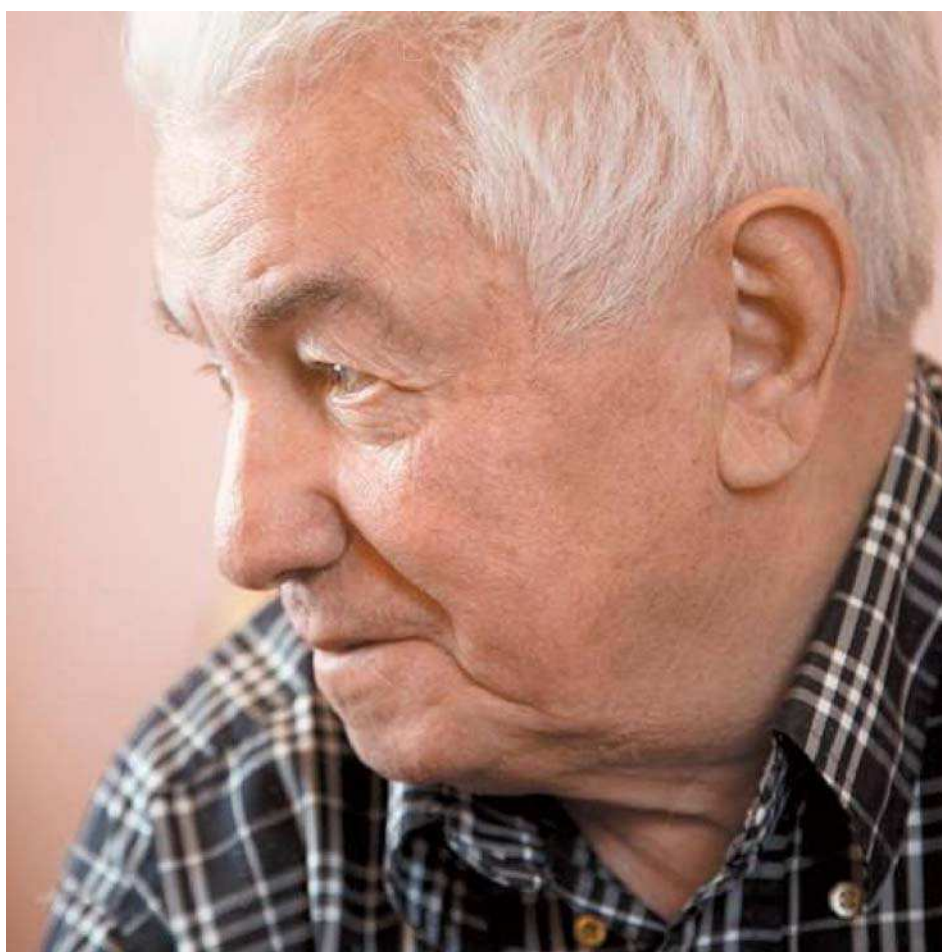
Вскоре султан предал Цви суду, который предъявил ему обвинение в посягательстве на роль царя. Лжемессии было предложено выбрать между смертной казнью и обращением в ислам. В результате 16 сентября 1666 года Шабтай Цви принял ислам, а султан пожаловал ему гарем, охрану, должность камергера и жалованье.

Так завершается траектория нашего взгляда, начавшаяся с изображения звезды Давида на пороховнице казака-картежника, вместе с другими запорожцами составлявшего лихое письмо султану, в чьей свите находился знаменитый еврейский лжемессия.

ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ: «МОЖЕТ, Я ЕВРОПЕЕЦ?»

Беседу ведет Михаил Эдельштейн

Недавно в издательстве «Эксмо» вышел «Автопортрет» Владимира Войновича – одна из самых искренних и нелюбимых мемуарных книг, увидевших свет за последнее время. Воспользовавшись намеченной в ней автобиографической канвой, мы решили расспросить писателя о его национальной идентичности, литературных пристрастиях, отношении к диссидентам, отказникам, советской власти и о многом другом.



– Владимир Николаевич, ваш отец серб, мать еврейка. Стояла ли перед вами когда-нибудь проблема самоидентификации?

– Я стал задумываться об этом уже в зрелом возрасте, до того все шло как-то само собой. Скажем, когда я получал паспорт, то вроде как имел право выбрать национальность. А я даже не знал об этом, считал, что естественно записаться по отцу. Фамилия по отцу, отчество – значит, и национальность тоже. Потому и записался русским.

Кстати, отец у меня не серб, а сербского происхождения. Хотя я читал одного журналиста в «Огоньке», который уверял, что он голландец, так как его прапрапра приехал из Голландии. Так вот, он не голландец, а я не серб.

Но когда я все-таки стал об этом задумываться, то пришел к выводу, что, если обозначать национальность одним каким-то словом, я, конечно, больше русский, чем серб или еврей. Кроме всего прочего, я же рос в русско-украинской семье моей тетки, она на меня очень повлияла.

Не так давно я услышал, что в Европе есть предложение ввести национальность «европеец», и подумал: а может, я и европеец – мне нравится Европа, нравятся европейские порядки...

– **А проблем из-за маминой национальности у вас не возникало?**

– Скорее, как ни странно, из-за папиной. Я считался русским, и никаких проблем не было до тех пор, пока я не решил подать документы в Литературный институт. Я туда поступал дважды. Первый раз, в 1956 году, меня не приняли: не прошел творческий конкурс, и правильно – я тогда писал очень слабые стихи. Хотя, узнав об отказе, тут же послал в Литинститут телеграмму: «Не очень обрадован вашим ответом тчк не падаю духом зпт я буду поэтом тчк». А в следующем году я писал стихи уже получше, на вполне профессиональном уровне, и мне сказали, что я творческий конкурс прошел и допущен к экзаменам. А потом кто-то решил, что среди абитуриентов слишком много людей с подозрительными фамилиями, и я со своей фамилией на -ич попал в этот список. Хотя фамилия моя, как вы знаете, сербская.

– **Ну, на Западе, наверное, подобных казусов быть не могло?**

– На Западе как раз было много занятного. Когда я приехал в Германию, то часто рассказывал журналистам свою биографию: родился в Душанбе, жил на Украине, потом война, эвакуация, был рабочим. Появляется интервью: «Владимир Войнович, простой среднеазиатский рабочий...» При этом я член Баварской академии, 12 лет состоял в Союзе писателей... А тут еще в «Штерне» написали, что меня не приняли в Литинститут как еврея, и эти сведения попали в какую-то базу данных. И перед моими статьями и интервью стали появляться врезки: «Владимир Войнович, простой среднеазиатский рабочий, отягченный еврейской фамилией, вынужден был бежать из Советского Союза». Получалась какая-то глупость, а сделать ничего нельзя. Друзья советовали подать в суд – но с чем тут судиться?

При этом я попадаю в ложное положение. Немцы тогда стали принимать евреев и давать им какие-то льготы. И получается, что я все время был русским, а тут переключился в еврея. Это во-первых. Во-вторых, я все-таки политический изгнанник и уехал вовсе не из-за еврейского происхождения, да и вообще, у носителей еврейских фамилий бывали сложности с приемом на учебу или работу, но все же не такие, чтобы из-за них бежать.

И эта ерунда продолжалась много лет, что меня ужасно злило. Когда отмечалось мое 60-летие, мюнхенские власти устроили мне выступление, и в местной газете появилось объявление. Соседка принесла, кричит: «Вот, тут про тебя написано!» Жена взяла, глянула, и вижу: прячет куда-то. Я у нее газету отобрал, читаю: «Здесь будет звучать настоящая русская речь! Таджикский сатирик прочтет отрывки из своих произведений». Прихожу на вечер, а там на всех стульях разложено: «Владимир

Войнович, таджикский сатирик, отягченный еврейской фамилией...» Я окончательно разозлился, вышел на сцену и высказал все, что я об этом думал.



Вова Войнович. 1936 год

После вечера подходит ко мне журналист «Зюддойче цайтунг», очень солидной газеты, и говорит: «Я хочу взять у вас интервью». «Если, – говорю, – вы напишете, что я простой таджикский рабочий, то я вас просто убью». Он посмеялся, покивал понимающе. И спрашивает: «Где вы родились?» Я говорю: «Я родился в Таджикистане, но жил там только до восьми лет. Потом переехал в Запорожье, но началась война, и мы бежали от немцев». Выходит газета, и там написано: «Владимир Войнович родился в Таджикистане, но, когда ему исполнилось восемь лет, вынужден был бежать от немцев на Украину».

– В «Автопортрете» большой кусок посвящен армии. И из книги вычитывается, что этот период был для вас переломным, тем, что в фольклоре называется «инициация». Вы сами согласны с этим?

– В какой-то степени. В армии я начал писать, а когда пишешь, пытаешься осмыслить и себя, и окружающую действительность.

– Вы рассказываете, как, находясь на армейской службе, узнали, что вашу маму в период антикосмополитической кампании уволили с работы в вечерней школе. Тогда вы написали письмо с отказом от службы в армии государства, преследующего вашу мать, но спустили его в уборную. Насколько тогда с вашей стороны это был «системный» поступок? Ощущали ли вы себя уже в то время антисоветчиком?

– Антисоветчиком – не антисоветчиком, но Сталина, например, я не любил с детства. Когда мне было 14 лет, я спросил свою русскую бабушку, что она думает о Сталине. Она ответила: «Думаю, что он бандит». И я обрадовался, потому что считал так же. Но это неприятие было не особо осознанным и не носило протестного характера. Мне просто было противно смотреть на все эти портреты, на красный цвет везде, на надписи «коммунизм победит». А потом я переехал в Москву, подружился с разными людьми, мы

более подробно все это обсуждали, и тогда уже мои взгляды окончательно сформировались.

– Насколько проблемным было для вас, «простого среднеазиатского рабочего», вхождение в московскую литературную среду?

– Это, конечно, был резкий скачок, потому что я находился, можно сказать, на дне, а писательская среда по тем временам была вроде генеральской. Но стресса не испытывал. Дело в том, что я практически сразу вошел в группу людей, довольно близких мне по настроению, мыслям, мировоззрению, и быстро ощутил себя в этом кругу своим.

– В конце 1950-х – начале 1960-х вы некоторое время параллельно писали стихи и прозу. С какого момента вы начали ощущать себя прозаиком по преимуществу?

– Я всегда, с самого начала, хотел писать прозу. Кстати, считаю, что прозу писать труднее, чем стихи. Конечно, многие поэты со мной не согласятся, Бродский, например, говорил, что поэзия – искусство более высокое. Но я не согласен. Писать стихи, особенно короткие, лирические, а не большие поэмы – это как плыть по реке: видны оба берега, бакены, маяки. А проза – это выход в океан без компаса, без каких бы то ни было ориентиров, плыви куда хочешь. Но при этом надо выбрать единственный правильный путь.

Так вот, я хотел писать прозу. Но она у меня не получалась. Стихи уже получались, а проза – нет. Поэтому я думал, что, может, все-таки так и останусь поэтом. Но однажды я принес свои стихи в «Литературную газету», где сидел тогда Валентин Берестов, замещавший редактора отдела поэзии. И он всю мою подборку забраковал. Я спросил: «Что, плохие стихи?» «Нет, – ответил он, – стихи хорошие, но это стихи прозаика». Через некоторое время я написал «Расстояние в полкилометра», встретил Берестова – это было в Тарусе, – затащил к себе и прочел ему этот рассказ. Он радовался больше меня: «Вот, я же говорил!..»

И поскольку я хотел писать прозу, то решил, что, как только у меня начнет получаться, брошу стихи. И когда я написал свою первую повесть и она вышла в «Новом мире», я стихи бросил и 25 лет вообще их не писал. А потом опять начал.

– «Трибунал», который кажется мне несомненной удачей, остается, если не ошибаюсь, вашим единственным драматическим опытом. Почему вы не пробовали себя больше в качестве драматурга?

– Не совсем так. Я написал две пьесы по собственным вещам еще до «Трибунала», потом сочинил одноактную пьесу «Фиктивный брак». Но это и все. Хотя некогда режиссер Леонид Варпаховский уверял меня, что я прирожденный драматург. Как говорила одна моя подруга: «Вова, ты хорошо пишешь реплику». Меня действительно когда-то в литературе интересовали больше всего диалоги, и я старался именно через них передавать характеры. Я ведь драматургию всегда любил, в детстве запоем читал Островского.

А «Трибунал» мне немного жалко, потому что он по сюжету все же остался в советском времени. Я даже размышлял над тем, как бы его осовременить, сделать сегодняшним. И до сих пор иногда думаю, не приняться ли за эту работу, но как-то все руки не доходят.



Прощание с друзьями перед отъездом в эмиграцию.

Декабрь 1980 года

Кстати, спектакль по «Трибуналу» шел в Театре сатиры, и в результате Плучек сам его и закрыл, потому что Горбачев обиделся. Актер, игравший Секретаря, который потом становится Председателем суда, начал подражать Горбачеву, дикцию его имитировать. Спектакль посмотрела дочка Горбачева и ушла, хлопнув дверью. А Горбачев на одном из последних пленумов ЦК потом жаловался, что Войнович пишет, будто в Кремле ничего не изменилось. Хотя я как раз относился к тем, кто считал, что перемены очевидны.

– В «Автопортрете» вы пишете, что если бы составляли свое «Избранное», то взяли бы туда «Хочу быть честным», «Путем взаимной переписки» и «Чонкина». То есть ваши вещи, напечатанные здесь и за границей, вещи – условно – «новомирские» и диссидентские, вы не разграничиваете?

– Неужели я так написал?.. Я бы все-таки и «Шапку» туда включил, и «Москву, 2042». Наверное, это от настроения зависит...

Да, я не разграничиваю свои «периоды», потому что в сам- и тамиздате продолжал делать то же, что делал, когда мог публиковаться здесь. Я не эмигрировал в душе, не пытался, например, описывать западный мир. Какие-то замыслы у меня с предыдущих времен оставались, и я их дальше развивал.

– Когда вы начинали писать «Чонкина», вы предполагали, что это будет эпическая трилогия, с таким временным охватом?

– Нет, не предполагал. Хотя я с самого начала думал, что это будет большая книга, и намеревался довести историю Чонкина до 1956 года – как он живет в деревне, потом попадает в армию, в плен, в лагерь, откуда как раз в 1956-м и выходит. А когда я пожил за границей, то увидел там так много Чонкиных из второй эмиграции, что понял: вот куда его судьба могла забросить! И первоначальный замысел несколько подправил.

– Что из той литературы, с которой «Чонкина» обычно сравнивают, вы читали на момент начала работы над романом? Со «Швейком» понятно, а Хеллера, «Уловку-22», например, вы тогда знали?

– Честно говоря, я и потом ее не осилил, хотя несколько раз пробовал читать и по-русски, и по-английски. Американцы считают, что это великая книга, – может быть. Я ведь капризный читатель – начинаю читать, и если меня не захватывает, то бросаю.

А предшественники Чонкина – ну да, Швейк, Тиль Уленшпигель, Дон-Кихот в какой-то степени, обязательно русские сказки...

– **В «Автопортрете» есть такая примерно фраза: «Если когда-то 60-е годы XX века будут исследовать так же подробно, как 60-е годы XIX века (в чем я сомневаюсь)...» Почему вы сомневаетесь?**

– В СССР был огромный интерес к 1860-м годам как к истокам революционного движения. А сейчас к 60-м годам прошлого века у нас отношение скорее презрительное, хотя я не понимаю почему. Шестидесятники воспринимаются как какая-то партия, которая не сделала того, что от нее ожидали. А это вовсе не партия, а сообщество разношерстных людей, каждый сам по себе.

– **Как вы сегодня оцениваете «Новый мир» Твардовского: это было явление литературное или все же в первую очередь социальное?**

– Социально-литературное, я бы сказал. Некоторые люди, в основном из следующих поколений, утверждают, что того явления, которое называлось «оттепелью», вообще не было. Оно было, конечно. Была глубокая, затяжная зима при Сталине, а потом таяние снега, первая травка, первые либеральные веяния. И «Новый мир», сам Твардовский – они очень соответствовали этому времени и этим веяниям.

В отличие от шестидесятников столетней давности, они не были враждебны режиму, они просто хотели, чтобы он стал более либеральным, более человечным, более демократичным – даже не в смысле демократических преобразований, а скорее, большего демократизма внутри самой системы: чтобы, скажем, начальники не ездили на таких длинных машинах с мигалками, чтобы они были ближе к народу или еще что-то в этом духе. Они, кстати, очень смотрели на прошлый век, на шестидесятников, на некрасовский «Современник», сравнивали себя с тем кругом, и это было поводом для их самоуважения. Хотя Твардовский, конечно, оставался продуктом своей эпохи. Однажды на дне рождения друга он встал и произнес первый тост: «За нашу советскую власть» – вместо того, чтобы все-таки начать с друга.

– **Что, на ваш вкус, осталось от той литературы как литературы?**

– Кое-что осталось... «Один день Ивана Денисовича», «Факультет ненужных вещей» Домбровского, какие-то вещи Абрамова, два рассказа Александра Яшина: «Рычаги» и «Вологодская свадьба», что-то Гранина. Из более молодых – Казаков, Аксенов, Георгий Семенов, Владимов... В общем, я думаю, можно составить неплохую антологию.

– **Кстати, об Аксенове. В «Автопортрете» вы подробно описываете «новомирский» круг и практически не касаетесь круга «Юности». Насколько вы с ним соприкасались?**

– Соприкасались конечно – встречались, общались, выпивали. Но все-таки это были две разные группы. Мы были в поверхностно-приятельских отношениях, но тесно общались все же внутри своих групп. Кроме того, были писатели, не

принадлежавшие ни к той, ни к другой группе, с которыми я тоже общался, – например, Юрий Казаков, Трифонов.

– **А литературно вас интересовало то, что делают авторы «Юности»?**

– Мне нравились рассказы Аксенова, больше, чем «Коллеги» и «Звездный билет».

– **А как вы тогда относились к либералам и полулибералам старшего поколения – скажем, к Симонову, Эренбургу?**

– Скорее положительно. Конечно, у них у всех были какие-то грехи, которые мне было трудно оправдать. Но я различал то, что они пишут, и то, что они делают. И в этом смысле к Эренбургу я, наверное, относился лучше, чем к Симонову. Хотя и к Симонову неплохо.

– **В «Автопортрете» вы довольно презрительно отозвались о «деревенщиках» как о разрешенной фронде. Художественно ни Распутин, ни Белов вас не трогали?**

– Белов ранний мне нравился, особенно «Плотницкие рассказы». «Бухтины вологодские» уже меньше. А потом я прочел «Все впереди» – это просто кошмар. Он невероятно зазнался и к тому же начал следовать определенной идеологии, а когда писатель становится идеологом, ему изменяет вкус. Первая фраза этого романа: «Самолет долго выруливал куда требовалось, наконец стих». Ну, писатель должен же понимать, что выруливают, выезжают, выплывают откуда-то, а куда-то – заруливают или подруливают. И философия такая дремучая, даже помимо антисемитизма, – герой этот, который мучается и страдает, гадая, ходила его жена в Париже на стриптиз или нет.

А раньше, в 1970-х, у меня было идеологическое неприятие этой группы. Нас повыгоняли из Союза писателей, потом из Советского Союза, но при этом все показывали на «деревенщиков» и говорили: «Вот настоящие диссиденты! Вот настоящая литература!» У них была такая репутация, что они нравились и начальству, и не начальству. Помню, выступаю я в Бостоне, и какая-то еврейская женщина спрашивает: «А как вам Гаспутин нгавится?» «Никак», – отвечаю. «А мне так нгавится!..» Распутина, в отличие от Белова, я вообще читать не могу.

– **Шукшина или Астафьева вы как-то выделяете из этой группы?**

– Шукшина выделяю, а к Астафьеву совершенно равнодушен, он очень преувеличенный писатель. Просто он пишет очень зло, и эта злость иногда кажется талантом. Правда, он человек совестливый. Астафьев был единственным из них, кто, когда речь зашла о возвращении гражданства мне и другим вынужденным эмигрантам, сказал: «Хотя мне Аксенов и Войнович не нравятся, но гражданство им надо вернуть». Мне эта позиция очень близка. Если бы Астафьева или Белова с Распутиным лишили гражданства, я тоже требовал бы, чтобы им его вернули.

– **А питерцы, Бродский и его компания, Битов – их вы знали тогда?**

– Практически нет. Бродского я знал очень плохо. Честно признаться, когда я бросил писать стихи, то практически перестал читать их. И поэтому, когда я видел что-то

написанное столбиком, то даже не смотрел. А вообще, ленинградская школа казалась мне какой-то чуждой. Я не отрицаю ее достоинств, но чем-то они отличались от нас.

– **Почему вы пишете, что не ощутили себя до конца своим в диссидентской среде?**

– Диссидентская среда вначале была более или менее однородной. Это были люди, которые выступали в защиту других людей: кого-то сажают, они заступаются, потом их сажают, кто-то заступает уже за них и так далее. И пока это касалось только правозащиты, мне это было довольно близко. А потом выяснилось, что в этой среде очень ценят то, что принято называть гражданским поступком. Вот если ты что-то скажешь, подпишешь, выйдешь на площадь, а еще лучше самосожжешься – тебе будут аплодировать. А литература как таковая – она для них на периферии. Я не хочу говорить про всех диссидентов, среди них были люди, которых я очень уважал – Сахаров, генерал Григоренко, – но я видел, что литература многим из них не очень интересна.

И когда «Чонкин» появился, они были склонны рассматривать его скорее не как художественное произведение, а как антисоветский памфлет. Все мы писали тогда открытые письма, в том числе и я – и в «Чонкине» увидели такой жест, вроде открытого письма. А я все же ожидал немного другой реакции.



С Отаром Иоселиани. Мюнхен

Кроме того, я заметил, что если я в это дело погружаюсь, то перестаю мыслить художественно. У меня был такой период, когда я писал письма Брежневу, Андропову, – по счастью, я их потом почти все выбросил, – и думал уже в этой стилистике. Меня это раздражало – я хотел оставаться прозаиком. Поэтому я стал внутренне дистанцироваться, уже к концу жизни в Москве. Я вступил было в московское отделение «Эмнисти Интернэшнл», которое возглавлял сначала Валентин Турчин, затем Владимов, но после от него отошел. Понял, что не хочу состоять ни в каких организациях и, честно говоря, не хочу выходить на площадь. Еще до всякого диссидентства один друг меня спросил: «А ты хотел бы выйти на площадь и развернуть плакат – “Долой что-то там!”?» Я уже и тогда понимал, что ни за что не хотел бы, я вообще человек не митинговый.

А потом, когда я попал за границу, там никакого единства не было. Если говорить о литераторах, то это была жестокая борьба амбиций, в которую мне совсем не хотелось включаться. Поэтому там я тоже от всех отстранился.

– **Борьба индивидуальная или партийная?**

– Точнее сказать, групповая. Кто-то к кому-то примыкал, но нас там было слишком мало для партий. Ну, вокруг Максимова были какие-то люди, но тоже очень немного. Может быть, самая большая партия была в Нью-Йорке, вокруг Довлатова – Вайль, Генис. Но они как раз ни с кем не враждовали.

– А как вы относитесь к прозе Довлатова?

– Очень хорошо, хотя я его не сразу признал. Во-первых, мне его отец присылал в свое время какие-то рассказы, совершенно неинтересные. А во-вторых, сам Довлатов подарил мне как-то свою книжку и написал в дарственной надписи, что он, как и я, тоже пишет только о том, что видит, и упомянул «Иванькиаду». А я как раз считал, что это неправильно, главное достоинство писателя – это художественный вымысел. И поэтому отнесся к этой книжке невнимательно. Но в конце концов вчитался и признал его. Поэтому сначала я ему не отвечал, мне даже было неловко перед ним, потом я его где-то встретил и сказал, что я его высоко ценю. Он был смущен и рад, потому что ожидал от меня этого. А я ему этого долго не говорил.

– А своим литературным «родственником» вы его ощущаете?

– Не знаю, я как-то не задумывался. Может быть... Но все-таки у нас разный подход. Несмотря на то что я довольно много написал вещей автобиографических, я все-таки считаю главной своей заслугой те произведения, где у меня совершенно вымышленные характеры, ситуации, сюжеты. А он держался за свою биографию.

– Но при этом радикально ее переинчивая...

– Ну, конечно, иначе просто ничего бы не получилось.

– В «Автопортрете» вы упоминаете Марка Азбеля, Виктора Браиловского. Вы контактировали с отказнической средой?

– С Браиловским меньше, а с Азбелем, с Воронелем, с Феликсом Канделем – весьма активно. С Щаранским я познакомился незадолго до его ареста... Правда, Азбель меня очень сильно подвел, я описал этот случай в «Автопортрете». Он сказал, что ему должны коротко позвонить из Израиля, и попросил разрешения воспользоваться моим телефоном. Я разрешил, он на следующий день пришел еще с четверью еврейскими активистами, и они часа два или три, используя какой-то дурацкий примитивный шифр, диктовали звонившему из Израиля сведения обо всех, кто получил разрешение на выезд. После этого мне выключили телефон. Причем они вполне понимали, что делают, – помню, как они уходили потупив глаза, как будто изнасиловали кого-нибудь.

– Вы пишете, что если бы задним числом могли переиграть свою жизнь, то эмигрировали бы году в 1968-м. Почему?

– На протяжении долгого времени я мало ценил свои возможности. А все-таки, если мне предназначено что-то написать, то нужно было отнестись к этому с большей серьезностью. Я потратил на борьбу, на всякие гражданские страсти много сил, мне было потом трудно восстанавливаться. Я долго сопротивлялся власти, не хотел уезжать, а когда наконец уехал, то увидел, что сопротивление было бессмысленным. Они мне что-то делают, я в ответ пишу открытые письма – а что толку, какова моя роль? Конечно, если бы я думал, что все это очень важно для страны или еще что-то в таком роде, – но я так не думал. И я понял, что находиться в состоянии противостояния с этой

глупой силой непродуктивно, надо было думать о том, как создать себе условия для нормальной работы.

– **А почему вы вернулись из Германии? Вы же там выросли в быт...**

– Ну нет, не врос. И потом, если вернуться к вопросу о национальности, – все же я чувствую себя русским. Я не люблю громких слов, но судьба этой страны мне безразлична. Во время перестройки я хотел еще раньше вернуться, принять какое-то участие в происходящем. Наверное, я недооцениваю свой характер, я ведь очень ленив и непоследователен – начинаю что-то, а потом быстро остываю, мне все надоедает, появляется желание отойти в сторону. Так что, может, это были иллюзии, но желание такое возникало.

А потом, это все-таки страна, где меня больше всего читают. Была, кстати, еще одна страна, где меня много читали, – Югославия. Добрица Чосич, который потом стал президентом Югославии, говорил мне, что самый популярный писатель в стране – он, а я на втором месте. Но мне этого было достаточно.

– **Вам не хотелось беллетризовать свои воспоминания, как это сделал, скажем, Аксенов в своем последнем романе?**

– Да, было такое желание. Когда пишешь воспоминания, кого-то затрагиваешь, кто-то на тебя обижается... Аксенов, наверное, тоже отчасти из этого исходил. Но потом я решил, что все же стоит рассказать все как есть. Кроме того, был уже большой задел – газета «Новые известия» предложила мне написать для них автобиографию, и я написал глав семьдесят.

– **А как-то подстраховаться от возможных обид не хотелось? Например, обозначить персонажей инициалами?**

– Я думал об этом одно время. Но потом понял, что некоторых не хочу скрывать за инициалами, тогда, наверное, и других было бы нечестно так обозначать. И потом я же не возвожу ни на кого напраслины, не выдумываю. Бывает, что автор хочет изобразить человека плохим и приписывает ему все возможные недостатки. Но я ведь не делаю этого, пишу как есть. Скажем, в «Автопортрете» мой близкий друг Олег Чухонцев, поэт, которого я высоко ценю за талант, вкус и ум. Но вот был неудачный эпизод в Америке с его участием – и я вынужден описать, потому что так это было.

– **А современную русскую литературу вы читаете, следите за ней?**

– Читаю, но не могу сказать, что слежу. Признаться, такой вещи, чтобы я ходил и всем говорил: «Это надо прочесть», мне давно не попадалось.

ДО ВРАГА – ТРИДЦАТЬ МЕТРОВ

Āēāēī ēd Šēyōō ādī āī

В Москве на Новодевичьем кладбище похоронена Зоя Космодемьянская. Над могильной плитой – фигура отважной комсомолки. А рядом, буквально в полуметре от ее могилы, стоит невысокий памятный обелиск. На нем небольшая овальная фотография юноши в красноармейской ушанке и с автоматом. Вокруг снимка надписи: «Ты отдал жизнь свою за Родину», «Любимый и единственный сын». Ниже – даты рождения и смерти: «1923–1943 / Капитан Владимир Григорьевич Шейнцвит / Член ВКП(б) / Орденосец».

Почему молодой человек похоронен рядом с Космодемьянской? Входил ли в ту же разведдиверсионную группу, что и она? На запрос редакции Главное разведуправление ответило, что сведениями о Шейнцвите В.Г. не располагает, из чего следовало, что в их кадрах он не значился. ГРУ порекомендовало обратиться в Центральный архив Минобороны РФ, расположенный в Подольске.

Пока в ГУКе (Главное управление кадров Минобороны РФ) и в Центральном архиве готовили ответы на наши письма, я ознакомился с документами о деятельности советских разведывательно-диверсионных групп на московском направлении. Именно здесь, в Подмосковье, действовала Зоя Космодемьянская. То, что Володю похоронили рядом с ней, не могло быть случайностью. В 1943 году территория Новодевичьего кладбища была относительно свободна. 4 августа 1941 года начальник разведотдела штаба Западного фронта доносит начальнику ГРУ Красной Армии: «На территорию противника заброшено 489 человек. За последние десять дней переброшено через линию фронта 17 партизанских отрядов – 469 человек. Переброшены 12 мелких диверсионных групп – 164 человека».

Через два месяца разведотдел Западного фронта докладывает о том, что сделали эти отряды и группы. Приводятся десятки фамилий, Шейнцвита среди них нет. А вот Зоя упоминается в списке группы П.С. Проворова и в донесении Б. Крайнова: «...со мной остались Космодемьянская, Клубков. Я решил с двумя товарищами поджигать объекты. Дошли до Петрищева и зажгли 4 дома. На место сбора Клубков и Космодемьянская не явились. Ждал до утра... Перешел линию фронта 29.11.41.»

Центральный архив ответил быстро: у нас хранятся личное дело Шейнцвита В.Г., учетно-послужная карточка, карточка со сведениями о его гибели. Разрешение на работу с личными делами дает ГУК. И последний не задержал с ответом: «Главное управление кадрами Минобороны России не возражает против допуска журналиста “Лехаима” к ознакомлению... С учетом требований Федеральных законов “О персональных данных” и “О государственной тайне”».

Мне посоветовали, где искать нужные документы, помогли снять копии. Иные бумаги заполнялись от руки. Тогда, почти семьдесят лет назад, никто не думал об истории: не до того было – враг стоял у Москвы. Основной документ – автобиография. Володя – левша, писал с характерным наклоном влево. И с первых же строчек – сюрприз: родился 10.06.1923 года в... Берлине! Отец и мать работали в торгпредстве и полпредстве СССР в Германии. Учился в немецкой школе, где изучал еще и французский, дома говорили по-русски, так что с детства в совершенстве владел тремя языками. В 1929 году

стал пионером, что послужило одной из причин отъезда семьи на родину. Мальчика всячески преследовали отпрыски фашистов, его нередко избивали. В 1937 году семья вернулась в Москву, Володя окончил школу № 336 и поступил в 1940 году на биологический факультет МГУ. Был комсомольцем, занимался общественной работой и даже стал заместителем секретаря университетского комитета ВЛКСМ. Дружил со многими детьми немецких политэмигрантов, перебравшихся в Москву, со многими был знаком еще в Берлине.

Грянула война, Володя записался добровольцем в студенческий батальон, но на фронт его не отправляли, и потому в начале ноября 1941 года он добровольно пошел в действующую армию.

Эрудированного парня назначили начальником библиотеки 360-й стрелковой дивизии. Видимо, начальство решило присмотреться к солдату, бегло говорящему по-немецки и превосходно знающему географию Германии. Через три месяца после настойчивых просьб Шейнцвита зачисляют в политотдел 4-й ударной армии диктором-переводчиком. Переводчик в армии – понятное дело, а диктор? На вооружении – без кавычек! – наших войск находились звуковещательные станции МГУ-39 (мощная громкоговорящая установка). Использовались они для ведения пропаганды среди солдат противника. Схематично это выглядело так: подыскивалось место впереди боевых порядков, поближе к вражеским позициям. Ночью как-то обустраивалось: вырывали окопчик, маскировали его, если позволяли условия, прикрывали валуном. Обслуживали станцию несколько человек: начальник, оператор, помощник оператора. Но главным действующим лицом был диктор. Он готовил текст на немецком, должен был незаметно, с наступлением темноты, пробраться к этому окопчику и вести передачу через рупор. От него требовалось немалое мужество – нередко укрытие располагалось в сотне метров от немецких окопов. Часто, только заслышав первые слова, противник открывал огонь, чтобы поразить ведущего передачу или заглушить ее. Надо было переждать стрельбу и продолжить свою работу. Один мой хороший друг, недавно ушедший из жизни Александр Блиндер, некоторое время работал на такой станции. Хотя он и не жил в Германии, но прилично знал немецкий. Он рассказывал: «Дважды вести передачи из одного и того же места не рекомендовали. Немцы пристреливали эту площадь. В последнюю мою передачу я только произнес “Ахтунг! Ахтунг!”, как рядом тут же взорвались две мины. Очнулся только в госпитале – ребята открыли ответный огонь и выволокли меня. А так запросто мог достаться немцам, до их траншеи было не больше 150 метров».

«Провел около 2000 устных и звуковых передач», – напишет Володя в ноябре 1942 года. Вдумайтесь в эту цифру: две тысячи раз не в тишине студии за сотни километров от фронта, а на передовой, точнее, за своей передовой, близ окопов противника, вести с ним разговор и убеждать его, а он в это время по тебе стреляет. И не из духового ружья, а из орудия, миномета, пулемета, автоматов. Но чтобы передать убедительный материал, надо его еще и подготовить.

Шейнцвит, как и его коллеги, все делал сам. А передача не на 5–10 минут, а на час-полтора. А если еще она адресована определенной воинской части, то нужен, так сказать, «местный» материал. Где его взять? Допрос пленного, письма, дневники, да еще подумать над тем, чтобы семьи невольных авторов не пострадали. Смешно было ожидать, чтобы после самой наилучшей передачи в 1942 году немцы группами побежали на нашу сторону с поднятыми руками. Но посеять в их душах сомнение, заставить задуматься... И как следствие – уже не так слепо выполнять приказы, подумать: а ради чего я должен здесь погибнуть? Нужна мне эта война? Вот ради такого прозрения германского солдата ночи и дни напролет работал Володя Шейнцвит.



Фотография В.Г. Шейнцвита на памятном обелиске на Новодевичьем кладбище

В отчете за май 1942 года начальник политотдела дивизии указывает: «22–23 мая под д. Лобок проведено 14 передач. Продолжительность – от 1 часа 20 мин до 1 часа 30 мин. 25 мая 8 передач в районе г. Велиж» (именно на этих участках воевал Шейнцвит). А вот строки из донесения самого Володи: «За период с 11 по 17 июня через звукомашину проведено 156 звуковых передач для войск противника. Три дня с разных позиций производили передачи для солдат и офицеров 547-го пехотного полка 328-й германской дивизии. В ночь с 11 на 12 июня машина работала в районе д. Поздняково. Расстояние до противника 700–800 метров. 27 звукопередач. 12 июня – 28 передач, 13 июня – 26. 14 июня – 27 и 15 июня – 24. До немецких траншей – 800–1000 м, 1500 м. Передачи для солдат и офицеров 205-й пехотной дивизии, для гарнизона в Демидове».

Звуковая машина работала безотказно, слышимость – отличная. Разведчики, находившиеся в трех километрах в немецком тылу, потом рассказывали, что прекрасно слышали передачу. А были еще и такие, что слышали голос Шейнцвита за 6–8 км от места передачи.

Старший политрук И. Леонов пишет краткий отчет о звуковых и устных передачах с 31 мая по 2 июня 1942 года для войск противника, расположенных в г. Велиже, с участка обороны нашей 332-й стрелковой дивизии. «Всего проведено 45 звуковых передач через МГУ-39 и 13 устных через рупор. Текст читал техник-интендант 2-го ранга Шейнцвит с 22.30 до 23.30. Расстояние до противника 30–40 метров. Слышимость хорошая. Ветер слабый, погода ясная. Противник прерывал неоднократно передачи ружейно-пулеметным огнем. Сводку Информбюро о боях под Харьковом слушал внимательно».

«30–40 метров»!.. Любой тщедушный солдатик запросто добросит гранату. И снайперская винтовка не нужна – у автомата на такой дистанции убойная сила. Да просто добежать или доползти до дзота с установкой немцу потребовалось бы не более пяти минут. Вряд ли для охраны диктора выставляли роту. Фронтовики знают, что такое «30–40 метров» до немца.

А как реагировали немецкие солдаты? «В различных местах по-разному, – отметил Володя. – В районе д. Поздняково противник обычно вечером и ночью ведет пулеметный и минометный огонь. Во время передач не произвел ни одного выстрела. На участке Ямны в первую ночь раздавались только одиночные выстрелы. Во вторую ночь противник открыл минометный огонь, ощупывая им всю деревню. Одна из мин разорвалась на старой позиции. В Демидове противник в первую ночь в начале передач открыл ураганный пулеметный огонь, но в середине прекратил его. Во второй вечер пришлось менять позицию, т. к. противник днем вел пристрелку этой позиции артиллерией. Ночью появился немецкий самолет-корректировщик, летевший на очень незначительной высоте. Он бросил примерно в ста метрах от работавшей станции красную ракету. В окоп, в котором находились старший политрук Бикмаев, инструктор политрук Зильберман и начальник машины младший лейтенант Дроздов, упала немецкая ружейная граната, но не разорвалась».

В конце донесения справка: «15 звуковых передач провел техник-интендант 2-го ранга Ретушняк, 141 – техник-интендант 2-го ранга Шейнцвит».

Володе необходимо было знать, насколько доходчивы их звуковые передачи. Может, все это впустую, напрасно рискуют жизнью? Ему приводят очередного пленного, разведотделу армии позарез нужны определенные данные, но Шейнцвит успевает спросить его и про передачи. Ответы разные, но из них следует: немецкие солдаты слушают, что-то не воспринимают, о чем-то рассуждают, даже спорят, но главное – слушают! И германское командование встревожено: даже снарядило самолет со специальной аппаратурой, чтобы обнаружить ненавистную звуковую станцию. Нет, не напрасно они работают ночи напролет, постоянно рискуя быть убитыми или того хуже – попасть в плен.

На армейском совещании Шейнцвит выступает с докладом о влиянии войны на моральное состояние немецкого тыла. Много фактов, эпизодов, почерпнутых из допросов пленных, писем, дневников солдат и офицеров. И конечно, он говорит о качестве наших передач: «Надо готовить хорошие дикторские кадры. Потому что дикторы с плохим произношением или с еврейским акцентом войсками противника слушаются без внимания, о чем рассказывают сами военнопленные». Согласитесь, из уст еврея услышать такое было удивительно. Володе Шейнцвиту бросить подобный упрек нельзя – у него идеальное произношение. Судя по фамилиям, упоминавшимся в различных документах, среди дикторов было немало евреев. И скорее всего, они в Германии не жили. Вроде мелочь – акцент, а вот поди же, слушают без внимания.

Удостоверение личности №

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ПОЛИТРАБОТНИКА 1734/51-С

№ личного дела _____ № партбилета _____

Фамилия Шейнцвит, имя Владимир

отчество Тригорьевич Год рождения 1918 Место рождения _____
г. Берлин Национальность _____

Партийность и партстаж _____ С какого времени в ВС 1941 Общее и специальное образование _____
(что и когда окончил и специальность по образ.)

Военное и военно-политическое образование _____
(что и когда окончил)

Какими иностранными языками владеет (наименование языка, степень знания - хорошо, слабо) немецкий - хорошо, слабый

Состав и почтовый адрес семьи Отец - Шейнцвит Тригорьевич
Лобное поле, г. Москва, Б-Косовский, д. 4, кв. 18.

Воинское звание	Дата присвоения	№ приказа	Чей приказ
<u>полковник</u>	<u>1.7.1942.</u>	<u>026/</u>	<u>4 Урал фронт</u>
<u>капитан</u>	<u>30.7.1943.</u>	<u>0286/</u>	<u>Калининский фр.</u>

Список номеров ЛДБНО от 16.10.1948г.

Учетная карточка политработника В.Г. Шейнцвита

Одна из обязанностей Владимира – составление листовок, адресованных немецким солдатам. Дело это оказалось не таким простым, как представлялось. Мало хорошо владеть немецким языком, надо иметь представление о тех, к кому обращаешься, знать их образ жизни, находить понятные им слова, обороты, сравнения. Чтобы солдат понял: к нему обращаются те, кто прекрасно осведомлен о его житье-бытье. К сожалению, многие составители таких листовок, хотя и сносно знали язык и могли грамотно построить фразы, никогда не были в Германии.

Шейнцвиту в этом отношении было легче, и он старался, чтобы его листовки были доходчивыми. В одной из характеристик начальник отделения политотдела армии пишет: «Старший лейтенант Шейнцвит <...> немецкий язык знает в совершенстве, Германию знает хорошо. Составил ряд программ звуковых передач и текстов листовок для войск противника, которые в свое время как образцовые были разосланы Политуправлением КФ (Калининского фронта. – В. Ш.) в другие армии. В работе товарищ Шейнцвит аккуратен и проявляет много инициативы».

Но вот листовка составлена и отпечатана. Как ее доставить «адресату»? Самый простой – самолетом. Простой, но не всегда эффективный. Вроде сбросили над расположением немецкой части, а ветер унес их далеко в чистое поле или отнес на лес. Отправляясь ночью с группами в немецкий тыл на разведку или для захвата «языка», Володя берет пачку и, подползая к колючей проволоке перед немецкими позициями, аккуратно прикрепляет листовки к колючкам. Когда рассветет, немецкие патрули будут обходить свои позиции, снимут их, наверное, сдадут офицеру, а некоторые все-таки сунут в карман: интересно все же, чего там пишет Иван Фрицу. Кто-то потом выбросит, а кто-то и оставит – листовка не только бумажка с текстом, но еще и пропуск для сдачи в плен.

Не каждую ночь уходили группы в немецкий тыл. Да и опасно было: нередко колючую проволоку натягивали близко от своих окопов. Часто «колючка» была с «секретами»: только прикоснешься – издает сигнал, и тотчас по тебе открывают огонь. Но листовки распространять надо. И Володя поражается: до чего смекалистый народ у нас!

Один умелец даже предложил стрелять из рогатки: камешек оборачивали листовками. Попробовали. Долетает! Еще один смастерил... коробчатый змей. Видимо, в детстве увлекался ими. Позже пленный показал, что эти змеи особенно досаждали их офицеру. Он лично расстреливал змеи, когда они появлялись над его окопами. Еще один добровольный помощник смастерил... небольшие плотики, на них укладывали листовки и пускали по течению. Благо речушек в округе было много. Получали сведения: немцы вылавливали такие кораблики. Знать, было любопытно: а что там?

Убедить весной и летом 1942 года немецкого солдата в том, что Германия ведет преступную войну и что поражение рейха неизбежно, было почти невозможно. Как рассуждал немец в 1942-м: что бы ни писали русские в своих листовках, танки вермахта несутся к Волге, альпийские стрелки готовятся водрузить флаг со свастикой на Эльбрусе, в Крыму лечатся германские солдаты, Киев – тыловой город, Ленинград задыхается в блокаде. Да вот я сам не так уж и далеко от Москвы, а Берлин где? Да, отступили немного, выпрямили фронт, в этом русском помог проклятый мороз. Скоро все равно возьмем Москву. Фюрер обещает сравнить ее с землей. А он умеет держать слово.

В апреле 1942 года Володя Шейнцвит беседует с бойцами и командирами 49-й отдельной стрелковой бригады. А чтобы беседа была доходчивей, взял с собой... пленного – ефрейтора Карла Б. Дескать, послушайте немца, и вы поймете, с кем воюете, так сказать, из первых уст. И на ефрейтора посыпался град вопросов. Спросили: кто, по его мнению, начал войну? «Германия, – ответил немец, – но потому, что Советский Союз собирался напасть на Германию». Задали и такой вопрос: как относится рабочий класс Германии к Гитлеру? И пленный, который знает, чем ему грозит правдивый ответ, тем не менее говорит: «Гитлер пользуется большой популярностью у рабочих».

Конечно, листовки и звуковые передачи не были бесполезны, заставляли о чем-то задуматься. В одном из документов прочитал: в марте 1942 года в подразделения дивизии добровольно перешли шестеро солдат и унтер-офицеров. Только шестеро или уже шестеро? Через два года их станет тысячи, а в 1945-м количество пленных исчислялось уже сотнями тысяч. Да-да, несомненно, «катюши» и танки Т-34 оказались очень эффективными аргументами. Но и пропаганду не будем сбрасывать со счетов. Важно было обращаться не вообще к войскам, а к солдатам определенных частей. Так, разведка установила, что 360-й дивизии противостоят егерский батальон и так называемый «искупительный» батальон (в «искупительный» попадали за мелкие прегрешения, состоял он из немцев, австрийцев, поляков). Володя пишет листовки, обращенные к этим солдатам, приводит факты, известные им от пленных и перебежчиков. Иногда тексты листовок передавались через рупоры звуковещательных станций. Однажды Шейнцвиту сообщили: сегодня ночью, прослушав передачу, где приводились эпизоды, высказывания конкретных лиц, солдат Фриц Курцтуш перешел на нашу сторону.

НАГРАДНОЙ ЛИСТ

1. Фамилия, имя и отчество Шейнцвит, Владимир Григорьевич
2. Звание Старший лейтенант 3. Должность, часть Инжендер-оперативный полк Политуправления 4-й ударной армии
- Представляется к награде орденом Красной Звезды
4. Год рождения 1923 5. Национальность еврей 6. Партийность Член ВКП(б) с 1942 г.
7. Участие в гражданской войне, впоследствии боевых действиях по защите СССР и отечественной войне (где, когда) Участие в партизанских боях зимой 1941 года, боях за освобождение городов Вильнюс, Минск, М. Луки
8. Имел ли ранения и контузы в отечественной войне нет
9. С какого времени в Красной Армии с II 1941 г. 10. Каким РКВ звание полковник
11. Чем ранее награжден (за какие отличия) не награжден
12. Постоянный домашний адрес представляемого и награжденного и адрес его семьи Москва, Большая Космодемьянская пер. 4 кв. 18

I. Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг

По гитлеровским документам против освобождения тылового района 1. Великие Луки т. Шейнцвит В.Г. работает в составе оперативной группы Политуправления Калининского фронта по работе с партизанскими отрядами. В составе этой группы действует звуковещательная станция. Этой группе поручено работать с тыловыми противника, работниками с безразличными и убитыми все другие мероприятия оперативной группы. Шейнцвит проводил с ней чистки, ликвидацию и активным работником, ответственными и забото награжден. Работы и награду. В боях тыловой войск по тылу противника, активный инициативный и организаторский работы звуковещательной станции т. Шейнцвит проводил работы мужество и бесстрашие.

Генерал-майор Соколов
 Начальник полковник
 Политуправления полковник

19. января 1943 г.

Характеристика, выданная В.Г. Шейнцвиту начальником 7-го отделения политотдела 4-й ударной армии, старшим батальонным комиссаром В. Немчиновым. 31 декабря 1942 года

В автобиографии Володя пишет: «Участвовал в боях за Велиж (февраль, март, апрель, май 1942 г.), Радуницу (февраль, март)», перечисляет другие пункты. Разумеется, не сообщает, где ходил в атаку или сколько раз приходилось братья за оружие, когда лежал в окопчике с МГУ-39 впереди боевого охранения. Просто участвовал в боях, чего тут распространяться.

Начальник Политуправления Калининского фронта полковник Соколов – он возглавлял и специальную оперативную группу на том участке – более речист, хотя и очень лаконичен. Представляя Шейнцвита к правительственной награде, он отмечает: «Умелый, инициативный, активный работник; в боевых порядках войск под огнем противника обеспечивал бесперебойную и эффективную работу звуковещательной станции, проявил личное мужество и бесстрашие».

Подписано представление 19 января 1943 года. А уже на следующий день командующий войсками 4-й ударной армии генерал Галицкий от имени Президиума Верховного Совета СССР наградил старшего лейтенанта Шейнцвита Владимира Григорьевича орденом Красной Звезды. Как сказано в документе, за образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом доблесть и мужество. Боевые награды получили и другие члены этой звукопередающей установки. В отличие от других подобных документов, этот не публиковался, проходил под грифом «Секретно».

Владимир не только допрашивал пленных (в официальных протоколах это почему-то значится как опрос), но и знакомился с попавшими в наши руки документами, дневниками, письмами. И приводимые в передачах факты звучали правдиво – они были из жизни.

А однажды начальство получило от Шейнцвита «Приложение к протоколу опроса пленного обер-ефрейтора 328-го пехотного полка Ганса Шредера». Ганс оказался словоохотливым. На вопрос Володи, знает ли он анекдоты про руководителей Германии, «выдал» несколько.

Те, кто читал мемуары наших разведчиков или документальные повести об их деятельности, знают, что нелегалы все свои сообщения – «молнии» или аналитические записки – адресовали Директору (с большой буквы). Так именовался начальник ГРУ – Главного разведывательного управления Генштаба Красной Армии. Директору слали свои донесения Зорге, Филби, Радо, Гуревич, Кучински и другие. Нередко разведчик и не знал, кто именно в это время возглавляет ГРУ, то бишь кто сегодня Директор. Менялись руководители этой спецслужбы, увы, довольно часто. Кто-то становился маршалом, а иных реабилитировали посмертно.

Если бы я был Директором, непременно обратил бы внимание на молодого офицера, в совершенстве владеющего немецким с берлинским акцентом, с безупречными манерами, непринужденно контактирующего с немцами, побывавшего в боях, и пригласил бы его в свое ведомство. Подучил бы специфическим приемам, одел в немецкую форму, снабдил достоверными документами, легендой, «наградил» настоящим Железным крестом и перебросил в немецкий тыл, но поближе к передовой. Чтобы там пообтесался какое-то время, а потом направил, ну, скажем, в Берлин. Здесь с помощью Штирлица офицер-фронтвик, кавалер Железного креста устроился бы в военное ведомство, и вскоре еще на одной волне полетели бы шифровки на имя Директора.

Вот так вдохновенно я фантазировал перед двоюродной сестрой Владимира Евгенией Давыдовой. И услышал в ответ ошеломляющее:

– По сути, так и было. Я не знаю, какой Директор – в Москве ли, в разведотделе 4-й ударной армии или Калининского фронта, – но рассудил он примерно так. Вы не обратили внимание на то, что в личном деле Володи нет документов о том, чем он занимался после февраля 1943 года? Нет и приказа о присвоении ему звания капитана, других записей. Между тем, мне доподлинно известно, что он несколько раз переходил линию фронта.

– Он это рассказывал вам?

– Нет, конечно. Я в 1943-м сама была во фронтовом госпитале – медсестрой, в Москву вырывалась раз или два, общалась только с отцом Володи. Григорий Яковлевич и мой папа – родные братья. Папа был на фронте, а отец Володи работал в наркомате цветной металлургии. И только после смерти сына он рассказал об этом. И уже после кончины дяди Гриши немецкая форма оказалась у нас. Кстати, в последнюю «командировку» в немецкий тыл Володя уходил из квартиры отца в Большом Кисловском переулке. Он был нездоров, начальство отпустило его домой. Неожиданно позвонили и сказали, что надо срочно выехать, машина за ним послана. Григорий Яковлевич говорил, что сын еще не поправился. Но куда там... При переходе линии фронта обратно Володя заночевал в какой-то деревушке и подхватил там тиф. В Москве его положили в госпиталь, но спасти, увы, не удалось.

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

На Старшего лейтенанта ШЕЙНЦВИТА Владимира Григорьевича

Старший лейтенант ШЕЙНЦВИТ Владимир Григорьевич родился 1923 года, служащий, награжден в Чехии ВМВ(с) с 1942 года. Образование – окончил 1 курс Военного ордена Лейпцигского университета в 1941 году. По национальности еврей. В ВМВ и на фронте с ноября 1941 года, работал начальником библиотеки в 308-й стрелковой дивизии. С марта 1942 года работает директором-переводчиком звукозаписывающей станции ШТУ-39 армейского штаба связи при 7-м отряде ПТАРМ'а.

В течение всего времени тов. ШЕЙНЦВИТ выполняет обязанности инструктора отделения в воюющие подразделения ч. армии. Немецкий язык знает в совершенстве, Германские диалекты хороши. Читалши ряд программ звуковых записок и текстов историко-военного характера, которые в свое время, как определенная, были разосланы Чехословацким ВУ в другие армии. В работе тов. ШЕЙНЦВИТ активен и проявляет много инициативы. Дедикацирован и исполнительен. Имеет ряд отличительных заслуг.

Прошу утвердить тов. ШЕЙНЦВИТА В.Г. инструктором-переводчиком отделения по работе среди войск противника.

НАЧАЛЬНИК 7-го ОТДЕЛЕНИЯ ПОДПОЛКОВНИК
4-й УЛАРМ Д. АРМИИ
СТАРШИЙ БАТАЛЬОННЫЙ КОМАНДИР

/ ШЕЙНЦВИТ / *Шейнцвит*

31.10.42 г.

*Копия
21.11.42*

**Наградной лист В.Г. Шейнцвита.
19 января 1943 года**

У нас до прошлого года, – продолжает Евгения Давыдовна, – хранилась его немецкая офицерская форма – китель, брюки, фуражка, Железный крест и медаль. К сожалению, одежду съела моль, а награды сохранились. Можно предположить разные версии: почему в личном деле Владимира Шейнцвита нет документов об этой стороне его деятельности на фронте. Может быть, он докладывал устно, что узнал, что видел. И те, с кем он беседовал, как-то оформляли эти сведения. Но они шли, так сказать, по другому ведомству. Может, были и письменные донесения, проходили они, разумеется, под грифом «Секретно», который пока не снят и сегодня.

Хотя и прошло столько лет с тех пор, но, вероятно, еще живы действующие лица тех событий, и, чтобы невольно не повредить им, стоит повременить с рассекречиванием их имен.

Капитан Владимир Шейнцвит погиб осенью 1943 года. Ему только-только исполнилось двадцать лет. Единственный сын... Он не внедрялся в Ставку Гитлера и не сообщал Директору о секретных планах Верховного командования вермахта. Воевал в боевых порядках наших частей, добывал конкретные сведения о конкретном противнике на конкретном участке фронта: о численности и составе, о вооружении и моральном состоянии, работал над тем, чтобы это состояние сбить, ослабить. И это было очень важно, не менее важно, чем знать о директивах фюрера.

Давыдовна *Шейнцвит* *Копия* *21.11.42*

МОЙ ДЯДЯ МИША

יְעֹאֲבֵד אִיִּדְאָעֵעֵ

Пятого июня 1967 года вечером я играл со своим соседом по коммуналке в шахматы. Между тем радио говорило – вот только за давностью лет запомнил, было то Би-би-си или «Голос Израиля». Мои главные тогда источники политической информации. И не только политической. Все-таки с приоритетом Би-би-си. Я и сейчас помню густой голос Анатолия Максимовича Гольдберга. Визитная карточка Би-би-си. Целая эпоха. Еще были «Голос Америки» и «Немецкая волна». Но уже на вторых позициях. И другие станции тоже возникали, но эпизодически. У моего соседа были те же предпочтения. Тогда глушили только «Свободу»: тотально глушить стали через год – после Чехословакии.



Батальная сцена Шестидневной войны.

5–10 июня 1967 года

Вот уж не стал бы я играть сегодня при включенном радио. Услышанное заставило нас остановить часы. Потери противника ошеломляли. Израильтяне превращали изделия советского ВПК в металлолом, брали их в несметном количестве в неповрежденном виде, потом, кажется, даже и торговали – советское радио, захлебываясь, вещало об арабской победе над подлым сионистским агрессором, газеты, телевизор, собрания трудящихся, митинги протеста, доярки и сталевары, как мать говорю, как женщина, главная мировая тема, Голда Меир с Моше Даяном одесную и Абой Эвенон^[1] ошуюю шагнули в Москву с только что обретенных Сионских высот, к коим тщетно стремятся отягощенные грехами, попали в радушные объятия, восторженно приняты, стали совершенно своими, воспеты великими певцами и летописцами – Высоцким и Ерофеевым (Венедиктом, естественно). Израиль на глазах превращался в сверхдержаву, полную политического и метафизического зла, – пострашней Америки, что едва ли и возможно.

Я готовился к экзаменам, сидел дома, мог слушать «последние известия» из Израиля чуть ли не ежечасно: там оперативно перешли на новую сетку вещания. Было ощущение вторжения Истории в жизнь – вот именно так я и чувствовал: с повышенной

буквы! Взволнованный диктор читал: «По горной царственной дороге / Вхожу в родной Иерусалим / И на святом его пороге / Стою смущен и недвижим...»

Это когда мы вышли к Западной стене – Стене Плача. Такого Маршака я не знал. Стихотворение умеренных достоинств, но это я сейчас так говорю, а ведь как захватывало. «Голос Израиля» уверенно занял первую позицию. «Эвейну шалом алейхем» одолел Биг-Бен вкупе с торжественной трубой Иеремии Кларка[2].

О радостное воодушевление той поры! В фильме Калика «И возвращается ветер» есть сцена, где герой со скрытым ликованием рассматривает в витрине «Известий» фотографии с места событий – пейзаж после битвы. И встречается взглядом с евреем, испытывающим те же чувства. Я тоже хаживал к той же витрине.

Приходил в гости муж маминой сестры – дядя Миша. По молодости лет он казался мне старым, а ведь ему было чуть больше шестидесяти. Что за годы? Рассказывал важно и многозначительно: у него есть достоверная информация из надежных источников – это американские летчики разгромили арабов. Надо полагать, надежным источником был для него всезнающий лектор на закрытом партсобрании. Стандартный способ неявно вбросить в общество нужную информацию. Широко пользовались. Дядя Миша не был демагогом: он верил лектору. Как все добрые люди, он верил в то, во что хотел верить.

У меня был в то время приятель, существенно старше меня. Секретарь парторганизации академического института. Он сам читал такого рода лекции. Нет на свете кретинов, которые могли бы поверить в то, что я им излагаю. Ну невозможно! Все всё знают, всё понимают, несут чушь, внимают ей в соответствии со сценарием абсурдистского спектакля, в котором хочешь не хочешь, а играть надо. Каждый в своей роли. Я был воодушевлен идеей жить не по лжи. Инфантилизм, недостаток житейской опытности, непонимание условностей, самоутверждение на ложном пути, вредное мечтание. В мире, где все лгут и все знают, что лгут, ложь перестает быть ложью – ведь она никого не может ввести в заблуждение. Лезущий со своей правдой только создает всем проблемы – в первую очередь самому себе. Бестактен. Нелеп. Выглядит глуповато. Его дед был раввином, мать по семейной традиции держала мясную и молочную посуду раздельно.

Он был прекрасный, вызывающий доверие лектор. Высоколобый, с тонким интеллигентным лицом, с тонкой, ироничной, ускользающей в ухоженные усы улыбкой. Тоже большой любитель Иеремии Кларка, желал победы израильскому оружию, разоблачал на лекциях израильскую агрессию. Не знаю, рассказывал ли об американских пилотах. Если бы дали установку, рассказал бы без малейшего внутреннего дискомфорта. Даже и позабавился бы. Осуждал евреев, кующих в почтовых ящиках оружие, в обилии поставляемое в Египет и прочие прогрессивные страны. Вечерами слушающих «Голос Израиля». И не только евреев. Академик Сахаров с водородной бомбой под мышкой – вот кто был демонический персонаж. А слова? Что слова?! Условность.

Мне было очевидно, что большинство его слушателей вовсе не разделяют интересную теорию о конвенциональности лжи, верят убедительному слову лектора. Взять хотя бы моего дядю Мишу. Да? Такое бывает? В таком случае они и не заслуживают правды. Я ему обязан: именно он дал мне «Мои встречи со Сталиным», и вообще я от него много чего узнал. Кто помнит сегодня Джиласа?[3]

Откуда взялись в Шестидневной войне матерые американские асы, прежде чем с лекторской подачи залетели в голову моего дяди? из каких яиц вылупились? в каком

гнезде? Я тогда думал, что в лубянском, – нет, не в лубянском. На сей раз там занимались только выращиванием птенцов.

Как известно, исход войны был практически решен за каких-нибудь три часа утром пятого июня, когда после израильского массированного воздушного налета египетская авиация прекратила свое существование. Все остальное было, по существу, следствием этой ошеломляюще дерзкой и рискованной операции.

Интересно, что Насер полдня пребывал в неведении: ему просто боялись доложить. Он стал заложником созданной им же политической системы. К нему поступали победные реляции, он им, естественно, верил, как же иначе: он же сам предсказывал разгром сионистов! Египетские СМИ рассказывали сказки о победах над коварным сионистским врагом, эти сказки транслировались в арабских странах и странах коммунистического лагеря, вызывая энтузиазм населения. Как же! Евреев бьют! Только в четыре часа пополудни Насер узнал горькую правду. Теперь нужно было как-то объяснить происшедшее.

На следующий день утром израильтяне перехватили разговор Насера с королем Иордании Хусейном – властительные собеседники решали, кто разгромил их с воздуха: только американцы или американцы вкупе с англичанами? Лишь бы не евреи: пострадать от империалистов все-таки не так унижительно, как от евреев. В этом арабские вожди были солидарны с моим дядей Мишей. Решили, что вкупе. Интересно: англичане совершенно выпали из моей памяти. И пошло гулять по свету. Через неделю Хусейн дал задний ход: здравый политический смысл взял верх, он вовсе не хотел сжигать мосты, связывающие его с Западом, что уже давно сделал его пылкий египетский партнер, толкавший к тому же самому иорданского монарха, – Хусейн рассказал обо всем, принес извинения. Может быть, я ошибаюсь и все дело в моей симпатии к этому королю, но я допускаю, что дело не только в здравом политическом смысле, но и в том, что он считал такую ложь унижительной для своего королевского и человеческого достоинства.

Тогда я этой истории не знал – сейчас знаю. Впрочем, дядя Миша все равно бы мне ни за что не поверил: все, что я говорил, он относил на счет моей социальной и умственной незрелости, сделавшей меня легкой добычей лживой империалистической и сионистской пропаганды, о чем как старший родственник глубоко сожалел. Искренне недоумевал: как это возможно, молодой человек, родившийся при советской власти, учившийся в советской школе, – такие дикие взгляды! просто вражеские, откровенно вражеские взгляды! Оба мы понимали: потерпел поражение не только Египет – поражение потерпел Советский Союз. Впрочем, с чего я взял, что оба мы понимали? В мире дяди Миши Советский Союз ни при каких обстоятельствах не мог потерпеть поражение. Он был победителем в принципе – всегда, везде, во веки веков. То, что произошло в Синае, было лишь досадным сбоем – величины вполне пренебрегаемой.

Дядя Миша уверенно судил о событиях, происходивших за тысячи от него километров. Потому что доверял хорошо информированному лектору на закрытом партсобрании. Скорей всего, лектор был из той же породы, что мой приятель. С другой стороны, не то же ли самое делал я? Я ведь тоже уверенно судил о событиях, происходивших за тысячи километров. Разве я видел, кто сидит в кабинах израильских самолетов? Они что, предъявляли мне паспорта? Да и как бы я определил, что паспорта не поддельны? Но я доверял «Голосу Израиля» и Би-би-си.

Мои друзья внушали маленькому сыну: ты должен говорить только правду – уж во всяком случае, родителям. Он спросил: кто же ее знает? Младенец, а какая сила ума!

Информация, которой мы обладаем, всегда недостаточна. Число событий, о которых можем судить, потому что видели их собственными глазами, крайне невелико. Да и что толку, что видели? Они ведь и в этом случае не существуют независимо от нас: зависят от органов чувств, от их качества, от ограниченности ума и памяти, изымаем из природного контекста, обрезав бесчисленное число нитей, кровеносных сосудов, режем по живому, помещаем в свой собственный контекст. Наблюдатель на наблюдаемый объект не влиять не может. Да и полно: существует ли объект без наблюдателя? Есть то, что предшествует опыту: в сущности, опыт вторичен. Все определяет априорная картина мира. Чему верим, чему нет, что сомнительно, что достоверно. У каждого свои небеса, свое море, свой лес, своя бездна. Произносим одни и те же слова – говорим о разном. Договориться положительно невозможно. В моей картине мира лектор на закрытом партсобрании был лжец или (вопрос дефиниции) диалектик, вроде моего приятеля, – в картине мира дяди Миши лживо было западное радио.

В «Бунте» Евгения Федорова есть забавный эпизод. В лагере, начало пятидесятых, сидит человек, которого все зовут американцем. Гонялся по лесам за бандитами – то бишь партизанами, – поймав, вешал. Золотое время. Немцы – товарищи по оружию. Незабываемо. Не мог понять, почему проиграли. Само собой, ни в чем не раскаивался. После войны, пока не выдали русским, в плену в Америке – потому и американец. «Так ты что, в Америку на корабле, что ли?» – «С ума сошел? Какой корабль?!» – «Неужели (предположение несусветное) на самолете?» – «Да почему на самолете? С какой стати на самолете? На поезде». – «Поезд?! Что ты несешь?! Америка за океаном». – «С чего ты взял?» – «Да во всех учебниках!» – «И ты веришь советским учебникам?!»

Убил. Я советским учебникам определенно не верил.

Или вот еще история, на сей раз недавняя. Ехала по хайвею компания русских. Проскочили выезд, поперли, как в родных палестинах, задом, вмазались в машину. Подходит полицейский – сначала к тем, задним, потом к нашим: можете ехать, эти до того обкурились, потеряли всякое соображение, говорят, вы двигались задом. В примитивном мире американского полицейского опция предусмотрена не была: что-то вроде локального нарушения закона всемирного тяготения – ну невозможно!

Семейный спор, в сущности, был спором о картине мира. Как не возбудиться!

Я идентифицировал себя с еврейским, дядя Миша – с советским. Сионизм был для него проклятием. Он не хотел еврейской победы. Триумф Израиля был вызовом всей его жизни, дядя Миша закрывался от него верой в чудовищное искусство империалистических асов. С какой стати это вообще важно, чтобы летчики были непременно американцы? Разве хрен редьки слаще? Но он был старый коммунист и убежденный интернационалист, мой дядя Миша, и не хотел слышать ни о чем еврейском. Израиль, ставший на долгие годы фокусом общественного внимания, заставлял его страдать.

Он был настоящий советский патриот с выраженным лицом еврейской национальности. Я испытывал раздражение и едва сдерживался. Истина казалась мне очевидной, а покушение на нее – оскорбительным. Конечно, мне не хватало понимания и такта – молодость. Чего я взъелся? С какой стати должны были меня задевать дядины взгляды? Впрочем, встань он из гроба и повтори сейчас все, что выложил тогда (мне как-то несомненно, что жизненная установка дяди Миши, в отличие от его телесной оболочки,

не подверглась существенной эрозии), – помогло бы мне мое нынешнее теоретическое понимание?

Дядя Миша умер в девяностом, самую малость не дожив до несчастья. Но сова кричала уже, еще как кричала! и самовар гудел бесперечь. Милосердно не дожив.

Вот легко подбрасывает меня своими сильными руками: потолок, тени, световые пятна от люстры (или тогда еще абажур?) стремительно приближаются, опять улетают, дух захватывает, приятно и страшно вместе. Одно из самых ранних воспоминаний.

Его звали, как и меня, и отчество то же: Михаил Яковлевич. Я – маленький Михаил Яковлевич, он – большой. В детстве это казалось важным.

[1] Все-таки интересно, Леви Эшколь, тогдашний премьер-министр Израиля, в популярную русскую обойму не попал: был недостаточно карнавален.

[2] Иеремия Кларк (Jeremiah Clarke; 1674–1707) – английский композитор и органист. Пара фраз его «Марша принца Датского», называемого также «Соло на трубе» («Trumpet voluntary»), стали позывными Би-би-си.

[3] Милован Джилас (1911–1995) – югославский политический деятель, литератор, диссидент, узник совести. Один из ближайших соратников Тито, организатор партизанского движения в Югославии. Генерал-лейтенант, кавалер советского ордена Кутузова. После войны – вице-президент Югославии, председатель Союзной Народной Скупщины. За критику режима снят со всех постов, исключен из партии. Автор книг, посвященных анализу «нового класса» – партийной номенклатуры, правящей в коммунистических странах. В 90-х годах выступал против политики Милошевича. Книга «Разговоры со Сталиным» (1961) (а не «мои встречи», отложившиеся в несовершенной памяти) была написана сразу после выхода автора из тюрьмы и привела к новому аресту. Перевод «Разговоров со Сталиным» распространялся в самиздате.

ГЕНДЕЛЕВ ПОТОМ

Àðñáí Ðááâçíá

- Áíêòîð à ì íáññéí ì íæíí?

- Êæéíá ññéí?!!!

- Íàð... íóííòîíí ?..

- Êíññà ííòîíí ???

Мне, как говорили несколько веков назад, в руки (для тех, кто не понимает, в руках тогда держали оффлайновые книги и журналы) попала одна забавная, почти студенческая работа года 2030–2040-го. Я проскролил ее верхним квадрантом правой лобной доли и прикололся.



Автор детально, на 200 Кб, въедливо и подробно, разобрал три века русской поэзии: золотой, серебряный и платиновый. Как я понимаю, термин «платиновый» появился для него относительно недавно, поэтому ему приходилось напоминать читателям, как это после регресса от золота (Пушкин–Лермонтов) к серебру (Цветаева–Ахматова–Мандельштам) вдруг появился платиновый век (Бродский–Генделев). Во многом в его объяснениях за платину века отвечал именно Генделев. Бродский был

великолепен, как Пушкин, а Генделев – божествен. Безупречен. Ну и, конечно, шарм последнего поэта, умершего по тем меркам практически неизвестным...

Я обратился к основной мозжечковой базе, но ее оказалось недостаточно. Я нахмурился, но раз уж ввязался в драку – что ж теперь? – пришлось чуть-чуть попользоваться внешними источниками, чего я не люблю, потому что дорого, лениво, ну и вообще – была охота... Словом, я восстановил полную хронологию событий. Вот она. В [квадратных скобках] мой собственный комментарий.

2009 год христианской эры [далее вся хронология по ней]. Михаил С. Генделев, называвший себя в плохом настроении Михаил бен Шмуэль, а в хорошем – Мишенька, умирает в госпитале в Израиле после неудачной операции по пересадке легкого [находились же причины для смерти в то время!].

2010 год, январь. Появляется первое сообщество в «ЖЖ», имеющее цель увековечить его память и хоть как-то познакомить осиротевшее человечество с творчеством гения [mgendelev.livejournal.com]. В нем пишут культуртрегеры – современники и друзья поэта. Так сказать, платиновое окружение. Пишут по-разному, кто – умно, кто – весело, вспоминают, анализируют, собирают рассыпанные по спискам, а то и по памяти друзей и врагов поэта эпиграммы, постят какие-то фотки, какое-то video, все интерактивно [по представлениям того времени, разумеется], анализы анализов, – словом, постмодернизм в расцвете.

2010 год, март. Учреждается фонд с целями, сходными с сообществом. Деньги [кто бы сомневался] тогда представляли некоторую забавную проблему. Их, похоже, системно не хватало многим талантливым людям той эпохи. Да что там время Генделева! Начиналась эта проблема в русской литературе с Пушкина. Но у Фонда нашлись попечители.

2010 год, 28 апреля. Отмечается первый посмертный юбилей (60-летие) поэта. Отмечается еще очень скромно, в клубе, без пафоса, посланий президентов, гала-шоу и прочей бессмысленной официозной трескотни Министерства Всех Просвещений [или как оно там тогда называлось]. На вечере, по отзывам присутствующих, еще очень напоминавшем обычные вечера Поэта, пили, слушали и выступали в основном верные друзья и поклонники М. Г., в частности: В. Соловьев, Л. Рубинштейн, П. Лунгин, С. Доренко, М. Веллер, Л. Кацис, А. Дворкович, А. Ревазов, Л. Ярмольник, Е. Маргулис. Показывалось home video [увы, еще не 3D и тем более не голографическое]. Оно нашлось здесь: http://cultu.ru/event/gendelev_60/.

Распивался алкоголь [жидкий! – прикольно].

Говорят, в Иерусалиме проходил параллельный московскому вечер, но никакой детальной информации о нем в архивах мне не попало. Конечно, там рассказывал что-то М. Вайскопф, разумеется, были поклонницы...



Л. Ярмольник



М. Веллер

С лета 2010 года начинает свою деятельность Фонд, основная цель которого: «Исполнение Творческого завещания Михаила Генделева». [Звучит, на мой вкус, несколько пафосно, но, может, для того времени и нормально.]

Фонд немедленно приступает к разработке сайта gendelev.ru, и вскоре (конец 2010 года) сайт открывается для первых посетителей. Сайт оказывается не просто мемориальным сайтом поэта, но своеобразной поэтической социальной сетью. Разумеется, на нем хранятся в открытом доступе все сочинения Генделева и о Генделева, но, кроме того, на сайте открыта широкая дискуссионная площадка. Формальный повод: публикация и обсуждение новостей о Генделевской премии – самом масштабном и значительном проекте Фонда.

Премия буквально переворачивает культурную жизнь начала 10-х годов XXI века и через несколько лет становится одной из самых престижных премий России.

Ноябрь 2010 года. Фонд объявляет о вручении Генделевской премии. Она тогда называется «Премией Михаила Генделева за новый и радикальный вклад в русскую культуру и философию» [сейчас просто «Генделевская премия»] и учреждается в пяти номинациях: поэзия, проза, публицистика, музыка, философия [сейчас, если кто забыл, в 22].

Чтобы не возбуждать новых уморазрушительных войн, свойственных литературным кругам того времени, как, впрочем, и любого другого, Фонд вступает в партнерские координационные отношения со всеми достойными учредителями

существующих на то время престижных литературных премий. Впервые премия вручается 28 апреля 2011 года в празднование 61-го дня рождения поэта.

В сентябре 2011 года выходит Полное академическое собрание М. Генделева в двух томах с полудюжиной блестящих критических работ, некоторыми черновиками и полным корпусом эпиграмм и эпитафий [собранных на базе поста «Генделев без цензуры» в mgendelev.livejournal.com] скромным тиражом в 7500 экземпляров.

В октябре 2011-го очевидно, что оно сенсационно оказывается бестселлером – событие совершенно невероятное для поэтической среды того времени – и немедленно выдерживает четыре переиздания в течение трех лет общим тиражом до 200 тыс., не считая бесчисленного количества пиратских электронных версий [сразу объявленных легальными]. Уже не в поэтических, а в простых блогах и форумах появляются перепощенные тексты: «Я к вам вернусь», «Г-сподь наш не знает по-русски», «Я был женат на тебе, война», «Серебряная осень Палестины», «Волосы Береники», «Доктор Лето».

Эти тексты, сегодня надоевшие каждому гимназисту, наравне с «Я помню чудное мгновенье» Пушкина и «Представлением» Бродского, в первое десятилетие после смерти поэта казались случайно обретенными шедеврами.

В 2012 году на одном из влиятельных форумов появилось первое упоминание о «платиновом веке» российской поэзии.

В период с 2010 по 2020 год, благодаря деятельности Фонда и поддержке известных меценатов, выделяются сначала десятки, а затем и сотни грантов на исследование творчества поэта. В нескольких университетах появились сначала семинары, а потом и целые курсы, посвященные изучению наследия великого поэта.

Около 2020 года в среде генделевистов образуется раскол, появляются конкурирующие фракции: генделевисты-герменевтики и генделевисты-биографисты. Герменевтики считают, что для полноценного анализа и понимания творчества поэта абсолютно достаточно самого корпуса генделевских текстов (классические работы: «Теология М. Генделева. Формообразующее начало поэтики», «Представление о каббалистическом метампсихозе у Генделева» и «Альтернативное творение Вселенной Генделевым, тождественное ее гибели»).

Биографисты, напротив, считают, что интерпретация стихов Генделева без изучения его весьма занятой биографии является скорее схоластическим начетничеством, чем истинной наукой (основные работы: «Сравнительный анализ ранней любовной лирики Генделева и Пушкина», «Иерусалимская Мансарда: храм творчества или рабочая мастерская? Полный комментированный реестр текстов», «Обсценная лексика в жизни и творчестве М.С. Генделева»).



А. Ревазов

Впрочем, если ученые-герменевтики успешно и продуктивно трудятся на благо науки, то фракцию генделевистов-биографистов (они обычно требуют, чтобы их называли генделеведами) с 2025 года постоянно сотрясают кризисы. Как справедливо отметил один из них [в работе 2027 года «Дуэли Генделева при жизни и после смерти: 58 прижизненных вызовов и сотни посмертных»], «человек с таким даром не мог прожить жизнь, не захотев кого-то убить, и спасибо, что не всех».

Собственно, сама статья вызывает весьма неоднозначные отклики: во-первых, поэт в ней напрямую, очень цинично, совсем не в слащавом духе того времени, сравнивается с Пушкиным (дарование, сложный характер, вспыльчивый темперамент, нетоварищеское отношение к женщинам, денежный дефицит при высоких тратах, петербургская поэтическая школа, даже рост и «некий эфиопский образ»), что во времена ее выхода [напомню, 2027 год: до второй культурной революции еще целых 50 лет!] кажется кощунством; а во-вторых, некоторые персонажи, вызванные Генделевым на дуэль или оскорбленные иным образом, еще были живы, более того, занимали серьезные позиции во властных структурах Израиля и России.

Немало противоречивых откликов вызывает также работа «Донжуанский свиток Генделева», вышедшая в 2031 году [по моим данным, сам свиток ходил по рукам с 2011 года].

Невинная цитата из Гаспарова: «Великую любовь Пушкина каждый сочинял по-своему: Щеголев – Раевскую, Брюсов – Ризнич, Цявловские – Воронцову, Ахматова – Собаньскую, Тынянов – Карамзину. Психоанализ Пушкина – дело сомнительное, но психоанализ пушкиноведения – вполне реальное», – точнее, даже не сама цитата, а указание на ее полную релевантность к Генделеву вызывает целую бурю безобразной критики, особенно среди потомков упомянутых в ней женщин.

2033 год. Отдельный, весьма забавный кризис в среде биографистов возникает после публикации статьи «Эритрейский анабазис Генделева». Автор утверждает, что Генделев в начале 90-х годов XX века несколько раз находился в Эритрее с некоей секретной миссией, и приводит свои гипотезы о том, что мог делать поэт в этом странном месте. Анализ проводится на основании домашнего видео, в котором поэт действительно несколько туманно указывает на две секретные командировки. В ответ появляется скандальная анонимная публикация «Пьяный бред», после чего общество раскалывается на две фракции: одни поддерживают автора «анабазиса» [тем более что многие исследователи были в курсе неоднозначной политтехнологической деятельности поэта в

конце тысячелетия], другие – категорически не соглашаясь с безобразной, хамской формой «Бреда», считают, что факт присутствия Генделева в Эритрее неочевиден, более того, сомнителен.

С середины 2030-х годов генделеведение входит в спокойные академические рамки, четко контролируемые властью.

Власть и сопутствующая ей поп-культура пытаются конфисковать творчество поэта у истинных ценителей начиная с середины 10-х годов XXI века. Вот краткая хронология.

2013 год. Открытие первого ресторана «Генделев» (на базе рецептов из «Книги о вкусной и нездоровой пище»). С 2014 года – сеть.

2015 год. Одному из новых «боингов» «Трансаэро» присваивается имя «Генделев».

2016 год. Выходит сборник «Генделев для детей. Стихи Генделева в кратком пересказе для младшего школьного возраста». Каким-то образом [впрочем, времена еще были практически бесцензурные...] в него попадает чудесное «если мальчик любит мыло и зубной порошок, то у этого дебила будет заворот кишок».

2025 год. Открытие двух памятников Генделеву – в Москве (на Трубной площади) и в Иерусалиме (на площади Сиона) в честь празднования 75-летия поэта.

После 2025 года кажется, что генделеведение зашло в тупик. Скучно и неинтересно. Сплошной официоз и академическая наука. Транс-романсы на стихи и прочая попса. Но книга «Нет, это мой Генделев!», вышедшая в конце 2025 года, знаменует осознанное нежелание передовой части русскоязычной интеллигенции делить творчество великого поэта с надоевшей властью и поп-культурой.

В ответ на это власть в период с 2026 по 2028 год издает полное собрание Генделева на 12 языках (китайский, хинди, английский, испанский, арабский, фарси, японский, корейский, португальский, французский, немецкий, иврит) и вкладывает, по официальной информации, несколько триллионов юаней в маркетинг изданий Генделева. Сколько из них оказалось реально вложенными, остается неизвестным, но, когда в 2030 году первая транснациональная космическая экспедиция отправляется к Марсу, оффлайновое (бумажное) карманное издание ПСС было у каждого космонавта, и, как несложно догадаться, сам корабль, несущий первых людей на первую посещенную человечеством планету, назывался «Генделев». Как сказал Генсек ООН, «это потому, что великий поэт очень много думал о небе».

Что правда.

P. S.

**Идиотка. Плюхаешься
(эпиталама)**

B

íî ï è ò ÿ áúě æáí àò

ää è ðàçá ÿ âîçðàæè

ÿ áúě æáí àò í à ò ááá âîéí à

÷ áâ ááçúîéí âí î

æ à è ü

ò ú é î á ÷ í î áúě à á ì á ÿ æ ð á é á à

âð à ì á à á ú á áú è è

ò á

ÿ

áúě æáí àò í à ò ááá

âîéí à

ì ù

ç à áú è è

ó à è ò ü á á ò á é.

B áúě æáí àò í à ò ááá âîéí à

ÿ ò ááá

í î é ò ì à è á á è ü á

é ð à ð è á à ÿ

ó ì á ÿ æ á í à

í á ò î ÷ ò î ï ï ï ò ð à á á

à

áúéè

íòëè÷íúì è:

âîîèâèà

êîî íàíèÿ

ëàçàðòìò

ðááí íáàèè à áíÿ èâèíòéà

à ÿ áá

íáò.

òú

ì í á

í î ñ è à ò á á ò ú

è

áéí ò í á à è è ò

ÿ

à ÷ ò í ì á í ÿ ð á á í á à è à ò ú

í í í

í ð è ð í á à ò á í ÿ

é à è ÿ ó á è í ò ò á á ÿ á î é í á

ÿ ò í

à ì á á î í ð ñ

òù ì ðñòî æèâïóü ááç ì áíÿ íáí à

ì ù ì ðñòî æèââì

âðñü

òù ì íá ì ðñòî ááç ì áíÿ

â èâæãíé òü ì á

í à ì ðñòæü

âóì àð

òù

í á â ðñòî òì á

ì ù

çááíéè

óéè òü ááòáé

à ì ðñòî ì é òü ðñòî à ì ðñòî çáç è à ì ðñòî áí

çá

ðéèâ òòÿíÿ

í ó

ðí ù é âð ì áéíéè è áéâðü áíá

Ì è ðñòî ðñòî çáç è ì áíÿ

Вот один из самых простых, ясных, прозрачных текстов Генделева. Такой хороший, надежный, человеческий текст с человеческими интонациями. Ни тебе Бродского, ни тебе Державина. Нет пророческого пафоса. Никто не умничает, все грустят.

Текст при этом канонический, программный, включенный Генделевым во все устные и письменные антологии.

Почему? Потому что текст, конечно, не про войну. И не про убить детей. А про отношения с близкой женщиной, которая с годами стала еще родней, еще нужней. Совсем не про Магду Геббельс. Про настоящую, без поэтического (истерического?) усилителя, любовь.

Герой хочет помнить эту женщину и радуется, что она хочет, чтоб он ее помнил. Именно поэтому они забыли (кокетство? да, конечно, кокетство) убить детей. То есть сохранили – а куда деваться? не убивать же! – то, что связывает их в самом прямом смысле всех слов жизни.

Школьное сочинение: «Почему я люблю эти стихи?»

Потому что в них поэт звучит (выглядит) не так, как ему обычно хочется выглядеть на публике и на литературной полке, а так, как я его помню.

«Идиотка». «Плюхаешься». «Это еще вопрос».

Потому что это стихи не совсем про его прошедшую молодость (выпивка, компания, лазарет), а про мою. Ну хорошо... Про нашу.

А что все женщины, от которых он серьезно вставлялся, были для него – войнами, так на то он и Генделев.

В общем, эпиталама. Грустная, но свадебная песня.

ПЕСНИ ЧЕРНО-БЕЛОГО ВРЕМЕНИ

איִדען אַאָדאַאיִן

Накануне Дня Победы я оказался в кафе «ПирОГИ на Маросейке». Это оно так называется – «на Маросейке». А на самом деле входить в него нужно со стороны Большого Златоустинского переулка. У любого, кто знаком с картой клубной Москвы, в этот момент должна возникнуть ассоциация с «Пропагандой» – старейшим танцевальным клубом города. Данные «ПирОГИ», судя по всему, как раз и рассчитаны на то, что танцорам иногда нужно отдохнуть от танцев в простой демократичной атмосфере. Людей, которые собрались накануне Дня Победы в кафе «ПирОГИ на Маросейке», вряд ли можно было всех поголовно записать в завсегдатаи «Пропаганды». Здесь, скорее, были те, кто гораздо старше (эту группировку возглавлял скромно усевшийся в темном углу писатель Григорий Чхартишвили), и те, кто, возможно, еще даже не успел вкусить прелестей столичного клуббинга.

Первый ряд расставленных у импровизированной сцены стульев занимали совсем юные девушки, лет по восемнадцать, а то и по пятнадцать.



У белого светового квадрата, выполнявшего роль задника, разместились музыканты ансамбля «Клезмастерс». Артист, который должен был в этот вечер выйти к микрофону, уже давно сидел перед зрителями на каком-то перевернутом ведре, а рядом на другом стоял коньяк, предназначенный, надо понимать, для лечебных целей. Артист сильно кашлял и даже уходил со «сцены», чтобы как следует прочистить горло. Когда настало время петь, стало ясно, что никакой он не артист. Потому что профессиональные певцы, которые поют в кафе, так не волнуются перед выходом на сцену и так панически не реагируют на свист микрофона. Видно было, что человек поет на сцене редко.

Случайным посетителям случайного кафе вряд ли многое скажет имя поэта Льва Рубинштейна. Но с хозяевами «Пирогов» у поэта давняя дружба. А публика в зале явно состояла из поклонников его литературного дарования. Поэта здесь все были готовы поддержать. Как и его репертуар.

Господин Рубинштейн пел песни военных лет. Было слышно, как он любит Утесова. Он пел, как Утесов, даже те песни, которые предполагали более «героический», «официальный» вокал. Из большой шеи Льва Рубинштейна вырывались звуки, явно позаимствованные им не у филармонических певцов.

Поначалу люди подпевали тихо. Я не помню сейчас, с какой песни он начал, а на какой настал какой-либо катарсис. Это был даже не the best, не «лучшее» из военных и послевоенных песен, а тот набор произведений, которые вообще не требуют классификации или селекции. Когда-то, как часто замечает Лев Семенович в интервью, эти песни постоянно играли по радио. В его детстве – только их и играли. В детстве моего поколения советские телевидение и радио как следует постарались сделать так, чтобы они ассоциировались с официальным искусством, с пропагандой. Сейчас с них словно сползает идеологическая патина, и их впервые можно воспринимать просто как образчики жанра. Мелодия плюс текст.

Те, кто постарше, подпевали Льву Рубинштейну потому, что помнили слова, и потому, что помнили, как эти песни пели отцы и деды, матери и бабушки. Но вот из юности вряд ли многие успели застать собственно ветеранов. И тем не менее девушки из первого ряда подпевали, а одна, я видел, плакала. Для журналистского текста, наверное, эффектнее было бы, если бы плакала не одна. Но для жизни, в которой война все дальше и безвозвратно уходит в прошлое, одна слеза – уже показатель.

Мне вспомнилось, как в Останкино записывали праздничную передачу «Достояние Республики», посвященную песням о войне. Это было дорогое, яркое шоу, я сидел в жюри, которому требовалось оценить версии военных песен, представленные эстрадными артистами. Не так уж и много там было пересечений с той программой, что исполняет Лев Рубинштейн, но и откровенно «левых» номеров с привкусом собрания комсомольского актива почти не было. Редакторы постарались, режиссеры напряглись, и артисты не подкачали. Со вкусом все было в порядке, что на ТВ сегодня редкость. Видимо, песни о войне – тот материал, с которым рука не поднимется сделать что-либо, граничащее с пошлостью. Хотя где эта грань? Леонид Агутин вместе с кубинским флейтистом Орландо Валле сделал роскошную латиноамериканскую аранжировку песни «Темная ночь». Сидевший рядом со мной в жюри его коллега, певец и композитор, весь номер кричал: «Конечно, сделал из такой песни карнавал какой-то. А ее по-другому пели, ни к чему эти украшения».

Люди с телевидения постоянно думают о том, как сделать для нас дорогую и красивую картинку. А война все равно остается в памяти черно-белой, такой, какой мы ее видим на поцарапанной пленке кинохроники. Наверное, какие-нибудь будущие поколения привыкнут к цветному Штирлицу и цветной поющей эскадрилье из «В бой идут одни старики». Но поколению, которое увидело их, как и всю войну, черно-белыми, пока сложно. Интересное дело: когда снимались эти фильмы, кино уже давно было цветным. Но вряд ли история зафиксировала много случаев, когда ветераны, видевшие войну «в цвете», предъявили бы претензии авторам. Вероятно, такой же черно-белой она должна остаться и в песнях.

Если следовать такой логике, то вариант Льва Семеновича Рубинштейна – самый правильный. Он поет военные песни так, как, видимо, и пели их на фронте или за поминальным столом. Но разве можно судить тех, кто ищет для военных песен новые музыкальные решения. Тот же Леонид Агутин – тонко чувствующий профессионал. И его трактовка такая потому, что в песне Никиты Богословского изначально заложено джазовое начало, возможность импровизации. Если применять джазовую терминологию, это стандарт, ее можно сыграть быстро, медленно, под шестиструнку, в блюзе, в латино. Эта песня такой родилась. Лев Рубинштейн тоже пел «Темную ночь», и этой песне аплодировали с особым чувством.



Невероятно интересно следить за тем, как в советскую лирическую песню прокрадывались «чуждые» веяния, будь то танго, джаз, городской романс или клезмер. О джазе, помимо Никиты Богословского, наверное, стоило бы расспросить Василия Соловьева-Седого, автора «Подмосковных вечеров», которые отлично ложатся на блюзовый «квадрат». Другой известный факт: песня Исаака Дунаевского «Сердце, тебе не хочется покоя» – это на самом деле танго Карлоса Гарделя «Volver». Но все же в большинстве своем песни 1930–1940-х годов – прекрасный пример освоения советской официальной эстрадой еврейской музыки. Об этом можно говорить долго, и обычно беседу на тему «Насколько еврейская советская музыка» начинают с «Катюши» братьев Покрасс. Справедливости ради стоит сказать, что и «идеологически вредная» американская музыка того периода тоже, по большей части, еврейская, если не афро-американская, конечно. Эту тему любят иллюстрировать тем фактом, что неофициальный американский гимн «God Bless America» написал уроженец Тюмени Ирвинг Берлин.

Лев Рубинштейн выбрал для своей ретро-программы аккомпанемент в виде скрипки, кларнета, фортепиано и баяна. На этих песнях отлично сидит старый еврейский лапсердак. Но кроме скрипки и кларнета, отвечавших за минор, в ансамбле был и баян, напоминавший о музыке российских городских окраин. И когда Лев Рубинштейн решил, что шесть «бисов» – это, пожалуй, достаточно, инициативу легко перехватил баянист.

Вряд ли вокальные опыты поэта Льва Рубинштейна претендуют на глубокое исследование материала, и уж точно его программа не только о том, что советская песенная классика по сути клезмер. Вероятно, ценность его лишенных особой драматургической линии выступлений в том, как они фиксируют процесс превращения авторской музыки в народную. Народную в самом высоком смысле этого слова – не знающую ни прописки, ни национальности, ни возраста.

– **Как давно вы на сцене поете?**

– Может быть, года три. Нет, за столом-то я всегда это дело любил. И дома у нас это было заведено. А вот на сцену меня вытолкнул... я даже могу сказать кто. Дима Ицкович. Где-то послушал и говорит: «А давай мы тебе концерт устроим!» Я долго отнекивался, я не профессионал. А он стал мне устраивать концерты. И я стал петь.

– **Вы всегда поете именно эти песни?**

– Более-менее.

– **И ведь это самые очевидные вещи той поры. Не было желания поискать что-нибудь менее затертое?**

– Это то, что я любил и знал в детстве. Я решил остановиться на песнях молодости моих родителей. Вот я, маленький, в одной комнате засыпаю, а в другой сидят родители и их гости и хором поют эти песни. Это то, что вошло в кровь.

– **У вас много песен, которые нам знакомы, прежде всего, по репертуару Утесова и Бернеса, но есть и те, что больше запомнились по героическому исполнению, скажем, Ансамбля песни и пляски Александрова. А вы в утесовском стиле поете буквально все.**

– Это тоже из детства. Песни тогда лились из радио с утра до вечера, оно было включено всегда. В кухнях коммуналок, везде. Под них происходило все, их невозможно было не запомнить. И у нас был такой сосед – дядя Сережа одноногий, с трофейным аккордеоном. Его всегда звали на все дни рождения, праздники... Он не был певцом, но слух у него был. И он вносил в исполнение полудворовую, прибалтненную интонацию. Когда я стал сам петь эти песни, то понял, что если я кому-то и подражаю, то не певцам из радио, а вот этому дяде Сереже. Я, видимо, подражаю тем, кто подпевал, а не тем, кто пел.

– **Вы, как поэт, наверняка, может быть даже помимо воли, анализируете эти тексты, вполне официально одобренные и принятые. В симпатиях к советской власти вы, кажется, не замечены, но исполняете их с явным удовольствием.**

– Без особой иронии, да? Если не брать героические, пафосные песни, если не брать «Выпьем за родину, выпьем за Сталина», а сосредоточиться на лирических песнях, то можно увидеть, что именно в этом жанре влияние государства было ослаблено. Почему-то разрешалось сочинять вот такие человеческие тексты. Особенно это касается песен именно военного времени. Там нет никаких советских реалий. Никаких Сталиных, никаких большевиков, нет слова «советский». «Он», «она», ожидание, разлука, война. Если их выдрать из исторического контекста, непонятно даже, о какой войне идет речь. Реалий нет, есть вечные мотивы. Я недавно писал об этом на «Гранях.ру». Все эти песни – про Одиссея и Пенелопу. Там есть единственная война – Троянская.



– **Выбор в качестве аккомпаниаторов музыкантов ансамбля «Клезмастерс» сделан раз и навсегда?**

– Сам я ни на чем не играю. Они – не постоянный мой ансамбль. Но с ними очень приятно петь. Они люди совершенно другого поколения, но при этом, что называется, врубаются, очень аутентично и культурно играют.

– **Выбор правильный, ведь советская песенная классика – это в основном клезмер.**

– Конечно, конечно. Советская песенная лирика 1930–1940-х годов – это действительно некоторая странная смесь еврейской свадьбы с фольклором городских окраин. Например, «Тучи над городом» – это абсолютно трактирная, шарманочная такая песня. Вообще, ресторанный формат меня пока устраивает. На филармонические подмостки я не стремлюсь. К тому же я ведь не ставлю это на поток. Раз пять в год это происходит, не чаще.

– **А какие-нибудь ваши стихи на музыку положены?**

– Нет. Я этого очень не хочу и всячески этому препятствовал бы. Пение – отдельная вещь. Хотя кое-кто из моих критиков пытается найти какую-то связь между моей поэтической, моей эссеистической и моей певческой деятельностью. Но все же здесь больше случайного. Связь, наверное, есть, но я не готов ее сформулировать. Ну, допустим так: отсутствие вокальных данных я компенсирую интонацией. И вот интонация для меня самое главное во всех видах моей вербальной деятельности. Единица измерения текста. Я мыслю интонациями.

ИОСИФ УТКИН: ОТ «ШИНЕЛИ» ДО ЖИЛЕТА

На четыре вопроса отвечают: Михаил Вайскопф, Александр Кобринский, Олег Лекманов, Давид Фельдман

Аאיאא אאיאא אאאי אאא אאי אאי אאי

У меня есть подозрение, что естественное, благородное своеобразие поэмы Иосифа Уткина «Повесть о рыжем Мотэле, господине инспекторе, раввине Исайте и комиссаре Блох» стало важной частью основания моей судьбы (только ли моей?): кто-то вышел из гоголевской «Шинели», а кто-то примерил в оттепельном Баку кишиневский жилет и остался в нем на долгие годы. И дело тут не только в том, что на Песах за праздничным столом я читал по просьбе взрослых отрывки из этой поэмы, которые до сих пор помню наизусть, но в той, данной Б-гом силе, которой обладает любая травинка, занятая своим произрастанием в бесприютном мире, или любое произведение, которому все равно, какой строй на дворе бушует – монархический, революционный, демократический или... комсомольско-олигархический. «Первый случай в Кишиневе» стал моим «первым случаем в Баку», призвавшим меня и к сохранению своеобразия, и к тому обширному набору чувств, которые я называю «еврейскими». В масштабах «своеобразия» и «еврейских» комплексов чувств, как мне кажется, следует рассматривать и Иосифа Уткина, чье небольшое поэтическое наследие сегодня – предмет для наслаждения немногочисленных ценителей.

ИОСИФ УТКИН – ЭТО АБРАМ ПРУЖИНЕР

אאי אאא אאא אאא אאי אאי אאי



– В своем предисловии к пьесе Жаботинского «Чужбина» вы указываете на то, что Уткин времен «Мотэле» был «советским преемником» Жаботинского, что «Повесть о рыжем Мотэле» вышла из этой пьесы, из ее многослойных языковых пластов. Наверное, известная поэма Бялика сыграла не меньшую роль? «Мотэле» можно считать ответом Жаботинскому и Бялику?

– Несомненно: только ответом в духе советско-еврейского провинциализма. Изю всей палитры «Чужбины» автору пригодились только скептическое местечковое кряканье («Почему не дают сахару, / Сахару почему не дают?»), переходящее в казенный лиризм во вкусе Евсекции. Там, где Бялик в «Городе резни» и вслед за ним Жаботинский

в «Сказании о погроме» дают чудовищную по своей космической мощи картину кишиневского истребления – картину, оттеняемую позорным малодушием жертв, – Уткин рисует лилипутские «пуговики звезд» и кишиневское лилипутское счастье: идиллию дарованного на час равноправия. Экая радость: портной-таки стал комиссаром. По мне, лучше бы остался портным: меньше бы крови все это стоило, и чужой, и своей.

– **Известно, что у Багрицкого был свой рифмованный список: «А в походной сумке спички и табак, / Тихонов, Сельвинский, Пастернак». Мог ли здесь оказаться на каком-то месте – минуя проблемы стиха, конечно, – Иосиф Уткин?**

– Разве что вместо табака. И то вряд ли, если вспомнить, что Багрицкий был настоящим курильщиком. При всем том «Повесть о рыжем Мотэле» – вещь, конечно, талантливая, но странно было бы сопоставлять ее автора с серьезными мастерами. Помоему, все остальное у него – сплошная графомания. В конце концов, Иосиф Уткин – это Абрам Пружинер в должности лирического поэта.

– **Почему Уткину, человеку с железным характером, с поэтическим вкусом, в 1930-х годах не хватило сил покинуть красный мейнстрим и уйти в литературное подполье, как это сделали, скажем, Мандельштам и Ахматова?**

– Как почти всех тогдашних большевистско-еврейских писателей, от этой опасной участи его счастливо уберег низкий культурный уровень. Да и что краше советской власти, со всеми ее – разумеется, преходящими – недостатками, могли они, собственно, вообразить? В нее они и вживались. Маяковский однажды крикнул ему на каком-то литературном вечере: «Давай, Уткин, старайся! Гусевым станешь!»

– **Не кажется ли вам, что главной объединяющей чертой таких поэтов, как Тихонов, Уткин, Багрицкий, Светлов, – разумеется, кроме официального признания их творчества в СССР, – было то обстоятельство, что все они, пусть каждый по-своему, стали заложниками строя с грифом «советский», на который безоглядно тратили молодость? Не с этим ли обстоятельством связан уход Уткина в так называемую гражданскую лирику с ее лукавой простотой и народными обертонами?**

– Если оставить в стороне Тихонова, то надо сказать, что евреи-писатели в национально-политическом смысле отличались такой же патологической наивностью, как и большинство еврейского населения СССР. Талмуд с его выморочным бытием заменял их отцам живое чувство реальности, потерянную родину, почву под ногами, а дети сменили талмудическую схоластику на другие абстракции: веру в торжество социализма, советский патриотизм и прочий сладостный вздор. Не только в Советском Союзе – во всем мире в 1920–1940-х годах множество евреев стали добровольной агентурой этого скотского режима. Тот же Багрицкий, к примеру, был отнюдь не «заложником строя», а одним из тех, кто науськивал палачей. Уникальная черта еврейского характера, на мой взгляд, – парадоксальное сочетание приземленности, практицизма, житейской смекалки с полным непониманием корней чужой жизни, глубинной ее природы, чужого национального инстинкта. Все эти люди – точнее, те, кто уцелел в 1937-м, – очнулись от своих грез только в 1941-м. Только тогда, в Бабьем Яре и прочих оврагах, они поняли, в какой стране живут и как к ним относится ее население.

В ОСНОВЕ «МОТЭЛЕ» – ЯЗЫК АНЕКДОТА

Àëàèíáí äð Èíáðèí ñèèé, èè ò áðàò òðí ááá



– «Повесть о рыжем Мотэле» – как к ней ни относиться, – на мой взгляд, не уступает многим шедеврам советской литературы, хотя некоторые исследователи 1920–1930-х годов полагают, что вышла она из произведений Бялика, Жаботинского, Маяковского и потому «вторична, не оригинальна». Вы на стороне защитников копирайта?

– Проблема, на мой взгляд, в языке и в художественной задаче. Не требуется серьезного и квалифицированного анализа, чтобы увидеть, что Уткин ориентируется не на еврейскую речь, а на русское (причем местечково-обывательское) восприятие еврейской речи. Не Бялик и Жаботинский – предшественники Уткина по языку, а русские анекдоты о евреях и отчасти русская литература о евреях, воспроизводящая одни и те же языковые штампы. Это все само по себе еще не может являться доказательством «вторичности» автора, в конце концов, и Пастернак однажды признался в письме к Николаю Тихонову, что он сам «жертвует собой для штампа», – но Уткин не жертвует собой, а лишь механически использует штамп. Для человека, знающего сотни «еврейских» анекдотов и читавшего многочисленные книжки о евреях (включая, к примеру, издания эстрадных чтецов начала XX века), в «Повести» нет практически ничего нового. Это же относится и к ее метрической структуре. Сравните с Бабелем, который тоже в своих рассказах использовал достаточно механистический прием – синтаксическую кальку с идиша. Но на этом он не остановился, а провел огромную работу по интеграции приема в русскую языковую среду. Уткин же, увы, не пошел дальше пресловутого «национального колорита».

– Тем не менее, путешествуя по Интернету с уткинской темой, обнаружил, что поэт не забыт, цитирует его с высокой частотностью даже наша молодежь, которая не должна была бы увлекаться им, правда, цитирует все больше из 1930-х – начала 1940-х. Это говорит о дурном вкусе молодежи или все же о том, что сегодня «комсомольская лирика» оказалась востребованной: время такое, в чем-то схожее, – всемирная история циклична, все от века единообразно?

– Вопрос, почему в то или иное время растет интерес к одним поэтам и падает – к другим, очень сложен. Мне представляется, что речь идет не столько о дурном вкусе, сколько о возникновении той временной дистанции, которой для меня, к примеру, еще не существует. Эта дистанция позволяет тем, кому сегодня двадцать с лишним, воспринимать Уткина как забавный феномен – в отрыве от исторического и поэтического

фона, а кровавое противостояние времен революции и Гражданской войны – примерно так же, как мы сейчас воспринимаем вражду гвельфов и гибеллинов. Ну и кроме того, сказывается любовь к анекдоту, а в основе языка «Повести», как я уже сказал, лежит язык анекдота.

– В 1944 году Уткин погиб в авиационной катастрофе. В руках у него в момент гибели был томик стихов Лермонтова. Вспоминается уткинское «Затишье»: «Будто лермонтовский ангел / Душу выронит из рук...» Лермонтов не случайно оказался в руках Уткина?

– Не знаю. Не могу сказать.

– «Повесть о рыжем Мотэле» для религиозного еврея, да и не только для религиозного, произведение в значительной степени кощунственное. В то же время, как оказалось в ходе моего интернет-расследования, «Мотэле» Уткина многим помог ощутить себя евреями. Возможно, в споре с Б-гом, в споре со своим народом острее ощущаешь Его присутствие и свое – в своем народе?

– Уткин в этом произведении – вовсе не еврей, он именно комсомолец! Позвольте мне уж не цитировать полностью широко известную эпиграмму Осипа Мандельштама на него, но ведь Уткин ушел от еврейства и не стал русским. Кажется, Тименчик обратил внимание на то, что в «Повести» умершего еврея кладут на обеденный стол, – мыслимо ли такое в еврейском доме? Покойник – это тума, а обеденный стол – святое место в доме. Стоит вспомнить, что задачей евреев-комсомольцев был не «спор» со своим народом, а уничтожение своего народа, чем они в высшей степени активно и успешно занимались, закрывая синагоги, сжигая книги и тому подобное. Может, кому-то «Мотэле» и «помог ощутить себя евреем», но ведь погромы, черта оседлости, процентная норма, советский антисемитизм – все это тоже «помогало» евреям «ощутить себя евреями».

ЗА ГРАНЬЮ ПОЭТИЧЕСКОЙ НЕПОГОДЫ

Гѣяѣаѣі аі гѣ еѣоаѣаооѣіаѣі



– В предвоенные годы Уткин вращался в «высшем свете» столицы с утвердившейся репутацией классического бонвивана. За ним даже закрепился образ такого салонного поэта. Теперь, напротив, Уткина считают поэтом с «советским почерком». Оно понятно: сегодня «плачут о времени большевиков и “фронтовых

поэтов?» разве что одни литературоведы, но как же «Мотэле» – произведение совершенно другое?

– Иосиф Уткин – стихотворец, о судьбе которого можно по-настоящему пожалеть. В отличие от своего поэтического близнеца Жарова и так же, как Михаил Светлов, Уткин обладал несомненным талантом. Свидетельством может в первую очередь послужить замечательная уткинская поэма «Повесть о рыжем Мотэле», определенная взыскательным акмеистом Михаилом Зенкевичем как «лучшее (и не только в поэзии) изображение революции в черте старой еврейской оседлости» (а ведь рассказы Бабеля были уже написаны!). Первое публичное чтение этой поэмы в стенах ВХУТЕМАСа стало заметным событием и мгновенно сделало Уткина популярным в очень широкой – и не только комсомольской – среде. Однако все последующие уткинские вещи, на мой взгляд, сравнения с «Повестью» не выдерживают – это был типичный успех первой вещи, куда автор вложилась весь, без остатка, а дальше не знал, куда ему двигаться.

– Что за острые диспуты были между Жаровым и Уткиным, с одной стороны, и Маяковским – с другой? Они касались только «Лефа» или носили еще и личный характер?

– Да, Маяковский и в самом деле весьма иронически относился к Жарову и Уткину, с убийственным остроумием высмеивал скороспелые поделки придуманного им поэта «Жуткина». Уткинскую строку «Не придет он... / Так же вот» он, как известно, переделал в «Не придет он... / Так живот». Думаю, что нелюбовь Маяковского к младшему поэту объясняется достаточно просто: он, настоящий мастер стиха, не мог и не хотел оценить бледные и часто вымученные вирши комсомольского поэта. Но в этом, конечно, был и эгоизм: Маяковский начал до революции, он естественным образом прошел выучку у старших модернистов, продолжил их и «преододел» их. Уткин же дебютировал в ту «студеную пору», когда естественные поэтические связи были обрублены. Мандельштама и, скажем, Цветаеву Уткин как следует прочел не когда полагается, а уже сложившимся автором. Притом что тоска по мировой и, во всяком случае, русской культуре в нем жила. Не случайно эпиграфом к «Первой книге стихов» Уткина были поставлены строки не слишком популярного даже и в раннюю советскую эпоху Николая Языкова: «Там за гранью непогоды есть блаженная страна...»

– После распада СССР хорошим тоном стало отрицание художественной ценности советского культурного мейнстрима. Можно было бы сказать: «И поделом, товарищи», но это в ряде случаев было бы не только не этично, но и преступно. Какое место среди забытых «поэтов-товарищей» занимает сегодня Иосиф Уткин?

– Среди забытых – одно из первых, вместе с Михаилом Светловым и Василием Казиным, чуть ниже Ильи Сельвинского. Хотя Уткин погиб на войне сравнительно поздно, в 1944 году, он, увы, не успел написать хороших военных стихов. А ведь война дала большую тему многим, она превратила в настоящих поэтов Константина Симонова (с его «Жди меня») и Михаила Исаковского (с его «Враги сожгли родную хату»). Я уже не говорю об Александре Твардовском, во время войны создавшем свою великую «книгу для бойца» «Василий Теркин». А ведь до войны он, как и все поэты его поколения, писал довольно слабые, не облагороженные культурной приемственностью вещи.

– Весной 1929 года журнал «Молодая гвардия» в аналитической статье под названием «Иосиф Уткин как поэт мелкой буржуазии» заклеил его как «мещанина». Но первым подтрунивать над «буржуазностью» Уткина начал

приятель и партнер по бильярду Владимир Маяковский. Это как бы с его легкой руки пошло-поехало. Что могло задевать Маяковского в поэзии Уткина?

– Разумеется, дело не в уткинской «буржуазности», а, повторюсь, в том, что Маяковский в лице Уткина и Жарова имел дело с поэтами, «рожденными революцией», – той революцией, которую автор «Хорошо!» считал себя обязанным всячески приветствовать и прославлять. И что же он видел? Он видел поэтов, плохо знавших лучшие стихи предшественников, оставлявших без внимания достижения Брюсова, Вячеслава Иванова, Анненского, Хлебникова, Пастернака, да и его самого, Маяковского. Поэтому, например, к «культурному» Николаю Тихонову (тот еще, между прочим, автор!) Владимир Владимирович относился с ревнивым уважением, а Уткина с Жаровым в грош не ставил. Но ведь открыто призывать молодых поэтов учиться у Анненского и Мандельштама с Ахматовой он не мог, отсюда и возникли все эти упреки в мещанстве. Отсюда же родилась и зафиксированная Алексеем Крученых парадоксальная характеристика Жарова, данная Маяковским: «Жаров наиболее печальное явление в современной поэзии. Он даже хуже, чем О. Мандельштам».

ОН СЕБЕ НЕ ПРОЩАЛ НИЧЕГО

Ááááá Óáéííí áí, ééòááòóóíááá



– В 1928 году группу молодых поэтов, среди которых был Иосиф Уткин, направили в поездку за границу. Десять дней они провели в Сорренто у Горького. В те дни Алексей Максимович писал Сергееву-Ценскому: «У меня живут три поэта: Уткин, Жаров, Безыменский. Талантливы. Особенно – первый. Этот – далеко пойдет»... Вам не кажется, что дальше «Повести о рыжем Мотэле» и нескольких «красноармейских» стихотворений 1920-х годов Уткин как поэт не пошел?

– Не кажется. Потому что неясно, куда он должен был идти, если должен был. Кстати, «Повесть о рыжем Мотэле», которой восхищался Горький, опубликована в 1925 году, а три года спустя – поэма «Милое детство». Тематика близкая, подход же – иной, почти бабелевский, трагический. Поэма о дружбе, о крови, пролитой ради мести и ради правды, о братоубийстве, об искупленной уже, однако неискупимой вине. Детство – «расстрелянный мир», так сказал Уткин. Он себе не прощал ничего. Да, он считался «комсомольским поэтом». Но о расстрелах – напоминал. Да, он свою дорогу сам выбрал. Была ли другая? Предков его законодательно дискриминировали за веру. Он виноват в том, что предпочел оружие? Гражданская война шла. Комсомол и Гражданскую войну не прощают нынче Уткину и его друзьям. Жарову, например. Мало кто вспомнит сейчас жаровские строки. Разве что про «Взвейтесь кострами, синие ночи». А Уткина не забыли.

– Почему Уткин после «Мотэле» отсекает возможность возвращения к национальным истокам в своем творчестве? Сыграли ли роль события, последовавшие за 1924 годом (изгнание сионистов), так называемые «крымские события», отразившиеся в стихах Маяковского «Еврей. Товарищам из ОЗЕТа», вообще круг тем, на которые можно было писать?

– Вот уж не знаю, кто и что для себя «отсекал» в ту пору. Секли – да, часто. Уткина тоже. К примеру, в уже упомянутой статье «Иосиф Уткин как поэт мелкой буржуазии». Она по сути была приговором. Но тут причина не в стихах. Закончился разгром Троцкого, сторонником которого считались Уткин и другие «комсомольские поэты». Троцкому как раз инкриминировали «мелкобуржуазность». Официально. Устойчивой была ассоциация: еврей – «мелкая буржуазия». А неофициально инкриминировали «чуждость русскому народу». Борьба Сталина и его окружения с Троцким была долгой. Можно сказать, антисемитская карта разыгрывалась не раз. Почти откровенно антисемитские кампании вызывали шок не только в СССР, но и за границей. В итоге еврейская тема стала негласно запрещенной. Не сразу, постепенно ее вытесняли. О чем не без иронии писали в романе «Золотой теленок» Ильф и Петров. Один из героев там констатирует: в СССР «еврей есть, а еврейского вопроса нет».

– Мое детство прочно связано с празднованием Песаха. На застольях меня просили читать куски из «Мотэле». Стол взрывался поощрительным хохотом, стоило мне дойти до «первого случая в Кишиневе». Не аплодировала только бабушка: уткинское своеобразие казалось ей кошунственным. Нынче время изменилось. Мотэле моего детства больше не идет супротив древних ритуалов, скорее наоборот. С чем это связано? Мы стали старше, терпимее – а значит, и Мотэле? Изменилось само направление поэмы, ее суггестика?

– О мере терпимости судить не рискну. В московской коммунальной квартире, где начиналось мое детство, отмечали и Песах, и Пасху, а застолья всегда были общими. Вряд ли это имело прямое отношение к иудаизму или православию. Сейчас мне кажется, что в нашу коммуналку только неверующие вселились. Но уважали обычаи – свои, чужие. Мужчины были фронтовиками, на праздниках религиозных пили водку, закусывали чем каждый раз по традиции полагалось, шутили. О войне при детях не говорили, о религии тоже. И женщины о религии не говорили. Уткина я читал уже в отрочестве, коммуналки тогда расселили. О еврейской традиции мало что знал, с государственным антисемитизмом еще не сталкивался, бытового не ощущал вовсе. Был «стихийным атеистом», как большинство моих сверстников. Правда, неверующий отец объяснил, что религия – дело личное, полемика тут неуместна. Герой поэмы Уткина отстаивал свое право на частную жизнь, мнению большинства не желал подчиниться. Это воспринималось нормально. Таков мой опыт.

– «Еврейские павлины на обивке, / еврейские скисающие сливки, / костыль отца и матери чепец – / все бормотало мне: подлец, подлец». Происхождение Багрицкого не так туманно и скрыто от нас, как происхождение Уткина, которому детство и ранняя юность, возможно, бормотали то же самое. А потом партизанский отряд... Фадеев...

– Да, Уткин – фамилия вроде бы русская. Но в Российской империи среди евреев немало было Уткиных, Утиных и тому подобных. Картину же отречения, изгнания, Багрицким описанную, не стоит понимать буквально. Едва ли не каждый поэт создает автобиографический миф. Другой вопрос – отношение к религиозному быту. Оно проецировалось на отношение к дискриминации. Багрицкий не любил гетто. Невелик был

выбор до февраля 1917 года. От религии предков отречься, чтобы обрести права большинства, или терпеть унижение. Но и отречься – даже вовсе неверующему – стыдно. Проще бунт выдумать. С падением империи обстоятельства изменились. Багрицкий помнил о еврейских корнях. И Уткин помнил, не отрекался никогда. Что до отношений с Фадеевым, тут все сложно. Фадеев рапповским лидером был. Уткину от рапповцев доставалось крепко. По ведомству НКВД он числился «бывшим троцкистом». Но уцелел. Возможно, Фадеев защищал. Уткину повезло – на войне погиб. В послевоенные годы его бы и Фадеев не выручил. А друзьями они не были.

Кажется, в «Триумфальной арке» Ремарк устами сквозного персонажа выразил одну очень важную сентенцию: нет ничего трагичнее и смешнее уцелевшего героя. Иосиф Уткин, похоже, не только избежал этой «трагичной и смешной» участи, но и сохранил для потомков, пусть и в объеме двух поэм и нескольких «партизанских» стихотворений, то свойственное лишь ему своеобразие, которое сегодня можно счесть добродетельным.

Вы читали? *Ī àò ààé Āàí àì tēūñéé.* Из нашей общей памяти // 2010. № 4

Реакция. Когда началась война, моему отцу было 10 лет, и он помнит, как истребляли евреев на Украине, где он тогда жил: молодых еврейских парней вешали на электрических столбах по дороге в город Дунаевцы Хмельницкой области. Эта война была ужасна для всех народов, но страшнее то, что убивали и предавали свои – украинцы, румыны, венгры... Не дай Б-г, чтобы это время повторилось. Папа рассказывал, что евреи почти не сопротивлялись, шли сами на смерть. Очень жаль, что и сейчас в нашем обществе иногда присутствует расовая дискриминация, а ведь с этого все и началось. И сейчас, когда идет суд над Демьянюком, все люди, пережившие войну, не могут понять, почему его до сих пор не осудили.

Āéèà Āíñéàéèè;

Ēí ò ààí àò

Вы читали? *Āààò à Ēíí ééñ* О сообщниках и соучастниках // 2009. № 12

Реакция. Сердечное спасибо, Ваша статья – хороший указатель направления для обычного порядочного человека. Было такое чувство, словно фашистские бомбы еще грохочут и я в эпицентре войны, среди ужасов Холокоста. Холокоста, которого можно было бы избежать, если бы люди думали не только о своей сиюминутной выгоде... «Человеческие отбросы» Европы». Как больно такое слышать. Больно даже спустя 72 года. Суесловие. Подлость без камуфляжа. И ведь на каком уровне все это говорилось, обсуждалось!.. Где были аналитики, где была их совесть, о чем думали своими дипломатическими головами?!

Бразилия и Аргентина не пожелали принять евреев, зато скольким нацистам дали приют, прятали нелюдей от возмездия и до сих пор прячут. Об этом нельзя молчать. Надо поднимать архивы, если к ним, конечно, допускают сегодня исследователей. И об участии Америки в этой сделке с совестью непременно следует говорить. И о господине президенте Рузвельте, которым все так восторгаются...

Не могу забыть Вашу годичной давности статью о чуде спасенных еврейских детях, о том, с каким трудом их выкупали у нацистов, как отправляли в не очень-то гостеприимную Британию.

Ōàèí à Ēóí àòí àà;

Ñàààñò ïí tēū

Вы читали? *Ēврен и десятилетие.* *Āàíñáò ààààò Ī àò ààé Āàí àì tēūñéé* // 2010. № 2

Реакция. Магаршак вызывает огромную симпатию. Ответами и размышлениями вселяет оптимизм с первой строчки (о, сила печатного слова!): «Наивность человеческая поразительна». Если бы я писала статью под названием «Еврейка и десятилетие» (простите за сослагательное наклонение и частичный плагиат), безусловно, взяла бы ее эпиграфом. Узнала, что в Киеве идет подготовка ко Дню памяти погибших евреев Украины (1 млн 700 человек). Логично было отмечать такой день на всей территории бывшего СССР. Писала в ваш журнал, на Первый канал телевидения, пишу периодически во все известные мне инстанции. Пишу и о профашистской

молодежи. Думала уже приписать себе болезнь, которую вкратце обрисовала выше, но после прочитанного интервью поняла: это же моя наивность. Но наивность не так страшна, правда?

À. Áóíí èé,

í. Èðáíí íí áíé

Вы читали? *Áíðéí Ááðáááí íá* **Новые двадцатые Макса Рабе** // 2010. № 4

Реакция. Небольшая ошибка: Миша Сполянский никогда не работал в Голливуде. В 1933 году он с женой и тремя детьми эмигрировал в Великобританию, где много и успешно работал, создавая музыку для фильмов. Другой композитор, переселившийся в Великобританию и писавший музыку для фильмов, был Ханс Май (Йоханн Майер). В Германии М. Сполянский сочинял для М. Дитрих и Я. Кипуры, а Х. Май – для Йозефа Шмидта.

Benny,

Èí ò áðí áò

БАБУШКИН КЛЕН ЗА ОКНОМ

Àðåãðåé Èáííàé:

Моня Вайнерман не любил, когда бабушка Рива упорно заставляла его говорить с ней только на идише. Но та, к сожалению, в гимназиях не училась, ни разу за рубежами Литвы не бывала; до замужества соседнюю Польшу считала чуть ли не краем света и кроме устного литовского диалекта идиша никакими другими универсальными языками не владела.

– Чтобы выразить свои чувства, мне и одного языка достаточно, – признавалась она в ту пору, когда еще могла самостоятельно, без по-сторонней помощи передвигаться, а не сидела в инвалидном кресле. – А вы, пожалуйста, отвечайте мне на том же, понятном мне с колыбели, идише. – Так старая Рива обращалась не только к своему внуку гимназисту Монечке, но как бы ко всему человечеству и бережно вышитым платочком вытирала слезы, наворачивавшиеся на выцветшие от ненавистной и немощной старости глаза и готовые в любой момент и по любому поводу пролиться.



Моня, или, как его называли все домочадцы и однокашники, Соломончик, в отличие от любвеобильной бабушки-идишистки уже в тринадцать лет сносно щебетал на языке Шиллера и Гете. Но в тридцать шестом году все ученики иудейского вероисповедания в знак протеста против участвовавших в Германии погромов и безнаказанных расправ с евреями в едином порыве покинули Каунасскую немецкую

гимназию и разбрелись по другим учебным заведениям города. Моня Вайнерман по совету отца выбрал смешанную – литовско-еврейскую школу.

Однако отец Соломончика, преуспевающий каунасский адвокат Бенцион Вайнерман, штудировавший в молодости юриспруденцию в знаменитом на весь мир Оксфорде, все же решил подстраховаться и не ограничиваться только еврейско-литовским обучением своего единственного сына. Пользуясь своими связями в Министерстве иностранных дел, он нашел для пытливого и способного Мони подходящую репетиторшу – чистокровную англичанку миссис Фелицию Томпсон-Гилене, жительницу Лондона, которая вышла замуж за литовского дипломата среднего ранга и после свадьбы поселилась на родине мужа.

– Мало ли что может случиться в наше штормовое время, когда под боком такие беспокойные и грозные соседи, как немцы и русские, – посвятил многоопытный родитель сына в свои тревоги, связанные с его будущим. – Как утверждали мои достославные оксфордские профессора, английский язык подобен спасительному кругу в бурном море изменчивой жизни. С ним и в девятибалльный шторм не утонешь – обязательно доберешься до какого-нибудь безопасного берега.

Бенцион Вайнерман не считал нужным держать от родственников в секрете, что под другим безопасным для всех евреев берегом он подразумевает веротерпимую, кишашую удачами, словно пчелами улей, далекую Америку. В то же самое время Вайнерман-сеньор ежегодно жертвовал немалые деньги на строительство кибуцев в Палестине и приобретал на весьма солидные суммы в тамошних банках акции и облигации. Но жена Мира и мать Рива об Америке и слышать не хотели. В Литве у Бенциона Вайнермана – имя, он самый лучший адвокат по уголовным делам; в центре Каунаса, на аллее Свободы, у них свой двухэтажный особняк; за городом, в Бирштонасе, – дача, куда Мира и ее свекровь в начале июня отправляются на все лето на отдых вместе с молоденькой прислугой Алдоной. Ведь от добра добра не ищут. К тому же не один их знакомый – искатель легкой наживы в хваленой Америке – потерпел там, по слухам, полнейшее фиаско и вернулся в Каунас не солоно хлебавши.

Вайнерман-сеньор тем не менее не успокоился и настоял на своем. Миссис Фелиция два раза в неделю приходила к ним в дом на аллею Свободы и, уединившись с пытливым Соломончиком в просторной детской, увешанной натюрмортами и пейзажами, навевавшими умиротворяющую и возвышенную печаль, терпеливо обучала прилежного мальчика не литовскому языку и не бабушкиному идишу, а благородному языку их королевских величеств могущественной Великобритании.

Недовольная бабушка Рива открыто осуждала пренебрежительное отношение внука к родному языку, на котором говорили все его предки, появившиеся шесть веков тому назад и обосновавшиеся в гостеприимном и ненастном Великом княжестве Литовском. Чтобы подкрепить свое праведное недовольство, она, бывало, прибегала к непререкаемому авторитету того, кого невозможно было ни услышать, ни опровергнуть, – вечного заступника, Г-спода Б-га. Вседержитель, уверяла старуха, якобы самолично на горе Синай из уст в уста передал нашему праотцу Моисею все Десять заповедей не на немецком и не на английском языках, от которых без ума ее любимый Монежка, а на чистейшем, как родниковая вода, литовском идише.

Соломончик не перечил, покорно слушал, кивал красивой головой, увенчанной вьющимися рыжими кудрями, искренне восхищаясь остроумным невежеством бабушки. Чего греха таить, нередко ему изменяли хладнокровие и выдержка. Тогда он беззлобно

огрызался или, не стерпев непрекращающегося натиска неуступчивой старухи, ошетикивался и давал ей решительный отпор, за что воспитанная в Кембридже миссис Фелиция, знакомая не понаслышке с хорошими манерами в высшем обществе, делала ему мягкие, не уязвляющие его самолюбие замечания. Такое, мол, поведение, мистер Сол, истинному джентльмену не к лицу.



Однако в том далеком тридцать шестом юный Моня Вайнерман такого почетного звания еще никак не заслуживал и был скорее не истинным джентльменом, а избалованным родичами франтоватым подростком.

– Скажи мне, глупой старухе, с кем ты, Монежка, тут в Ковне кроме мадам Фелиции собираешься говорить по-английски?

Поскольку любой ответ внука ее заведомо не удовлетворял, то на все вопросы она либо с насмешкой, либо со скрытой издевкой отвечала сама:

– С вороной на старом клене за окном? С нашим котом Хацкем? С дворником Антанасом, который по субботам гасит у нас свечи?

Бабушка Рива на время откладывала в сторону вязальные спицы и, уверенная в своих неотразимых доводах, бросала на пристыженного внука из своего инвалидного кресла укоризненно-страдальческие взгляды. Неужели наступит такое время, когда на идише можно будет поговорить только с дворниками и птицами, а не со своими потомками?

– Если ты хочешь, Монечка, знать, то и ворона на старом клене за окном, и наш кот Хацкель, и дворник Антанас, и птички – все они понимают на идише. Может, даже не хуже, чем ты. Когда остаюсь одна дома, я каждый Б-жий день здороваюсь с ними и даром обучаю их тому, что мы называем «маме лошн». Кое-чему, представь себе, я их таки научила. А ты, Монечка, хоть разочек подумал, в какую копеечку твоему отцу влетают уроки этой миссис-шмиссис Фелиции! Можешь поверить мне на слово, я стою твоему папочке, моему дорогому Бенечке, который тоже не в восторге от идиша, намного дешевле, – строгая бабушка Рива слово «намного» смачно разбила на отдельные слоги.

– Неужто в самом деле обучила? Они что, такие способные? – поддел ее Монечка.

– Способные, способные. И учительница у них когда-то была, прямо скажем, не самая плохая. Не хуже твоей дорогостоящей миссис-шмиссис...

Старуха похвалила себя и рассмеялась (а смеялась она редко – бабушка Рива куда чаще без всякого повода, даже не без некоторого удовольствия, плакала), облизала пересохшие губы, поправила на голове парик и, осмелев, продолжала:

– Бывало, только раскаркается какая-нибудь ворона на старом клене, я тут же топу-топу – мои ноженьки еще тогда неплохо мне служили, – раскрываю настежь окно и, как воздушные шарики, запускаю в сторону баламутки пару крепких словечек на маме лошн. И что ты, Монечка, думаешь: ворона сразу же хлоп-хлоп крыльями, и поминай как звали. То же самое проделываю и с нашим неисправимым шкодником Хацкелем. Придет бездельник со двора, покрутится для приличия возле моего кресла, через минуту-другую заберется с грязными лапищами в мою постель и уляжется на чистую подушку. Я как закричу на него во все горло на идише: «Вон отсюда, безобразник и лежебока!» – и трусливый Хацкель прыг с кровати и давай у моего подола жалобным мяуканьем отмаливать свою вину. А о нашем дворнике и говорить-то нечего: ему, как шутит твой папочка, уж давно пора к моему Ицику обратиться и в нашу веру перейти, чистокровный литовец, а так шпарит по-нашему – вам бы так!

Но Моня Вайнерман, видно, на свет родился не для того, чтобы соглашаться с чужими доводами или смиренно выслушивать поучения и фантазии старух.

– То, что ты, бабуленька, обучила идишу ворон и птичек за окном и нашего кота-лежебоку Хацкеля, который с утра до вечера либо нежится на солнышке, либо дремлет в гостиной на папином диване, – это хорошо, это просто здорово. – Соломончик мягко, похвалами, выстеливал себе дорожку к бабушкиному сердцу. – Правда, твой идиш годится разве что для домашнего употребления, но только не для большого мира. Ты на меня не сердись: сейчас без английского языка ни у одного народа на свете нет будущего. В том числе и у евреев. Понимаешь?

В такие дремучие и непроходимые дебри, куда ее завел хитроумный и льстивый Монечка, бабушка Рива еще ни разу не забиралась.

– Твой дед Соломон, в честь которого тебя назвали, да святится имя его в веках, говорил: юбка у бабы длинная, а ум короткий. Это, Монечка, он в меня метил. Но уж раз ты решил обсудить со мной, с дурехой, свое будущее, то я тебе вот что скажу. Прошлого у нас, у евреев, было хоть отбавляй, при желании могли бы плохие времена кому-нибудь и в аренду сдавать. Теперь о настоящем. Если хорошенько оглянуться вокруг, спокойного настоящего у нас, можно сказать, всегда было вот столечко! –

Бабушка Рива отсекла указательным пальцем правой руки полмизинца на левой. – И там нас притесняли, и тут угнетали, с юга изгоняли и на севере покоя не давали...

– Что правда, то правда.

Она погладила сморщенной рукой парик, нахмурилась и подытожила:

– А уж о будущем евреев Сам милосердный и всемогущий Г-сподь Б-г ничего, ну ничегошеньки не ведает, да не покарает Он меня, неразумную, за эти мои слова. Боюсь, Монечка дорогой, что, сколько ни учишь, нам этого будущего ни немецкий, ни английский, ни литовский не прибавят.

– Бабуленька! Да ты у нас рассуждаешь прямо как Жаботинский!

– А кто он такой, этот твой Жаботинский? Откуда? Он случайно не польский хасид?

– Нет, не хасид. Жаботинский бо-о-льшой человек! Из Одессы! Папа с ним познакомился, когда он сюда с лекциями приезжал. Жаботинский подарил папе свою книгу о незавидной жизни евреев в России. Они и в «Метрополе» вместе пообедали.

– Твой дедушка Соломон в молодости русскому царю в Одессе служил. Была у нас в доме фотография: дедушка сидит на кушетке в солдатском мундире, заложив ногу на ногу, а сбоку у него длинная сабля, свисает до самого пола. – Она перевела дух и после короткой паузы вынесла окончательный приговор и цареву слуге – деду, скончавшемуся десять лет тому назад от скоротечной чахотки, и всем дальним и близким родичам Вайнерманов. – Вся ваша мишпоха, Монечка, родилась с саблей на боку, и ты, и твой отец, и его отец. Чуть что – в драку и наотмашь! Не то что наш род – Блуштейны. Стоит вам не угодить или, не дай Б-г, погладить против шерстки, как вы сразу вспыхиваете и давай размахивать сабелькой... Мир идн дарфн кейнмол нит фохевен мит дем месер одер мит ди хак («Мы, евреи, никогда не должны размахивать ножами или топором»). Ты меня понял?

– А что мы, по-твоему, должны делать, когда нас унижают или обижают? Сидеть пайньками и не сопротивляться? Да?

Бабушка Рива несколько раз кивнула своим заграничным париком.

– А как же прикажешь евреям защищаться, когда на нас кто-нибудь нападет?

– Как? Нам не надо ни на кого нападать первыми и не совать нос в чужие дела. Это – раз, – не задумываясь, ответила старуха, – и всегда стараться быть лучше, чем другие. Это – два.

– Это, бабуленька, тебе только кажется, что так можно защититься. Послушала бы ты, что об этом думает наш ученый папа.

– А что твой папа-мудрец думает? Еврей должен думать только об одном – как заработать побольше денежек, а не о том, как дать кому-то в морду.

Соломончик пропустил ее совет мимо ушей.

– Папа говорит, что нас всюду преследуют и обвиняют во всех смертных грехах, а в Германии уже даже убивают. Самое разумное, говорит он, вовремя найти от этой ненависти надежное убежище.

Бабушка Рива выпучила глаза:

– Г-споди! Г-споди! Чем же мы, Монечка, так перед всем миром провинились? За что нам такие кары?

– За все! За то, что первыми ни на кого не нападаем; за то, что лучше других; за то, что хуже других, – начал перечислять Соломончик, перекормленный рассказами папы и газетными сообщениями. – А главное – за то, что вообще еще живем на белом свете.

– Куда же от этой напасти деться? – спросила сбитая с толку бабушка Рива. – Где же это убежище?

– Где это убежище? – Соломончик замолчал, напрягся и выдохнул: – Там, где люто ненавидят и бьют других.

– Это ты, Соломончик, умно придумал.

– Это не я придумал. Это – папа. У него в голове на все вопросы всегда ответ готов.

– А он, хохем, знает такое местечко, где нас на руках носят?

– Знает, знает, – успокоил ее Соломончик. – Он все знает.

– Он задурил тебе голову своим английским языком и этой золотоносной Америкой! – простонала бабушка Рива. – Послушать его – там доллары сами в карманы пачками лезут.

– Угу.

– Туда уж, Монечка, поезжайте, милые, без меня. Я хотела бы умереть здесь. В Ковне. И чтобы меня похоронили на еврейском кладбище под соснами рядом с моим Соломоном, твоим дедом. Уж если я с ним, упрямым и тираном, не развелась живая, то и мертвая я не желаю с ним расставаться. А в Америке мне будет неуютно лежать по соседству с незнакомыми мужчинами, которым я за всю свою жизнь даже «здравствуй» не сказала и которые обо мне слыхом не слыхали.

– Успокойся, бабуленька! Пока мы никуда не едем. А если и поедем, то тут тебя ни за что не оставим. И перестань говорить о смерти. Миссис Фелиция мне сказала, что беду нельзя приманивать словами, потому что слух у нее замечательный. Услышит – и вот она уже на твоём пороге. Лучше я тебе помогу встать из кресла, подведу к окну, чтобы ты свежим воздухом подышала и птичек послушала. Они тебе что-нибудь и на идише споют. Ведь ты же их на идише и петь учила?

– Учила, Монечка, учила, как и тебя. Бывало, сижу в парке и от скуки вдруг песенку на идише затяну, а они мне на разные лады подпевают. Ты лежишь себе, запеленатый в коляске, тарачишь глазки на бегущие облака, а я убаюкиваю тебя и птишек

на ветках песенкой про несчастного пастушонка, потерявшего свою единственную овечку. Ты, конечно, уже не помнишь ее.

– Не помню, бабуленька. Но если ты хотя бы один куплет напоешь, я почешу у себя в затылке и, может, вспомню, – подзадорил он старуху. – Спой, пожалуйста! Ты же любишь петь.

– Какая теперь из меня, старой рухляди, певица! Запою, а ты, чего доброго, уши от страха заткнешь.

Соломончик помог ей выбраться из мягкого кресла, взял под руку и медленно подвел к зашторенному окну, раздвинул тяжелую шелковую занавесь, распахнул створки. Из парка вдруг повеяло омолаживающей предвечерней прохладой и молодой зеленью, еще не изнуренной жарой; старуха шумно задышала всей грудью и вдруг – не запела, а с каким-то сладостным самозабвением забормотала:

– «Из гевен амол а пастехл, а пастехл, из фарлорн геганген бай им зайн эйнунэйнцик шефеле». Помнишь, Монечка?

– Помню, помню... – внук напряг свою память, ориентированную не столько на еврейские песни, сколько на английские стихи Бернса и сказки Киплинга в подлиннике. – Ты мне эту песенку пела, когда я был совсем маленький.

– Так послушай ее сейчас еще раз... «Беда, беду, овцы ништу, как я, несчастный, домой пийду», – хрипом будила память Монечки Рива. – Эта овечка несчастного пастушка жила когда-то в каждом еврейском доме.

– Да, да... я смутно припоминаю, бабуленька, – угодливо подбодрил ее, потряхнув своими рыжими кудрями, Соломончик.

– Ты не поверишь, но, когда я тебе, малышу, пела, вороны на старом клене за окном замолкали и запоминали слова, ты не смейся, не смейся над своей бабушкой, ведь Г-сподь Б-г даровал память и птицам, и зверям, и даже насекомым. Вороны слушали меня, я слушала их – и они жаловались мне на свою судьбу. Их тоже, как нас, евреев, никто на свете не любит...

Не успела бабушка Рива приступить к исполнению второго куплета, как внизу кто-то позвонил в дверь, на медной пластинке которой по-литовски и по-английски красовалась надпись: «Адвокат Бенцион Вайнерман» и были обозначены часы приема.

– Пришла твоя миссис-шмиссис, – оборвала свое пение старуха. – Три года с лишним, если не ошибаюсь, доит она моего Бенечку, а толку что?

– Но я за эти три года уже почти англичанином стал.

– Прежде всего каждому еврею надо бы стать евреем. Мало родиться евреем, Монечка. Хорошо твоим англичанам – у них империя, их миллионы. А нас на свете сколько? И что у нас? Пшик! Ни своего неба, ни своей земли. Только наш язык и Тора. Деду Соломону когда-то в Одессе предлагали креститься. Принять православие и сменить имя и фамилию на русские – Сергей Виноградов. Угадай, что твой дед с царской саблей на боку ответил?

– Я не умею гадать.

– А ответил он так: благодарю за честь, но я не Сергей Виноградов, а Соломон Вайнерман, сын коробейника Генеха Вайнермана. Из Поневежа. Осина, господа, как ее ни выкрещивай, не станет красавицей березой, а мышка, которая прячется в подполье, – кошкой, которая на нее охотится... И я до гробовой доски с благословения Всевышнего останусь тем, кем я был в колыбели...

– Это интересно, даже очень интересно. Но мне, бабуленька, некогда. Миссис Томпсон не любит долго ждать за дверью.

Соломончик спустился со второго этажа вниз и открыл своей учительнице двери, извинившись за вынужденную задержку.

– Бабушке что-то нездоровится, – сказал он в свое оправдание. – Я должен был ей помочь.

– Делать добро – благо, мистер Сол, – вяло отозвалась миссис Фелиция Томпсон-Гилене.

Вид у нее был озабоченный, движения замедленные, в глазах – смятение, как будто она пришла к Вайнерманам впервые. Казалось, пришла не для того, чтобы наугад выбрать и прочесть с Монеи какую-нибудь главку из «Посмертных записок Пиквикского клуба» Диккенса или из «Приключений Гекльберри Финна» Марка Твена и пересказать ее содержание, а для того, чтобы получить у адвоката консультацию по какому-нибудь сложному уголовному делу.

– Сегодня, мистер Сол, мы проведем с вами прощальное занятие, – сказала миссис Фелиция Томпсон-Гилене. Уловив удивленный взгляд Соломончика, она добавила: – Обстоятельства складываются так, что мы будем вынуждены вскоре оставить Литву.

– Что случилось, миссис Фелиция? – не выдержал Соломончик.

– Разве ваш папа ничего вам не рассказывал?

– Папа на прошлой неделе уехал на судебное заседание в Шяуляй защищать какого-то крупного взяточника.

– Жаль!.. Мы хотели бы многоуважаемому господину Вайнерману лично объяснить причину того, что в дальнейшем не сможем выполнять условия заключенного с ним договора.

Миссис Фелиция Томпсон-Гилене захлопнула книгу, откинула со лба волосы цвета высушенной на солнце соломы, вздохнула и выдавила:

– Мистер Сол, вам в ближайшее время, наверно, придется перейти с усиленного изучения английского на русский, о чем мы очень сожалеем.

– Sorry, я не совсем понимаю, о чем это вы, миссис Фелиция? Зачем мне русский? Русский мне не нужен.

Каунас?

- Вы что, не слышали о том, о чем сейчас судачит на каждом углу весь



– Со Сталиным?! – гримаса недоумения исказила гладкое, улыбчивое лицо ее прилежного ученика.

– Советы забрали у поляков Вильнюс и вернули Литве. А взамен в Литву ввели войска Красной Армии, которые уже расположились под Каунасом и в других местах, – выпалила миссис Томпсон-Гилене с несвойственной ей брезгливостью. – Чужие войска, мистер Сол, – это не те гости, которые добровольно уходят.

Соломончик еще никогда не видел свою учительницу такой взволнованной.

– Мы все время с вами занимались не политикой, а семантикой и грамматикой, синтаксисом и орфографией, по этой причине вы, вероятно, не совсем в состоянии разобраться в том, что на самом деле случилось и какие от этого могут быть последствия. Чтобы было ясно, я скажу вам на упрощенном английском так: в Каунасе по аллее Свободы уже по-хозяйски разгуливают русские офицеры. Когда вернется ваш папа, он, мы надеемся, расскажет обо всех этих событиях более подробно и сделает свои выводы, а все остальное мы с ним уладим при встрече.

- Значит, урока сегодня не будет?
- К сожалению, мистер Сол, урока не будет ни сегодня, ни в конце недели.

Миссис Фелиция вяло улыбнулась и промолвила:

- Гуд бай.

Когда Вайнерман-старший вернулся из своей поездки в Шяуляй, Соломончик рассказал ему о разговоре с англичанкой.

– Мне, Соломончик, все это тоже очень не нравится. По-моему, Берлин и Москва начали делить пирог, испеченный в независимой крестьянской печи и им не принадлежащий: Гитлер отрезал себе кусок побольше – польский, Сталин оттяпал поменьше – Литву. Миссис Фелиции и ее мужу господину Гилицу, наверно, нельзя отказать в прозорливости: при такой разбойничьей дележке всегда лучше отсидеться где-нибудь под Лондоном, чем оказаться между лезвиями штыков в Варшаве или Каунасе.

Он разделся, бросил на диван, облюбованный шкодником Хацкелем, свой портфель и сшитое у знаменитого каунасского портного Перельмана пальто-реглан и то ли Соломончику, то ли самому себе сказал:

– Кажется, в Литве суду, в котором стороны сходились в честном поединке и по закону приговаривали к заключению или оправдывали обвиняемых не только перед Фемидой, но и перед Г-сподом Б-гом, – такому суду приходит конец.

– Почему?

– Невеселое у меня, Соломончик, предчувствие. У ястребов, сынок, один закон – когти...

Его невеселое предчувствие было напрямую связано с приходом русских.

Гітлі: аі еа п'ааааа

СТАНЦИЯ БАХМАЧ

Эпизод из русской революции

Ḥayyē-Ḥayyōā Ḥayyā

Здание бывшего банка, похожее на собор, было полно мужчин, женщин, детей, коробок, мешков, пишущих машинок и разбросанных бумаг. На почетном месте, рядом с сохранившимся портретом основателя банка, барина с бакенбардами и медалями, висели плохо напечатанные портреты пышноволосого Карла Маркса, лысого Ленина и остробородого Троцкого. Над ними простирался красный транспарант с белой надписью о том, что вся власть принадлежит Советам.

Резные мраморные стены и колонны были залеплены объявлениями и распоряжениями, бесчисленными распоряжениями, напечатанными или написанными на плохой бумаге. Среди официальных распоряжений висело множество частных объявлений о пропавших близких с просьбой к добросердечным гражданам откликнуться, если тем что-то известно; о потерянных вещах; о поисках ночлега.

За зарешеченными банковскими окошками, где когда-то принимали и выдавали деньги, сидели плохо одетые служащие: нестриженные и небритые молодые люди, растрепанные или коротко стриженные девушки. Очереди к окошкам, длинные, извивающиеся, состояли из мужчин и женщин, эвакуированных из Киева, который был занят польской армией. Измятые, невыспавшиеся, усталые, разбитые, растерявшиеся в чужом краю, они осаждали окошки со служащими, выпрашивая хлеб, одежду, угол, где можно преклонить голову. Одни искали вещи, которые у них пропали в дороге, другие – родственников, с которыми они разлучились в хаосе бегства. Мужья искали жен; жены – мужей; родители – детей. Служащие, не зная, что посоветовать этим людям, посылали их от одного окошка к другому, спрашивали документы, просили прийти позже, завтра, послезавтра, только не сегодня. Одна женщина, маленькая, худенькая как ребенок, но со взрослым бледным личиком, состоявшим, казалось, из одних глаз, удивительно больших, удивительно печальных и полубезумных, не переставала бродить от окошка к окошку, от человека к человеку и у каждого спрашивала о муже, с которым она сошлась всего за день до начала вражеского наступления и которого назавтра, при бегстве из осажденного города, потеряла.

– А как его фамилия? – спрашивали ее люди. – Откуда он? Чем занимается?

– Я его не спрашивала, люди добрые, – отвечала мечущаяся женщина, – я знаю только, что его зовут Сережа, что он очень милый, блондин с голубыми глазами...

Даже бесприютные люди в здании банка не могли не рассмеяться над такими приметам в огромной стране голубоглазых блондинов.

– Как можно не знать фамилию собственного мужа? – насмешливо спрашивали ее женщины.

– Его зовут Сережа, и он очень милый, ангел мой, – отвечала им женщина с безумными глазами.

Она не переставала ходить от одного к другому, несмотря на то что над ней смеялись. При этом она не выпускала из рук грязную собачонку, большое существо, которое она все время ласкала, ерошила и которому говорила ласковые слова, точно мать новорожденному первенцу.

– Успокойся, душа моя, мы найдем нашего родненького Сережу, – обнадеживала она грязную собачонку, которая лежала, поглощенная немой животной болью, как будто знала, что ей уже недолго осталось мучиться.

Среди тех, кто искал свои потерявшиеся семьи, был и я.



Наступление на столицу Украины, где я жил, грянуло как гром среди ясного неба. Всего двумя днями раньше командующий городским гарнизоном уверял, что врагу не видать красной столицы революционной украинской земли как своих ушей. Рабочие даже украсили улицы и здания множеством красных полотнищ к приближающемуся празднику Первомая. Вдруг, как раз за пару дней до первого мая, Красная Армия отступила, и началась спешная эвакуация города.

Сытый погромами и издевательствами петлюровских, деникинских и других армий и банд, которые грабили и убивали сынов Израиля, как входя в святой Киев-град, так и оставляя его, я не хотел снова пережить вступление очередной армии, взял свою семью и пустился куда глаза глядят.

На вокзалах мужчины дубасили друг друга кулаками из-за места в теплушке; женщины таскали друг друга за волосы, падали в обморок; дети вопили; люди лезли в вагоны через двери и окна. Сам не знаю, как мою семью впихнули в вагон. Когда я хотел последовать за ними, какой-то солдат преградил мне дорогу блестящим острием штыка, приставив его к моей исхудалой груди.

– Ни с места, проткну! – сказал он.

По его суровому лицу и неподвижному взгляду я понял, что он это сделает. Поезд ушел. В ужасной давке я не смог даже разглядеть моих исчезнувших близких. Мне, как и тысячам других, не севших в поезд, остались только стук колес и дым.

На берегу Днепра паника у кораблей была такой же большой, как на вокзалах. На одном белом корабле капитан, встав у штурвала, в рупор умолял людей не осаждать его пароход.

– Товарищи, судно не может взять больше, – предупреждал он, – вы утонете.

Никто не слушал его, и толпа волнами вливалась на корабль.

Подхваченный толпой, я попал внутрь. Одуревшие матросы бегали вокруг и тумаками гнали толпу от бортов на середину палубы.

– Пошли вон, черти, перевесите с одного борта и потопите судно! – надрывали они глотки.

Пароход шел медленно, все время пыхтя и свистя. С зеленых берегов возле местечка Канев, где с горы на нас смотрел белый памятник украинскому поэту Шевченко, на пароход вдруг неведь откуда посыпался град ружейных пуль. Капитан громко закричал:

– Полный вперед!

Мы пошли дальше вдоль живописных, но опасных берегов Днепра. Мы миновали Черкассы, Кременчуг, другие города и местечки. Наконец, то тащась, то останавливаясь, мы прибыли в Екатеринослав, город, который князь Потемкин построил для своей царицы и любовницы – Екатерины.

Чужаком бродил я по красивому южному городу на Днепре. Ночью спал в Потемкинском парке, дни проводил в разных учреждениях с дикими названиями, простаивал в длинных очередях и пытался выяснить, куда ушел поезд с моей потерянной семьей.

Никто ничего не знал, ничто не обслуживало штатских – ни телеграф, ни почта, ни телефон, ни железная дорога. Все было занято военными. По широкому городскому проспекту двигались массы всадников казачьей армии Буденного. Они скакали прогонять врага из столицы Украины. На низкорослых сибирских лошадках тянулись нескончаемые вереницы конников, загорелых, покрытых пылью, дико и с любопытством глядевших по сторонам, бородатых, лохматых, чубатых, в косматых малахях и папахах несмотря на испепеляющее солнце, с ружьями и пиками, с кинжалами и отделанными серебром кавказскими пашками и ножами. Вместе с мужчинами ехали верхом их жены, такие же загорелые, запыленные, нетерпеливые и весело-воинственные, как их мужья; мощными голосами всадники пели свои протяжные дикие песни об Урал-реке, о боях и разгуде.

Çà Òðàèîî çà ðàèîé

Êàçàèè àèÿèè,

Õàé-õàé, áàé, àèÿé,

Êàçàèè àèÿèè...[\[1\]](#)

Городские служащие, неопытные новички, запутавшиеся в хаосе ежедневных новых законов и распоряжений, не знали, что делать с потоком людей и багажа, который все время прибывал с эвакуированных территорий.

– Мы не знаем, придите позже, оставьте нас в покое, – отвечали они из окошек.

После нескольких дней беготни от служащего к служащему я пробился к старшему. Выслушав первые слова моей просьбы, он остановил меня единственным словом:

– Замкомпозвакюг!

Я хотел было переспросить его, что значит это фантастическое слово. Красноармеец, стоявший на часах, приказал мне идти и не задерживать очередь.

С большим трудом до меня дошло, что это слово – сокращенное название должности заместителя комиссара по эвакуации южного фронта, к которому мне следует обратиться с моей просьбой.

Сотни уже стояли передо мной в очереди к этому важному начальнику.

После нескольких дней ожидания я пробился к нему. Этот «замкомпозвакюг» оказался всего-навсего молодым пареньком, с девичьими румяными щечками, поросшими светлым мягким пушком. Он сидел в фуражке, окутанный облаками махорочного дыма.

– Какой был номер поезда, на котором ваши уехали? – спросил он.

– Я не знаю, – ответил я.

– А мне откуда знать, товарищ? – спросил он в свою очередь, со смехом выпуская изо рта дым. – Ищи иголку в стоге сена!

Я последовал его совету и стал искать иголку в стоге сена.



Я пустился наобум, вопреки всем законам и распоряжениям, вопреки всем доводам рассудка. Меня завертело в хаосе революции и Гражданской войны. Я ездил зайцем на крышах поездов, висел на буферах, устраивал себе укрытие в вагонах с каменным углем. Однажды молодой политрук, который доставлял лошадей для армии, подвез меня часть пути вместе со своими лошадьми. За это я зубрил с ним немецкие слова, которые он очень хотел выучить, но ему никак не удавалось их прожевать своим русским ртом. В другой раз мой поезд остановился посреди степи недалеко от станции

Синельниково. Я точно не помню, было это у Синельниково-1 или у Синельниково-2, зато я помню, что поезд всю ночь простоял с погашенными огнями в чистом поле. Даже курить запрещалось. Всевозможные зловещие слухи проносились темной ночью среди степи. Поговаривали, что железнодорожные пути перерезаны саботажниками, что из разбойничьего гнезда Гуляй-Поле на нас надвигаются банды, что атаманша Маруся, которую называли Маруся-босячка, приближается к нам со своими всадниками.

Несколько недель таскался я по прекрасной украинской земле: где дневал, не ночевал, где ночевал, не дневал. В Харькове я наткнулся на людей, которые уехали на киевском поезде. Они сказали мне, что моя семья должна быть в городе Сумы. Там я ее не нашел и направился в Полтаву, где, как предполагалось, она должна была быть. В Полтаве мне посоветовали ехать в другой город, в некое местечко Константиновград, под Полтавой. Наконец, после двухмесячных поисков, я нашел моих в этом местечке с длинным названием.

Местечко было маленьким и тихим. Опустевшие улицы были покрыты соломой, лошадиным и воловьим навозом. Ленивые крестьяне тащились по ним на телегах, запряженных волами, покуривая трубки и понукая своих спокойных волов ленивым «цоб-цобе». Русские вывески на лавках были замазаны, и на них были наскоро намалеваны украинские надписи, чтобы крестьяне могли их прочесть. Но крестьяне и крестьянки ничего не могли достать в этих лавках – ни керосина, ни соли, ни табака, ни даже колесной мази. Тяжелые двери лавок были заколочены. На ржавых замках висели сургучные печати, а на стенах – объявления о том, что частная торговля упразднена и что конфискованные лавки находятся в распоряжении Советов и закрыты вплоть до дальнейших указаний. Крестьяне туповато пялились на развешанные повсюду портреты остробородого Троцкого, этого антихриста, под властью которого теперь нет ни Б-га, ни торговли.

Единственным местом, где велась торговля, была большая круглая рыночная площадь. Бумажных денег никто не брал. Но заплатанную рубаху можно было обменять на мешок картошки; пару старых штанов – на пуд ржаной муки; за иголку давали целую дюжину тыкв. Никогда в жизни я не видел таких больших вкусных тыкв, как в этом местечке.

Мне было нечего делать в этом захолустье. Но ехать было некуда, да и невозможно. Я снял с себя последнее, отнес это на базар и обменял на картошку и тыквы. Небольшой хлебный паек мы получали за работу моей жены в расквартированном в местечке военном госпитале. Жили мы в комнатке в доме, который принадлежал человеку, бежавшему от революции. Кем уж он там был, что ему пришлось спастись от советской власти, – исправником или попом – неизвестно. Но кем бы он ни был, это был очень благочестивый православный христианин, потому что в каждой комнате его просторного дома висели иконы, всевозможные иконы, маленькие, средние, большие и совсем большие, в тяжелых старинных черных рамах, в резных окладах; даже в чуланах висели иконы. Мой сосед, худой, светловолосый украинский хлопец, военный комиссар, каждый день снимал очередной святой образ, колот его на щепки и на них варил себе свой скудный обед. Когда в его горшках все было готово, он пускал меня поставить несколько картофелин на святой огонь. Но в основном мы питались тыквами.

Дни стояли долгие, просторные. Солнце садилось в двенадцать часов ночи. Ему приходилось садиться так поздно, потому что для экономии керосина и свечей советская власть перевела часы на целых четыре часа вперед. Из-за того, что оно, это летнее солнце, так запаздывало с заходом, оно запаздывало и с восходом поутру. Оно поднималось на

востоке не раньше восьми часов. Рассвет был настолько поздним, что люди вставали как раз с первыми лучами. Долгие жаркие дни тянулись, как смола. Даже газеты не доходили. Я ничего не знал о том, что творится во взбудораженном мире за пределами этого захолустья. Только военные похороны вносили разнообразие в монотонное существование. День за днем, минута в минуту, из военного госпиталя выносили очередного солдата, умершего от ран, полученных на поле боя, или от сыпняка. Низкорослый начальник госпиталя Козюлин, обрусевший еврей с калмыковатым лицом и русской фамилией, устраивал очень торжественные проводы умерших в его госпитале солдат: на телеге, покрытой красным знаменем, в сопровождении нескольких солдат с винтовками и даже духового оркестра из трех труб, на которых играли военные санитары из госпиталя. Мой сосед, военный комиссар, держал над каждой свежей могилой одну и ту же речь о том, что павший принес себя в жертву революции, и уверял его, павшего, что мировой пролетариат запишет его имя среди имен своих героев. Кроме этих похорон ничего больше не происходило в заброшенном местечке. От великой скуки мне пришло в голову попробовать что-нибудь написать. Но у меня не было ни чернил, ни перьев, ни бумаги. Купить что-нибудь было невозможно. На рынке таких товаров не было. Я отправился в учреждение, заведовавшее конфискованными лавками, чтобы попросить письменные принадлежности. Пожилой украинец, в широких шароварах и с огромными свисающими усами, похожий на казака – персонажа гоголевской прозы, сказал мне по-украински, что я должен написать прошение, и к тому же на местном наречии. Несмотря на то что я не мог написать ни слова по-украински, я согласно покивал головой в ответ на требование усатого служащего, помня, что советуют евреи в таком случае: пиши на русском с ошибками, и выйдет хороший украинский.

– Дайте мне чернила и перо, и я напишу прошение, – сказал я по-русски пополам с польскими словами, чтобы умилиловать дотошного украинца.

– Чтобы получить письменные принадлежности для написания прошения, вы должны написать прошение, – с торжественной официальностью ответил мне гоголевский герой.

– Но как же я могу написать прошение без письменных принадлежностей?

– Тогда не пишите, – посоветовал мне гоголевский казак.

– Но мне же нужны письменные принадлежности!

– Тогда пишите прошение!..

Это был замкнутый круг, не выбраться.

Мой сосед, комиссар, раздобыл для меня огрызок карандаша и пачку судебных протоколов, каллиграфически исписанных опытным канцелярским писарем еще при царском режиме. Это были пожелтевшие старые протоколы процесса над убийцей по фамилии Миколук, который убил целую семью в своей деревне, приревновав молодую крестьянку: он хотел на ней жениться, а семья девушки не хотела ее отдать за него. Этот романтический убийца Миколук все время стоял у меня перед глазами и мешал мне писать. Я представлял себе его, крестьянскую девушку, в которую он был влюблен, ее родителей, братьев и сестер, которые помешали сватовству. Я так ясно видел каждого из них, их фигуры, одежду и лица, как будто был с ними близко знаком. Я слышал их голоса, их споры и перебранки с молодым Миколуком, которого они не хотели впустить в свою семью. Они так въелись в меня, все эти люди из заброшенной русской деревни, которые

уже несколько десятков лет были на том свете, вместе, вероятно, со своим убийцей Миколоком, что я никак не мог собраться с мыслями и написать задуманную историю. Поэтому я то и дело вымарывал мои еврейские слова, убористо вписанные между каллиграфических строк русских судебных протоколов.



Я хотел уже было остаться на целое лето и, может быть, даже на зиму в придачу, в этом местечке, где были такие дешевые тыквы. Но революция гналась за мной и добралась-таки в этот заброшенный угол.

Однажды утром частая стрельба стала доноситься с окраины местечка. Мой сосед, военный комиссар, посреди стряпни бросил на огне из икон свои горшки и поднял по тревоге маленькую воинскую часть, стоявшую в местечке. Хотя никто не видел наступавших, было известно, что это банды батьки Махно, которыми кишела Южная Украина и которые всегда вырастали как из-под земли там, где их не ждали. Даже санитаров из военного госпиталя вместе с тремя трубачами из духового оркестра тощий комиссар снял с работы и вооружил винтовками, чтобы отразить врага. Высокий светловолосый комиссар вышел, держась так прямо, что винтовка на его плече выглядела продолжением гибкого тела. Он и сам был как винтовка. Когда после целого дня тяжелых боев комиссар не смог отогнать наступавших, то послал конного за помощью в соседний гарнизон, где стояли подразделения интернационального полка.

Иностранцы бойцы – венгерские гусары, немецкие спартакосцы, латыши, китайцы, несколько галицийских евреев – пленных австрийских солдат из императорской и королевской армии Франца-Иосифа – очень гордо промаршировали через местечко навстречу врагам революции. Но их возвращение было плачевным. Враг взял их в клещи с нескольких сторон. Победители даже не стреляли в них, только рубили саблями в капусту. На следующий день десятки крестьянских подвод, запряженных волами, которых погоняли крестьянки, привезли куски человеческих тел с поля боя.

Потом и мой сосед-комиссар вернулся с поля боя, прогнав наконец напавших на местечко. Его длинное туловище казалось еще более тощим, чем обычно, он был грязен и мрачен. Его речь над братской могилой павших иностранцев была на этот раз такой пламенной, как огонь от икон, которые он жег. Несколько часов после этого он смазывал и чистил свою винтовку, сидя перед домом.

– Ей требуется хорошая чистка, – бормотал он, – своими собственными руками я тридцать из них поставил к стенке и отправил в штаб Духонина.

Штаб царского генерала Духонина был уже давно на том свете.

Позже худой комиссар особенно усердно рубил иконы на пороге дома. Но недолго оставалось ему готовить свою еду на святых образах Бога и Его Матери.

С Крымского полуострова через Перекоп двинулась на богатые украинские земли белогвардейская армия барона Врангеля. Несмотря на то что она была еще куда как далеко, ее появления уже ждали на дороге в Полтаву. Я знал, что у меня есть все возможности найти себе место в братской могиле, среди солдат интернационального полка, зарубленных на чужой земле. И я оставил на самой середине протоколы суда над убийцей Миколоком, в которые втискивал мои еврейские буквы, и пустился наутек из южного местечка, которое в тот год небеса благословили тыквами.

Моей семье пришлось уехать с военным госпиталем, который временно эвакуировали в более безопасное место. Мне нельзя было уехать с госпиталем легально. Ехать нелегально тоже было невозможно. Все поезда были заняты под армейские части и эвакуируемые учреждения. Повсюду было объявлено военное положение. Все учреждения теперь подчинялись военным. Чтобы получить разрешение на выезд из этих мест, я отправился в уездную ЧК: только она могла повлиять на железнодорожное начальство. В прокуренной комнате, полной мух, которые жужжали вокруг керосиновой лампы и чернильницы, стоявших на грубо сколоченном длинном столе, сидел пепельноволосый тип с глубокими, резкими и темными морщинами на чугунном лице. На нем были солдатские штаны и фуфайка, а его широкие ступни были босы. Сапоги стояли рядом с ним так прочно, словно ноги все еще были вдеты в голенища. На столе лежали нарезанный хлеб и револьвер, такой же твердый и черный, как этот босоногий человек, который выглядел так, будто много лет был шахтером или сталеваром на металлургическом заводе.

– Чего тебе? – спросил меня босоногий, обращаясь ко мне на «ты».

– Я хочу видеть товарища комиссара, – сказал я.

– Это я, чего надо? – ответил босоногий тяжелым, спокойным, неприветливым голосом.

Я рассказал ему, как очутился здесь, и что хочу вернуться в Киев, откуда враг был уже выбит, и теперь его гнали дальше.

Босоногий поглядел на меня угрюмым взглядом, полным недоверия и подозрений. Он стал задавать мне короткие, рубленные вопросы:

– Кто ты? Откуда? Чем занимаешься?

– Пишу.

– В каком советском учреждении ты пишешь?

Я разъяснил ему, что я не писарь в учреждении, а писатель. Он не понял. Я растолковал ему на все лады, что пишу книги, сочиняю истории. Его глаза глядели на меня со все большим недоверием.

– Зачем ты все это пишешь? – хотел он знать. – Кому это нужно?

Я и сам не знал, зачем я все это пишу. Еще меньше я знал, кому это нужно. Никому не были нужны мои первые пробы пера, особенно в такое время. Мне нечего было ответить. Босоногий человек окинул меня с головы до ног своим угрюмым взглядом.

– Откуда ты родом? – сурово спросил он. – Из какой страны?

– Из Польши.

Он аж рот раскрыл от удивления, показав крупные дожелта прокуренные зубы.

– Во как? Из Польши? – переспросил он с улыбкой, застывшей на чугунном лице.

Война Польши с Россией была в самом разгаре.

Босоногий позвал из соседней комнаты какого-то человека, который, вероятно, был его правой рукой. Насколько неряшлив и угрюм был босоногий, настолько его товарищ был разодет в пух и прах. Это был высокий молодой кавказец в черкеске, украшенной ножичками, кинжалами, наборным серебряным поясом и разными другими цацками. Широкий в плечах, узкий в талии, с точеными, легкими ногами в мягких сапогах, в лихо заломленной папахе, перекрещенной золотыми галунами, легкий и порхающий, он выглядел как опереточный кавказский красавец. Он глянул на меня большими черными глупыми глазами и рассмеялся, показав все свои белоснежные зубы.

– Он – настоящая птица, – сказал он на комичном русском, – польская ворона.

Кавказец хотел было толкнуть патетически-нелепую, полную словечек уличных ораторов речь о революции и войне, но босоногий прервал его. Вместо речей он позвал вооруженного красноармейца и приказал ему пойти со мной туда, где я жил, и забрать все мое имущество. Кроме судебных протоколов об убийце Миколуке у меня ничего не было. Босоногий вместе с кавказцем долго и упорно рассматривали еврейские буквы, которые я втиснул между русских строк, и таинственно переглядывались.

– Черт знает, что это за знаки, – сказал босоногий, уверенный, что перед ним – опаснейшие польские шпионские документы.

Кавказский красавец кивнул головой. Босоногий спрятал бумаги.

– Товарищ красноармеец, запри его до выяснения, – сказал он, – и не спускай с него глаз.

Я видел, что дела мои плохи, в хаосе революции и войны мало церемонились с отдельным человеком, да к тому же с выходцем из страны, которая воевала с Россией. Я хотел спастись, объяснить, что мои писания не более чем безвредные истории. Босоногий и не думал меня слушать.

– Ерунда! – сказал он и натянул сапоги на ноги. – Скоро мы разузнаем, что там у тебя в твоих бумагах. Увести!

Красноармеец приказал мне идти вперед, а сам шел в нескольких шагах сзади, так, чтобы при малейшей моей попытке к бегству он мог достать меня штыком или пулей. Хоть я и не видел наставленного на меня штыка, но чувствовал спиной его ледяное дыхание.

Между тем красноармеец говорил мне, философствуя по-мужицки:

– Может, ты не виноват, а может, и виноват. Я человек темный, читать-писать не умею, вот и не знаю. По мне так, ступай себе с Богом, а мне и дела нет. Но у меня приказ тебя охранять, а приказы я должен исполнять... Вот так вот, товарищ...

Я медленно брел вперед. И тут мне встретился военный врач Козюлин, который эвакуировал последние койки своего госпиталя. Он взглянул на меня своими калмыцкими глазами и рассмеялся.

– Эй, товарищ Пушкин, – окликнул он меня в шутку, имея в виду мое писательство, – в какого это комиссара вы бросили бомбу, а?

Вероятно, я выглядел слишком серьезным для шуток, и он перестал смеяться.

– Товарищ красноармеец, веди его обратно, – приказал он, – я пойду с вами и все разьясню.



Ленивый красноармеец немного помолчал, не зная, как поступить. Хорошенько подумав, он приказал мне возвращаться.

– Назад так назад, – лениво протянул он, довольный тем, что ему не придется меня сторожить.

Целых полчаса врач Козюлин толковал с босоногим типом о литературе, о ее важности для трудящихся масс и о ее пользе для советской власти. Но босоногий оставался холоден и тверд как камень. Обрусевший доктор даже вспомнил с большим трудом забытые с детских лет еврейские буквы и с улыбкой прочел, строчку за строчкой, мои писания на судебных протоколах. Он, смеясь, перевел их на русский для человека из чугуна.

– Я ручаюсь за него, товарищ комиссар, – подтвердил он, – я – старый партиец.

После долгого задумчивого молчания человек с чугунным лицом уступил.

– Мне понятно, когда человек – крестьянин, доктор, писарь в канцелярии, – спокойно сказал он, – о писаре историй я не слыхал и не понимаю, для чего тут марать бумагу.

После этого он приказал красноармейцу идти на свое место, а сам сел за стол, спокойно снял с чернильницы засохших мух, обмакнул старое перо и с большим трудом вывел на мятом клочке бумаги неуклюжие и безграмотные слова о том, что я могу уехать и имею право на место в поезде. Потом он плюнул на высохшую печать и поставил смазанный оттиск на мятой бумажке.

– Жарко, товарищи, – проворчал он, потев от тяжких усилий, потраченных на писание.

Неделю я проторчал на станции за местечком, ожидая поезда. Время от времени через нее проходили поезда, но ни в один из них меня не пустили, несмотря на то что я показывал свою бумажку с печатью. Это были военные поезда: в бесчисленных вагонах везли имущество, эвакуированное с территорий, которым угрожала война. Однажды подошел поезд, полный грузов и пассажиров. Я тут же забрался на крышу теплушки, где еще можно было приткнуться. Сидя на залитой солнцем жести, я смотрел вперед, чтобы не удариться о свод тоннеля или другое препятствие, от которого можно было стать на голову короче.

Поезд был длинный, набитый пассажирами всех мастей, во многих вагонах везли скот, уголь, сено. Куда идет поезд, никто не знал. Дороги были запружены, пути заняты военными поездами. Местами были взорваны рельсы и мосты, выдернуты шпалы.

– Поедем, когда сможем и куда получится, – зло отвечали железнодорожники пассажирам, которые, не переставая, лезли к ним с вопросами.

Я просидел ночь на крыше поезда, который был готов отправиться в любую минуту, как только освободится путь. Наконец мы поехали. Но это было путешествие, во время которого приходилось больше стоять, чем ехать. То заканчивался уголь для паровоза и пассажирам приходилось рубить деревья и пилить их на чурки, чтобы растопить топку, то загорались не смазанные вовремя оси вагонных колес, то что-нибудь

ломалось в машине старого паровоза. Он делал все, что мог, этот паровоз, он все время свистел, дымил, выбрасывал целые столбы огня и искр, вонял, пыхтел, кряхтел, но бежать не бежал. Один раз машинист даже бросил поезд посреди дороги и отправился в деревню к знакомым крестьянам пить чай.

Вернулся он не меньше чем через час. По тому, как он ковылял, можно было уверенно заключить, что пил он не чай, а водку военного времени – сивуху, которую гнали крестьяне. Только от этого самогона можно было быть таким мертвецки пьяным, каким был машинист. Сразу же наш поезд заковылял, как человек, который его вел. В одном месте поезд разорвался – одна половина, с паровозом, ушла вперед, другая половина, оторвавшаяся, побежала назад. Я был в последней. К счастью, местность была равнинная, и оторвавшиеся вагоны остановились после того, как потеряли инерцию. Мы были уверены, что пьяный машинист бросит нас посреди дороги, но он подогнал паровоз обратно, прицепил нас старыми разболтанными крюками и снова пустился в путь.

Часы, дни, целые ночи простаивали мы на заброшенных станциях, нередко – в чистом поле и ждали. Мы не знали, чего ждем, когда поедem, как поедem. Мои соседи по крыше, люди со множеством узлов, связанных вместе, рассказывали о бандах, которые взрывают рельсы, нападают на поезда, отрезают носы и уши евреям и комиссарам, и о тому подобных радостных вещах...

Странный был народ, эти мои соседи по крыше. Из-за того, что на них были солдатские гимнастерки, сапоги, штаны и фуражки, но не было знаков различия, невозможно было понять наверняка, что это за солдаты: то ли советские, то ли наоборот. С тем же успехом они могли быть и дезертирами, и демобилизованными, еще не снявшими форму после войны, а может, они просто носили военную форму, как большинство мужчин после революции. Один из них, пройдоха, знавший все дороги, все обычаи и правила, все маршруты всех поездов, которые сами не знали своих маршрутов, постоянно рассказывал язвительные истории и анекдоты о советских комиссарах и служащих, которые у него все были евреями. Народ покатывался от его историй и рассказов. Устав говорить, он начинал играть на гитаре и петь военные песни. Чаше других он пел песню о яблочке, которое катится в ЧК. Народ вокруг него с душой подхватывал эту песенку, в которой, судя по всему, слышал намек на свою жизнь.

Эх ты, яблочко, куда ты котишься,

Попадешь в Чека, больше не воротишься...

Еще больше, чем «Яблочком», парень с гитарой радовал едущих на крыше песенкой о веселой свадьбе комиссара Шнеерсона. Эта веселая песенка распространялась по стране, как сорная трава по пустырю. В этой песенке перечислялась в рифму вся родня, которая пришла потанцевать на свадьбе Шнеерсона и его невесты Сары. Пришел комиссар Лейб, который конфискует у крестьян хлеб; пришла тетя Бела из финотдела; пришли комиссар продовольствия Воробейчик и комиссар путей сообщения Соловейчик, а также комиссарша Злата и два ее брата... Парень с гитарой очень комично выговаривал по-русски имена еврейских родственников, и все, кто был на крыше, хлопали в ладоши и притоптывали ногами в такт:

Страшно шумно на свадьбе Шнеерсона...

При этом они озорно заглядывали мне в глаза и хотели знать, почему я не подпеваю. Ночью, когда все ложились плашмя на крышу, чтобы в темноте не удариться о

препятствие, мои соседи сбивались в кучу, курили самокрутки и рассказывали истории: одну за другой, всё больше о бандах, которые останавливают поезда и отрезают носы и уши у комиссаров и евреев.

После одной из таких ночей я приехал поутру на станцию Бахмач.

Лежала ли эта станция на пути в освобожденный Киев, куда должен был следовать поезд, или нам пришлось проехать через эту станцию, потому что другой дороги не было, – не помню. Я бы не запомнил и странного названия «Бахмач», как не запомнил названия большинства других станций с подобными названиями, через которые мы проехали, вроде какой-нибудь Кочубеевки, если бы в этом Бахмаче не произошел исключительно любопытный случай.

На довольно большом расстоянии от здания вокзала станции Бахмач, как раз у штабелей железнодорожных шпал, заброшенных складов и будок, толпа людей, вооруженных винтовками, преградила дорогу нашему поезду и приказала остановиться. Еле ползущему паровозу ничего не стоило затормозить. Сперва мы не знали, кто эти вооруженные люди. Все вооруженные люди того времени, и те, кто служил революции, и ее враги, носили одинаковые рваные сапоги или лапти, одинаковые ватные штаны, фуфайки и потрепанные фуражки – что зимой, что летом; одинаковые винтовки висели у них за плечом на веревке. Парень с гитарой ненадолго приложил руку козырьком к глазам и предрек, что это, должно быть, «орлята» батьки Махно. Его соседи стали зловеще поглядывать на меня. Вскоре парень разглядел отблеск золотой звезды на черной груди предводителя и забеспокоился.

– Братцы, православные, это карательная экспедиция против контрабандистов, – со злобой известил он.

Православные братцы тут же принялись шарить по своим узлам, в который раз завязывая и перевязывая их. Отблеск золотой звезды становился все ближе и ближе. Вскоре можно было разглядеть в полный рост ее владельца. Он был в коже с головы до пят. Фуражка, куртка, зад штанов, – все было из настоящей черной кожи. Первые лучи восходящего солнца весело играли со звездой, вышитой золотом на черной кожаной куртке комиссара, и с маузером без кобуры, заткнутым за ремень. Парень с гитарой бросил на комиссара один взгляд и махнул рукой своим людям.

– Братцы, православные, дело дрянь, – сказал он, – в кожанке-то – «тартарин».

Так в ту пору называли евреев, вероятно, из-за гортанного выговора на русском, что для гойского уха звучало как «тар-тар»...

Вся компания снова принялась таскать туда-сюда свои узлы, завязывать и перевязывать их. Комиссар в кожанке надвинул свою тесную фуражку на голову, растрепав копну густых черных кудрей. Затем он смерил поезд своими яркими большими черными глазами и громко крикнул:

– Товарищи, вылезай из поезда! Со всеми пожитками!

«Эр» в этом его «товарищи» было мягким, гортанным, точно таким же, какое парень с гитарой передразнивал в своей песенке о родне на свадьбе комиссара Шнеерсона. Насколько преувеличенным был его еврейский акцент, настолько же преувеличенно

еврейской была его внешность. Нос большой и крючковатый, как у хищной птицы; брови – густые и сросшиеся; губы – красные, полные и чувственные; цвет мясистого загорелого и обветренного лица – темно-коричневый. Но самыми еврейскими были его глаза, большие, угольно-черные, в резко очерченной оправе ресниц и бровей. Однако ни крошки печали не было в этих черных еврейских глазах; они смеялись, купались в радости. Полсотни его солдат походили как две капли воды на всех русских вооруженных крестьян – бесцветные, серые, безразличные. Их серые шинели были измяты и полны вшей, но ручные гранаты оттягивали ремни на бедра.

Пассажиры с узлами и тюками не торопились выбираться из теплушек. Они всё копошились вокруг своих вещей. Ленивее всех двигались типы с моей крыши. Комиссар подгонял их.

– Шевелитесь, товарищи! – подбадривал он толпу. – Двигайте ногами!

Я слез с крыши первым. У меня ничего не было, кроме холщовых штанов и куртки, сшитой из старого мешка для соломы. Мои запасы пищи исчерпывались половиной тыквы, тощей краюхой хлеба и скелетом селедки. Комиссар приказал мне отойти в сторону и взялся за пассажиров с багажом.

– Все вскрывать, каждый тюк и узел, товарищи красноармейцы! – приказал он, поддавая жару своим ленивым, медлительным солдатам, которые равнодушно проводили досмотр.

Точно так же он поторапливал важных пассажиров, которые, не горя желанием открывать багаж, показывали солдатам свои документы, большие бумаги с печатями, бумаги, которые свидетельствовали о важном положении этих людей на советской службе. Солдаты, полуграмотные, полные крестьянского благоговения перед документами и печатями, не решались подступить к важным людям. Черноволосый комиссар изгнал из них страх.

– Будь вы хоть сам товарищ Троцкий, вам придется открыть свои вещи, – отвечал он каждому пассажиру, который начинал перечислять свои заслуги перед революцией, – выходите с пожитками, и посмотрим, что у вас там...

Его черные глаза проникали везде. Как ни пытался кто-нибудь что-нибудь припрятать, он сразу замечал это. Ничего нельзя было укрыть от этих больших ярких глаз. Кроме того, он не давал заговорить себе зубы. В нем не было снисхождения ни к титулам и рангам, ни к объяснениям и резонам, ни к женским уловкам и улыбкам.

Одна красавица блондинка, высокая, с внушающим почтение красным крестом на белом фартуке, знаком того, что она сестра милосердия в военном госпитале, ни за что не хотела открывать свой чемодан. Она умоляла, прибежала к женским чарам, плакала, закатывала истерику.

– Товарищ комиссар, я работаю в госпитале для раненых красноармейцев, – настаивала она, – вот мои документы из самого штаба армии.

Юноша в кожанке не снизошел ни к ее исключительной красоте, ни к ее исключительным документам.

– Что у вас там, сестра? Соль? Сахар? – спрашивал он, смеясь, и смотрел в ее заплаканные прекрасные большие глаза.

У нее не оказались ни соли, ни сахара, зато много бинтов, ваты и аспирин – все самое дефицитное в госпиталях.

Вдруг юноша остановил взгляд своих черных веселых глаз на дородном бюсте сестры милосердия, который был слишком высок даже для ее пышных женских форм, и приказал высокой покрасневшей красавице вынуть оттуда то, что было там припрятано. Блондинка застыла на месте.

– У меня там ничего нет, видит Бог! – поклялась она.

Юноша уставился на ее полную грудь.

– Вынимай, сестричка, – по-дружески посоветовал он ей, – а то мы сами вынем...

«Сестра» махнула рукой, как будто ей уже нечего было терять, и, засунув руку под фартук, вынула оттуда, как раз из-под красного креста, баночку с белым порошком.

– Забирайте, забирайте всё, душу мою заберите! – закричала она в истерике. – Теперь ваше время.

Комиссар взял баночку, открыл ее, понюхал и со знанием дела спросил:

– Что, сестричка, кокаин везем?

Высокая красавица разрыдалась в голос.

– Боже! – зывала она. – Царица Небесная!

В узлах и тюках других пассажиров обнаружили и другие запрещенные вещи: мука, холст, сахар и чаще всего – соль, товар, который был еще дороже, чем сахар. Целые мешки соли нашли у моих соседей по крыше.

Комиссар, выставив охрану вокруг контрабанды и взяв под стражу контрабандистов, продолжал подгонять ленивых солдат своим гортанным «эр» в слове «товарищи», которое он вставлял в каждую фразу.

– Скорей, товарищи! – торопил он. – Скорей, скорей, времени нет!..

В том, как он понукал своих людей, была веселость и бесшабашность помощника балаголы, этакого хвата, опытного в обращении и с людьми, и с лошадьми, из тех, что уводят из-под носа у прочих извозчиков всех седоков и, хотя они того или нет, набивают ими свою кибитку. Он, судя по всему, и был балаголой, прежде чем пошел служить революции. Это было видно по его закаленному, крепкому телу, по его загорелому лицу, по его шапке спутанных угольно-черных волос, которые рассыпались из-под сдвинутой на затылок фуражки. Он выглядел как один из тех сильных простых еврейских парней, которым приходится иметь дело с плохими дорогами, лошадьми, лесными разбойниками, бурями, ливнями, голодными волками и прочими опасностями. Он прочно стоял на запустелой украинской земле.

Наконец он подошел к закрытой сверху донизу теплушке. На заколоченных дверях этого вагона мелом было написано, что он занят матросами и что никто не имеет права влезать в него. Юноша в кожанке постучал кулаком прямо по надписи.



– Товарищи, открывайте! – приказал он со своими еврейскими «эр».

Никто не отозвался. Только веселый наигрыш губной гармоники приглушенно доносился из закрытого вагона. На этот раз комиссар использовал не кулак, а рукоятку своего большого пистолета без кобуры.

– Товарищи, открывайте немедленно! – прогремел он, стуча пистолетом в дверь.

Музыка губной гармоники в закрытом вагоне зазвучала громче.

Юноша в кожанке сдвинул фуражку еще дальше, как будто она мешала ему думать. Он расставил пошире свои налитые ноги, упер их в землю, будто собираясь навечно закрепиться в почве, и отдал такой приказ, который разнесся на версты вокруг и вернулся из утренней тишины многократным эхом.

– Откройте двери, товарищи, или я буду стрелять!

Губная гармоника в закрытом вагоне замолкла, и дверь со скрипом приоткрылась. В проеме, полностью его заняв, стоял один-единственный матрос.

Все собравшиеся смотрели, раскрыв рот, на моряка, стоявшего в дверях вагона. Даже в стране высоких, широких в кости людей, особенно среди моряков, оторопь брала при виде этого топорно сбитого, широкоплечего типа, который, казалось, явился из какого-то иного мира. Все в этом моряке в синей матросской форме было неуклюже: руки, ноги, плечи, голова; светлая как лен чуприна спадала ему на глаза, стальные, холодные,

словно два кусочка хмурого моря. Из-под расстегнутой на его мощной груди рубахи смотрела вытатуированная голова цыганки с нечесаными волосами, разметавшимися на обе стороны. Через плечо была переброшена пулеметная лента, за ремень заткнуты два пистолета и кавказский кинжал в придачу. Его бледное малоподвижное лицо окаменело. Нельзя было понять, молод он или стар. На этом лице с преувеличенно большими, выпирающими скулами и крепким подбородком торчал комично-маленький нос, короткий, широкий, состоящий почти что из одних вздернутых ноздрей. Дверной проем вагона был слишком низок для неуклюжей громадной фигуры матроса, и поэтому он стоял согнувшись и высунув голову наружу, что придавало ему еще более героический и зверский вид. Он походил на увеличенную картинку, изображающую пирата в приключенческих книжках для мальчиков. Его голос был таким же грубым, как он сам.

– Тебе што, а? – спросил он скрипучим, будто из пустой бочки, басом.

Комиссар в кожанке сразу же утратил в глазах пассажиров половину своей телесной крепости рядом с великаном в дверях вагона. Мои бывшие попутчики, которые теперь стояли под стражей, ехидно переглядывались, будто предчувствуя что-то недоброе для смуглого юноши в кожанке. А тот оставался таким же уверенным и жизнерадостным, как прежде.

– Товарищ матрос, – произнес он со своим мягким еврейским «эр», – вы и все ваши должны покинуть вагон, потому что нам нужно его обыскать.

Моряк в дверном проеме некоторое время молчал, будто бы раздумывая, подобает ли ему разговаривать с этим пареньком в кожанке. После долгих раздумий послышался его низкий бас.

– Товарищ комиссар, – сказал он, – мы – матросы советского флота, никто не может нас обыскивать, понятно?

Комиссар посмотрел снизу вверх на моряка в дверях и продолжил, сохраняя радостное спокойствие.

– Товарищ матрос, я тоже служу советской власти, и у меня приказ обыскивать всех, – весело ответил он, – без разбору, товарищ.

Рослый моряк еще ниже наклонил свою неуклюжую голову и холодными кусочками моря, которые были у него вместо глаз, смерил с головы до ног юношу в кожанке. В его взгляде не было гнева – лишь предупреждение, усмешка льва, которому поперек дороги встала коза.

– Парень, – по-свойски, без комиссарского звания, обратился моряк к юноше в кожанке, – парень, я ж тебе сказал, что мы – матросы, гордость революции, и никто не будет нас обыскивать.

– Товарищ матрос, у меня приказ обыскивать, – ответил юноша в кожанке, – не препятствуйте советскому комиссару исполнять его функции.

Он сказал это с достоинством, явно довольный тем, что пользуется такими красивыми, учеными словами.

Все пассажиры разинули рты в ожидании того, что последует. Солдаты с винтовками на веревках смотрели то на моряка, то на своего комиссара. По их крестьянским лицам трудно было понять, кого они поддерживают больше. Кочегары паровоза стояли в своих промасленных одеждах, полные любопытства.

- Будет весело! – предрекали они, закручивая махорку в газетную бумагу.
- Да уж, будет, – поддакивали расхрабрившиеся пассажиры.

Во все время путешествия на этом длинном и медленно ползущем поезде не прекращались разговоры о матросском вагоне, который большую часть времени был закрыт, как будто не хотел иметь ничего общего с остальным составом. Если кто-то иногда и видел пассажиров этой теплушки, то только на станциях, когда некоторые из них вылезали, чтобы размять ноги. Вместе с матросами из теплушки часто спускались несколько юных, растрепанных девиц, накрашенных, напудренных, одетых в цветастые поношенные платица и туфельки на высоких каблуках. Эти девицы, по виду слишком городские и слишком чуждые революционному времени, громко хихикали каждый раз, когда матросы брали их на руки, спуская из дверей теплушки, которые были слишком высоко над землей. Насколько быстро и ненадолго они появлялись, настолько же быстро они убегали обратно в вагон. В их беготне чувствовалась торопливость женщин, не слишком опытных в распутстве.

Несмотря на то что вагон был закрыт и ни матросы, ни их девицы ни с кем по дороге не вступали в разговоры, все пассажиры, и в вагонах, и на крыше, однако, знали, что в этом закрытом вагоне царит веселая жизнь. Это можно было понять и по звукам губной гармоник, которая частенько наигрывала там всякие веселые «камаринские», «казачки» и уличные песенки, и по басовитому матросскому пению в сопровождении девичьих сопрано, и по смеху, по крикам и перебранкам, но более всего – по тишине, таинственной тишине, всегда наступавшей после веселых гулянок. Несмотря на то что никто не отваживался заглянуть внутрь этого вагона, было известно, что моряки ведут там веселую жизнь, что у них есть запасы мяса, которое они готовят, бутылки довоенного коньяка и даже бочка вина, из которой они постоянно себе наеживаются. Также было известно, что у них есть пулемет и что они, аристократы новой власти, никого не пускают к себе: не только пассажиров с мандатами, но даже кондукторов и военные патрули. В те томительные часы, когда приходилось стоять на станциях или в чистом поле, пассажиры скрашивали горькое ожидание рассказами о фантастической жизни, которая шла в матросском вагоне.

- Они там жируют, как свиньи, эти матросы, – это говорилось с завистью и скрытым удовлетворением, с каким обычно говорят о чужом распутстве, – и плевать им на всех. Никто не рискнет к ним сунуться...

И хотя матросам завидовали, вместе с тем их любили за их веселую жизнь, за бесшабашность, но больше всего – за то, что они не позволяли ни одному советскому начальнику плевать им в кашу. При этом они особенно нравились тем, чьи документы и багаж были не в полном порядке, или просто тем, кто имел зуб на новую власть. Люди были наперед уверены в том, что черноволосый комиссар связался с теми, кого лучше не трогать, и что его затея закончится бесславно. После всех своих несчастий толпа радовалась, предвкушая неизбежный позор юноши, когда он будет вынужден убраться от этого вагона, как побитая собака от мясной лавки. Но юноша не отходил от вагона, в который его не пускали моряки.

– Товарищ матрос, я вас предупреждаю, – радостно сказал он, – вы покинете вагон по-хорошему или я буду вынужден войти туда по-плохому.

Это было уже слишком для рослого моряка, стоявшего в дверях вагона, на это он не ответил ни слова юноше в кожанке, только рассмеялся, рассмеялся громко, бурно, так что все на нем затряслось.

– Товарищи матросы, – обратился он к своим попутчикам, – идите, гляньте, кто хочет взять наш вагон... Поглядите на него, зайца кожаного.

Вагонные двери открылась пошире. В них стояло два десятка матросов, расхристанных, в бушлатах нараспашку, бесшабашных, с револьверами, заткнутыми за пояс широких штанов. Они смотрели на комиссара в кожанке и смеялись. Только один из них, старше прочих, костлявый, с испитым, бледным, нездоровым лицом и большими неподвижными рыбьими глазами, заплывшими, как у алкоголика или кокаиниста, не смеялся, а все сплевывал в дыры от выбитых зубов.

– Мяу-у, – мяукнул костлявый на юношу в кожанке, намекая, что сухопутной мыши не следует лезть туда, где находятся моряки, если она не хочет плохо кончить.

Матросы стали еще громче смеяться после этой выходки костлявого. Даже часть солдат начала смеяться, к радости арестованных пассажиров.

Командир в кожанке бросил на нескольких смеющихся солдат пронизывающий острый взгляд, будто хотел этим взглядом, как ножом, пресечь их смех, способный стать заразительным и опасным для всего взвода, и восстановил дисциплину.

– Смирно! Винтовки к бою! – громко скомандовал он.

Солдаты мгновенно выполнили приказ. Комиссар вынул из-за ремня свой маузер, положил палец на курок и встал перед своими солдатами.

– Матросы, – крикнул он, не именуя их больше «товарищами», – выходи из вагона, или я прикажу стрелять!

Матрос-богатырь отдал приказ своим людям.

– Товарищи, оружие к бою, – заревел он, вынимая оба пистолета из-за пояса.

Наступила напряженная тишина. Обе стороны приглядывались друг к другу, точно петухи перед дракой. И тут костлявый матрос с неподвижными глазами начал кричать сиплым голосом.

– Товарищи красноармейцы, не слушайте его, жида проклятого, – кричал он визгливо, – они пьют нашу кровь, эти жидовские комиссары, русскую революционную кровь.

Скрюченными пальцами он схватил себя за голую узловатую и жилистую шею, как бы желая показать, как именно из него пьют кровь.

Все стояли как вкопанные. Пассажиры-евреи опустили глаза, услышав страшные слова, которые они не ожидали здесь услышать. Остальные пассажиры молча

переглядывались. Красавица блондинка принялась креститься, будто надеясь на чудо. Все смотрели на солдат, к которым была обращена речь матроса. Лица солдат были бессмысленны. Можно было каждое мгновение ожидать, что они вернут на плечи изготовленные к бою винтовки. Юноша в кожанке, побледнев, насколько смуглый человек может побледнеть от гнева, не дал им ни секунды на размышления. Он действовал быстро, решительно.

– Товарищи, рассыпаться в цепь! – скомандовал он по-военному быстро. –
Целься!

Солдаты тут же автоматически исполнили приказ. Их штыки при свете восходящего солнца казались красными, будто залитыми кровью. Матрос-богатырь подал знак, и на пороге вагона немедленно появился небольшой предмет, завернутый в клеенку. Когда клеенка была сорвана, из-под нее выглянул пулемет.

– Огонь! – раздалась команда комиссара одновременно с ружейным грохотом.

– Огонь! – последовал бас матроса одновременно с глухим пулеметным кашлем: казалось, маленькая тварь, которую высвободили из клеенчатой пеленки, поперхнулась слишком большим куском, застрявшим в горле.

Все пассажиры сразу бросились на землю. Лежа на замусоренной земле, я слышал треск винтовок и кашель пулемета. Сквозь них с обеих сторон прорывались крики. Вскоре мы услышали громкий голос комиссара, который можно было узнать по мягкому еврейскому «эр».

– Товарищи, гранаты к бою!

Я затаил дыхание, уткнулся лицом в мусор и, наострив уши, ждал разрывов гранат, которые вот-вот должны были быть брошены. Но в этот момент кашель пулемета прекратился, и стало тихо. Тишина была тяжелой, мучительной, хуже предыдущего грохота.

Когда я поднялся с земли, все уже было кончено. В синем утреннем воздухе еще вились желтоватые дымки, пахло серой. Из открытого вагона выпрыгивали матросы с поднятыми над головой руками. Комиссар, с маузером в руке, обыскивал каждого из них и отбрасывал в сторону найденные пистолеты, ножи и патронные ленты.

– Заберешь и присмотришь! – сказал он солдату, тащившему по земле маленький пулемет.

Дулом маузера он пересчитал матросов.

– Не двигаться! – предупредил он. – За малейшее движение получите пулю в голову...

Матросы стояли смирные, бледные, неподвижные. Выступающие скулы богатыря ходили вверх-вниз и дрожали, точно у бульдога. Только костлявый матрос с бледным испитым лицом покачивался в своих длинных и широких матросских штанах, которые казались пустыми, будто в них не было ног, и не переставал драть горло, напрягая узловатую шею.

- Пьют нашу кровь, – хрипел он. – Смотрите!
- В ЧК посмотрят, – как ни в чем не бывало рассмеялся юноша в кожанке.
- Скорей, товарищи, – гремел он.

Солдаты сразу же стали выбрасывать из вагона одушевленную и неодушевленную контрабанду: мешок соли и визжащую девку; связку кож и плачущую девку; рулон холста и девку в обмороке. Глядя на каждую новую находку, юноша в кожанке снова и снова раздражался смехом.

– Вот ведь что везут, гордость революции! – замечал он громко, дразня моряков, которые стояли, сбившись в кучу и все еще держа руки над головой, окруженные наставленными на них штыками.

Пассажиры стояли онемев и глядели широко раскрытыми глазами на бессчетные мешки и тюки, выброшенные из вагона. Мои соседи по крыше уставились в землю.

Паровоз запыхтел, задымил, выбрасывая пар и разбрызгивая воду. Комиссар приказал всем арестованным взять свой багаж на плечи и окружил их полусотней своих бойцов. С маузером в руке он несколько раз всех пересчитал и скомандовал своим громким голосом, полным еврейских «эр»:

- Идти в ряд, не оборачиваться, вперед шагом марш!

Веселое солнце изливало потоки серебра на сверкающие стальные штыки бойцов. Паровоз вдруг начал неистово свистеть, сообщая оставшимся пассажирам, что он готов отправиться в путь.

Ī ādāāā ĩ ēāēēā Ēāōy Āōēāō īāēīā

[1] Здесь и далее текст, выделенный курсивом, в оригинале приведен по-русски.

ВРАГИ

Элизабет Бронер

Из детей в доме остался только Джереми. Когда в него летели, оставляя похожие на отпечатки звериных лап, снежки, он вопил и молотил по окну. Я постучала по стеклу и покачала головой, угомоня ребятню во дворе. Они, бегая по дорожкам, смеялись надо мной, их щеки и подбородки зимний день разругивал, что твой косметолог. Играть им было неловко – их упаковали в утепленные штаны и куртки с меховыми воротниками. Негнущимися руками они зачерпывали рассыпчатый, выскальзывающий снег. Стоило его сжать, и он таял, точно сахарная вата, облепляя шерстяные рукавички.

– Не смотри! – замахнулся Адам, отгоня меня от окна. Он валялся на снегу – вертя головой, разглядывал свои красные сапожки. Над его головой тонкие ветки деревьев обросли, как листвой, снегом.

Тут окно сотряс крепко скатанный снежок. Дочкино «Ха! Ха! Ха!» прозвучало чиханьем. И снова на ее ресницы упал, опусшая их, снег.

Я вышла на порог и, пока унимала ребятню, растирала свои голые руки. Промелькнула зеленая форма посыльного из детройтского магазина – он занес заказ и снова сел в грузовик. Кроме него взрослых в квартале не осталось. Первыми коммивояжера, скособочившегося из-за оттягивавшего руку чемодана, заметили, едва он завернул за угол, дети.

– Он едет в страну чудес, – сообщил сестре Адам.



Дети, жившие в угловом доме, смотрели, как разносчик заходит в их квартиры. И, следуя за его зигзагообразными передвижениями по кварталу, побежали с криком: «Мистер Чемодан, подождите! Подождите!»

Джереми приплюснул нос к стеклу. Карман на его рубашке топырился – столько он запихал туда бумажных платков.

Дети кинулись навстречу разносчику, а я пошла в дом – сварить кофе для миссис Бёме, которая придет посидеть с детьми.

– Тебе же нравится миссис Бёме, – сказала я Джереми. – Она сегодня совсем недолго побудет с вами.

Джереми скатал из салфеток ствол.

– Я убью твой нос, – сказал он, – и твои волосы. И миссис Бёме убью.

– У нее, Джереми, и внуки есть, – сообщила я, – и, когда я уйду, она даст вам по леденцу на палочке.

– Я не Джереми. – Он заговорил утробным голосом. – Я – великан.

Я включила телевизор: надо же как-то его занять. Надела куртку и вышла посмотреть, что там делает чужак: в маленьких городках родители вечно чего-то опасаются.

День был монохромный – решен в бело-серых тонах. На углу напротив нашего дома на снегу черным пятном мелькал негритенок. Он сновал взад-вперед по примыкающим к дому боковым дорожкам – убежать от дома ему запретили. По утрам он всегда играл один – ждал, когда же настанет день и вернется из школы кто-нибудь из его родичей.

– Шварце понаехали, – окликнула меня миссис Рат и постучала по окну, привлекая мое внимание. Сквозь чуть раздвинутые кофейного цвета шторы опустила взгляд на мою кухню. Подняла туго поддававшееся окно. Из ее рта белыми облачками выдувались слова. – Летом они побаиваются, а как зима – нате вам! – никто их не видит, вот они сюда и лезут. – Вздох вырвался тонкой белой струйкой. – Это шварце год – черный год!

Миссис Катчке с верхнего этажа отряхивала швабру, белые волокна падали вперемешку со снегом.

– Идете на похороны? – Она перевесилась через перила. – Такой хороший человек. Я прийти в себя не могу, вот что я вам скажу. – В волосах ее топорщились бигуди – предстоял выход на похороны. – Без него все здесь не то. Наши кто умирает, кто покупает дом в пригороде. А ведь какой славный был район. – Она поглядела на снег, вспомнила, сколько лет стригла здесь газон, сколько цветов понасажала. – Мы жили с гоями, и ничего не скажу, хорошие были гои, – вспоминала она. – А теперь кто у нас селится?

Я ожидала, что она укажет на негритенка, но швабра ее целила на квартиру внизу – там жила Ольга, беженка из Венгрии, и на квартиру по соседству – там поселилась Тилли, она приехала из Польши.

– Беженцы – вот кто, – сказала миссис Катчке, совсем крохотная в домашних туфлях без каблучков. – И куда только катится наш квартал...

Мне и раньше доводилось слышать нечто в этом роде от кое-кого из старших обитателей нашего квартала, размахивать руками им мешали еврейские газеты под мышкой. Бушевали они на твердо усвоенном английском.

– Забыли, как сами от погромов бежали, – сказала как-то мне Ольга. – Наверняка чуть не половина из них от казаков по подвалам прятались.

Я наблюдала за тем, как дети идут по кварталу следом за разносчиком. Он перекидывал выдавший виды чемодан из руки в руку, замок на нем при ходьбе подрагивал. Дети набивались в прихожие, выжидательно смотрели, молчали.

Адам отсосал снег с клетчатого пальца и вслед за разносчиком просочился в соседнюю квартиру, где жила семья из четырех человек.

– Не надо мне ничего, – сказала разносчику Тилли. – Как вам снег? – обратилась она к детям и заключила самого раскормленного из них в объятия. Грудь ее миглом намокла от снега, но она и не заметила.

– Пожалуйста, разрешите что-нибудь показать, – начал парень, неспешно опуская чемодан на пол.

Дверь перед ним Тилли не закрыла – торопилась поправить шарфы на детях: она замотала их так, что они не могли опустить головы.

Тилли окликнула меня.

– Пусть это не мое дело, но я видела, как ваш сынок – не спрашивайте кто, я их не различаю – лежал на снегу. Так недолго и простудиться, уж поверьте моему опыту.

– Мы живем рядом, – сказала разносчику моя дочка Сари, широким взмахом ручки в варежке указывая на нашу дверь.

Юнец поднял чемодан не гнущейся от холода рукой без перчатки и, косо ставя ноги, спустился со скользких ступенек.

– На похороны пойдете? – спросила Тилли. – Он был славный, но оставить детей на чужих людей я не могу. Тебя нет, и я знаю, что случится.

– Пожалуйста, – робко попросил юнец. – У меня тут всякие вещи, они могут вам подойти.

Я покачала головой. Юнец помрачнел, закусил губу.

– Дома нет денег, – поспешила объяснить я. – Извини.

Он кинул на меня полный недоверия взгляд.

– Кто здесь еще живет? – спросил он. – Никто? Тогда пойду в другой дом.

Я обернулась и, пока он шел по дорожке, смотрела ему вслед. В палисаднике он наткнулся на старый, проржавевший столбик, почти ушедший в землю. Бечевку дети оборвали еще осенью. Едва он спустился с крыльца, они кинулись за ним, он был в

тонком не по сезону коричневом пальто, верхней пуговицы на нем не хватало. Положенные мелкому разносчику недорогостоящие атрибуты – узкий галстук, шляпа, короткая стрижка – и те отсутствовали. Расстегнутый ворот рубашки обнажал молодую, налитую шею. Я попыталась вернуть детей: получать отказы на людях не так уж приятно, но они пропустили мои слова мимо ушей. Башмаки у него были стоптанные, от тяжелого чемодана его кренило.

И тут я вспомнила, что Ольга уже ушла. Я видела в окно, как она натягивала младенцу вязаные перчатки на обмяклые ручки. Расправляла, придерживая их, пальчики, не давая сгибать. Указала на кухню, изобразила, будто набирает номер.

Телефон зазвонил.

– Вам ничего не нужно в Декстере?[\[1\]](#) – спросила Ольга. – Сегодня четверг, можно купить отличного цыпленка.

Цыпленок назавтра, подумала я, мертвящие запахи зимней еды. Окно ее кухни затуманит пар, поднимающийся над супом. Ольгин муж рано придет домой, приладит широкополую шляпу поверх черной кипы и всю дорогу до синагоги будет напевать. Я водила туда детей в последние Великие праздники. Суровая атмосфера, целомудрие обряда: женщины сидели сзади за прозрачными завесами, тем временем мужчины у алтаря размахивали кистями талитов.

– Сари, – позвала я. – Скажи ему, чтобы он вернулся. Скажи, твоя мама хочет с ним поговорить.

Я вернулась в дом. Джереми, обливаясь слезами, глядел на экран. Он нажал не на ту кнопку, и по экрану прыгали полоски. Разносчик вернулся, перед тем, как войти, долго вытирал ноги. Поставил чемодан на пол, ждал, что я скажу.

– У меня есть чековая книжка. Ты принимаешь чеки? – спросила я.

– Да, – сказал он. Держался он куда солиднее, чем юнцы его лет. Опустился на одно колено, стал вынимать образцы. Пластиковые скатерти, расписные, точно валентинки, вываливались из чемодана, не разворачиваясь, от них несло резиной, наборчики для бриджа были крепко сколоты, цветастые розово-пунцовые синтетические покрывала с бахромой мягко соскальзывали на пол. Юнец огладил рулон сочно-красного ситца.

– Сколько стоят пластиковые скатерти? – спросила я.

Он назвал цену на семьдесят пять центов выше, чем в супермаркете.

– Я возьму две, – сказала я обреченно.

– Пожалуйста, мисс, – передавая покупку, он не улыбнулся. – А у меня есть очень красивая вещь, мне подарили ее родные, когда я уезжал сюда. Мне надо ее продать, сколько можете заплатить, за столько отдам. Возьмите, пощупайте. – Губы у него были полные, верхняя припухшая посередине.

– Твой отрез мне не по карману, – сказала я, – но цвет и верно красивый.

– Материя правда хорошая, – сказал юнец. – Это подарок, но мне надо его продать.

– Откуда ты? – спросила я.



– Из Палестины, – сказал он. – С прежней родины. – И стал быстро складывать образцы в чемодан.

– Из Израиля? – вскинулась я.

Да он же мне сродни: разве не для таких, как он, мы уже столько лет кряду собирали деньги в синагогах? В память об усопших сажали деревья в пустыне Негев?

– Как ты сюда приехал? – спросила я. – Кто тебя привез? Почему ты торгуешь вразнос?

Он поднял глаза. Снег отражал солнечные лучи, от этого казалось, что лицо его светится.

– Я приехал ради матери, братьев и сестер, – сказал он. – Я самый старший, мне надо посылать им деньги. Вот я и приехал как студент.

– Разве ХИАС^[2] и Еврейская социальная служба тебе не помогли? – спросила я.

У него дрогнули веки.

– Нет, – сказал он.

– Где ты живешь? – спросила я.

– Снимаю комнатку неподалеку, – сказал он. – Мне нужно зарабатывать на жилье и еду.

– А как насчет учебы? – спросила я.

– Учебы? – Он покачал головой. – Какая там учеба.

Дети, стоя на пороге, разглядывали его. Сари и Адам в конце концов решили войти. Закрыли дверь перед носом любопытствующих друзей. С их комбинезонов на ковер, оставляя темные пятна, стекал снег. Я, не прекращая разговаривать, раздела их. Они, даже не страхнув приставших к рукам волокон, потянулись к товарам. Юнец, поигрывая пальцами, чтобы отвлечь детей, – угадывался старший брат, привыкший управляться с малышкой, – без спеха закрыл чемодан.

– Есть много организаций, которые могли бы тебе помочь, – настаивала я.

Сколько помню себя, у дверей пекарен сидели старухи, обхватив руками круглые коробки для пожертвований.

– Люди тут такие странные, – сказал парень – ему виделось что-то свое. – Хотите верьте, хотите нет, но правда-правда сегодня только вы у меня что-то купили. Я возвращаюсь, а хозяин видит, что я ничего не продал.

Он снова раскрыл чемодан.

– Пожалуйста, посмотрите еще на тот отрез, – взмолился он. – Я отдам его за сколько скажете. Очень нужны деньги.

Я покачала головой и пошла за ручкой.

А юнец все говорил.

– Я постучал в ту дверь, – он указал на квартиру миссис Рат, – мне открыла старая дама. «Тебя кто послал? – спрашивает. – Кто тебя на меня навел?» Что на это сказать? Я говорю, никто меня не навел. Тогда она говорит: «Ну а кто тебя подучил ко мне прийти?» Я говорю, никто меня не подучил, а она говорит: «Чего ж тогда ты пришел?» И захлопнула дверь. Хотите верьте, хотите нет.

Он выглянул в окно.

– А здесь и черномазые живут? – спросил он. – Хозяин сказал: к ним ходи только по воскресеньям. Когда у них получка, они покупают все подряд.

Я никак не могла найти ручку, поиски действовали мне на нервы.

В дверь, в нижнюю ее филенку, постучали, но не так, как стучат дети, более уверенно. Вошла миссис Бёме, детям улыбнулась, нам молча кивнула. Яркие солнечные лучи заиграли на ее редких огненных от хны волосах, сквозь которые просвечивал покрасневший, словно воспаленный, череп. На фоне старческой кожи цвет ее волос резал глаза. Руки она сложила на груди, голову слегка склонила набок, – казалось, узрела что-то такое, от чего ее зрение скособочилось. Как-то она, оголив руку, сказала мне, что тому причиной. Рука была совсем бесплотная, одни жесткие, как прутья, жилы. Над складчатой

кистью синел вытатуированный номер. «Мой муж был совсем молодой, – сказала она мне тогда на идише. Взгляд у нее был чистый и бесстрастный, как объектив фотоаппарата. – Он фербрент, фербрент – был сожжен».

– Шён. – Она склонилась над детьми, ростом она была не выше их. – Красавцы. – Она ущипнула их за щеки, и Джереми снова соорудил из салфеток ствол.

Сари принесла мне ручку, она обнаружилась под носовыми платками в ее ящичке. Я выписала чек на «Компанию скорых распродаж» и, передавая чек разносчику, коснулась его руки – она так и не согрелась.

– Почти все соседи пойдут на похороны. Ты не мог бы прийти часа через два? Я скажу, что кое-что купила у тебя, – вдруг это поможет.

Он кивнул.

– А я пока обойду соседний квартал, – сказал он. – Потом вернусь. Вы не забудете?

Я заметила, что один глаз у него покраснел и слезится от холода.

– Не забуду, – пообещала я.

* * *

Ольга успела вернуться из города с покупками и уйти на похороны раньше меня. Я видела, как она ковыляет на высоких каблуках уже где-то посреди квартала. Декстерский автобус подвозил прямо к похоронному заведению.

Неподалеку от Главной улицы играла детвора. Четверо из них были русоволосые – дети южан, перебравшихся в наш квартал вместе с негритянскими семьями.

– Это что еще за дамы

Прибыли из Амстердама?

В синих платьях расфуфыр,

Ножки в шлепках растопыр.

Раза три их повернем,

Раза три произнесем:

Энике бенике,

Жидов на веники.

Эне бене раба,

Жид все равно что жаба.

Так безбоязненно, в открытую, обратился ко мне мальчонка лет девяти, когда я проходила мимо. В кожаной курточке с вылинявшим Микки-Маусом. В великоватой для его наголо остриженной головы шапке.

– Это наша земля, не ходи по ней, – крикнула его двухлетняя сестренка, она была замотана большим, спускавшимся до лопаток платком.

У дерева стояла черненькая девчушка в длинных перекрученных чулках. Приколотые к курточке пустые перчатки, когда она болтала руками, шевелились, как плавники. Рядом с ней ее брат и сестра без особого интереса наблюдали за русоволосой бражкой. Из-за их неумности темноволосая детвора казалась особенно невозмутимой. Я узнала их: это были дети ортодоксального раввина. Раввин и летом, и зимой ходил в благолепных и пышных одеждах другой эпохи. Полы его черного шелкового сюртука касались туфель. Шапку оторачивал пушистый темный мех. Седая борода была под цвет подтаявшему зимнему снегу. Я догнала Ольгу уже на автобусной остановке.

– Сегодня в наш квартал приходил парень из Израиля, – сказала я. – Торгует всякими хозяйственными мелочами, бедняга. Я попросила его зайти после похорон. Может, купишь у него что-нибудь?

Ольга кивнула.

– У израильянина – всегда, – сказала она. – Куплю какую-нибудь мелочишку.

Подошел автобус, водитель бросил наши монетки в коробку.

– Я как прочла газету, прямо взбесилась, – оповестила Ольга трех пассажиров – те, укутанные в толстенные зимние одежки, ничего плохого не видели, не слышали, не делали. – Президент, он никакой нам не друг. – Ольга замолчала – искала носовой платок. – Какого черта, – сказала она. – Я прикусила язык. Вот так всегда, стоит мне заговорить о политике. Теперь все, что ни скажу, будет отдавать кровью. – И всю дорогу до Декстера промолчала.

Я рассматривала витрины магазинов. Открылись новые салоны красоты. Их окна, как я заметила, затянули темные шторы. В одной витрине выставлен плакат с темнокожей «Мисс Клэрл». Освободившиеся помещения магазинов все до одного заняли конторы по торговле недвижимостью. Большой магазин одежды пустовал. Безрукие манекены обернули черной парусиной, над ними висел плакат: «Рене – одежда для женщин со вкусом». Кошерные мясные лавки – их витрины украшали подвешенные за неошипанные головки куриные тушки – перебрались в пригороды, где нет ни одного дерева. Тесные, продуваемые насквозь бакалеи, которым удалось устоять под натиском выросших на перекрестках супермаркетов, открывали счета новым клиентам. Они больше не полагались на заказы мацы, орехов и кошерных продуктов на Песах или спрос на копченую рыбу по воскресным утрам.

– Мы уже практически приехали, – сказала я, завидев перестроенное похоронное заведение по соседству с бензозаправочной станцией.

«МИСТЕР СЭМЮЭЛ КЕЙН, – оповещали белые буквы на черной доске объявлений, – ТРИ ЧАСА ДНЯ». В этот день он шел третьим.

Крохотуля миссис Качке, моя соседка с верхнего этажа, уже была здесь, промокала слезы. Миссис Рат – она выискивала себе место впереди – шуганули с «зарезервированного» ряда.

– Он был хороший сосед, – сообщила миссис Качке собравшимся. – Я его знала тридцать лет. И какой хороший район у нас тогда был. Летом все собирались на веранде, двери по ночам не запирали, чтобы в жару квартиру продувало. – Она помахала еще одному соседу. – Его жена уехала на полмесяца в Саут-Хейвен лечиться, так он ел у нас все равно как родственник. И на свадьбу моей дочери мы его пригласили. И что я вам скажу: мне просто нехорошо стало, когда я увидела его грузовик в гараже. По утрам он всегда выезжал первый.

Миссис Рат сказала:

– Вот я думаю: мы их так быстро хороним, а это надо? И к чему такая спешка?

А я подумала о том, какая кипучая жизнь шла вчера над моей головой в квартире Кейнов: невзирая на рабочий день, все его дети приехали. И теперь они вернуться с матерью домой, а там снимут обувь, будут сидеть на жестких стульях или табуретках и тихо переговариваться об усопшем.

– Вы уже отдали дань? – спросила миссис Качке. – Надо и мне подойти к нему.

– Это кто еще послал цветы? – спросила Ольга. У иссиня-серого гроба лежали гладиолусы и ирисы. – Положено не посылать цветы, а жертвовать на благие дела.



– Какой-нибудь гой, кто еще, – сказала миссис Рат.

Мы с Ольгой подошли к гробу. На ярком свете мистер Кейн казался совсем лысым. От белого атласного покрывала несло холодом. Миссис Кейн сидела в кресле, жалась к сестре. Дети и племянники бесцельно слонялись по залу.

– Она неплохо держится в этих обстоятельствах, учитывая... – сказала ее невестка.

– Он любил детей, – сказала дочь. – Внуки – его главная радость в жизни. В воскресенье он объезжал нас всех, только чтобы повидать внуков.

– Это кто же послал цветы? – вопрошала Ольга.

– Кто-то из соседей, – сказала дочь. – Миссис Джонсон, наверное.

– Не знаю я никакой миссис Джонсон, – сказала Ольга.

Тут вышел распорядитель и попросил всех, кроме близких родственников, удалиться. Гроб уже был закрыт, и раввин готов приступить к делу. Мы сели поодаль и посреди сумрачных красок зимы слушали, как маленький раввин читает надгробную речь на идише. Он раскачивался с пятки на носок в такт словам. Борода у него была коротко подстриженная, холеная.

– Я не имел чести знать мистера Кейна долгие годы, – признался раввин, – тем не менее я знаю, что он имел доброе сердце и был настоящий человек – менч – и аид. Он любил детей, – продолжал раввин, – и память о нем будет жить в них. – Раввин сверился со своими записями. – Память о нем так же долго будет жить в мыслях и сердцах его собратьев по Мецигерскому прогрессивному обществу, а также Мичиганской лиги защиты поставщиков.

Раввин перешел на английский и превратился – вот уж удивил – во вполне обычного иностранца.

– Мистер Кейн был преисполнен братской любви, и это самое главное. Он был хорошим соседом и другом для всех, кто его знал. А именно братской любви, друзья, так недостает сегодня миру. Почему люди враждуют? Почему народы воюют? Потому что в мире нет братской любви. Почему политики обособляют нас и ставят под угрозу саму душу Израиля? Нет братской любви – вот почему.

Собравшиеся начали ерзать на стульях. Женщины глазели по сторонам. Шестеро племянников – им предстояло нести гроб – изготовились, взялись за ручки.

– О чем говорится в кадише? – вопрошал раввин. – Поминальная молитва завершается так: «Творящий мир наверху да сотворит мир нам и всему Израилю».

Раввин прикрыл глаза и запел:

– «Исгадаль вейскадаш шмей раба» – в этой посмертной молитве ни разу не упоминается смерть, но возносится хвала Г-споду: «Хоть Он и превыше наших благословений и гимнов, хвалы и песнопений во славу Его, мы говорим Аминь».

При его последних словах из зала, где стоял гроб, всплыл тонкий, точно лента серпантина, стон. Жена прощалась с мужем.

Ольга задержалась в Декстере – купить зерновой хлеб. А я пошла домой. Кто-то постучал в окно. Холодный день клонился к вечеру. Снег больше не падал – покрылся настом. В первый раз я не расслышала стука. Но тут постучали во второй раз, и я увидела, что меня подзывает негритянка из углового дома. Я поднялась на ее порог, она открыла мне дверь. Разговор наш так и шел на пороге. Дверь она перегородила рукой, чтобы сынишка не выбежал из дому.

– Как прошли похороны? – спросила она. – Я видела, как вы уезжали. Цветы от нас доставили?

– Да, – сказала я, – их положили к гробу.

Она улыбнулась.

– Я рада, – сказала она. – Я надеялась, что сделала все как надо.

– Как вы познакомились с мистером Кейном?

– Он был сосед, – осадил меня миссис Джонсон. – Всегда такой вежливый.

– А тебя как зовут? – огорошил меня вопросом ее сынишка – он пытался повиснуть на материнской руке, зацепившись за нее подбородком.

– Я – мама близнецов и Сари. – Меня удивило, каким щуплым он оказался без комбинезона.

Мальчуган открыл дверь пошире, и я увидела мужа миссис Джонсон – он читал ранний выпуск газеты. Он отхлебывал кофе, чашку с блюдцем отставлял на батарею. Пока мы разговаривали, он не отрывал глаз от газеты, но страницы не переворачивал.

– Кому ты послала цветы, а, мам? – спросил мальчуган. – Ты где их собрала?

– Помолчи, – сказала мать.

За ее спиной возник школьник, за ним приковыляла девчушка в махровом слюнявчике, перепачканном абрикосовым соком.

– Уведи Сьюзи от двери, – попросила миссис Джонсон мальчугана постарше. – Ее продует. Извините, я, пожалуй, закрою дверь. Они у меня только что переболели.

Младший мальчуган просунул голову в сужающуюся дверную щель.

– А Сари и близнецы придут ко мне поиграть? – спросил он.

Мать осталась стоять в дверях.

– Прийти поиграть они могут, – не сразу сказала я, – если предупредят, куда пошли, чтобы я знала, где они.

Миссис Джонсон положила руку на голову сынишки.

– Вы не торопитесь? Я не успела познакомить вас с мужем... – Она обернулась к креслу. Кресло пустовало, кофе выплеснулось на блюдце. Газета исчезла.

– Как-нибудь в другой раз, – поспешила сказать миссис Джонсон и закрыла дверь.

Разносчик поджидал меня на пороге. Что-то говорило мне, что он никуда не ходил, а коротал время на других порогах, отряхивая снег и греясь. Увидев меня, он не улыбнулся.

– Ольга, – окликнула я приближавшуюся соседку, – вот он, тот израильский мальчик.

– Ты говоришь на иврите? – спросила его Ольга.

– Говорю немного, – сказал он. – Знаю разные слова.

– Ладно, в таком случае потолкуем, – сказала она. – Зайди ко мне.

Уже на пороге меня задержала Тилли – расспросить про похороны.

– Как он выглядел, хорошо? – спросила она. – Днем плохо хоронить: надо быть дома – ждать детей из школы.

А тут и парень вернулся.

– Ваша соседка купила у меня скатерку, маленькую.

– Вы не знали, что это мальчик из Израиля? – спросила я Тилли.

– Это мальчик, что да, то да, – сказала Тилли, – но раньше я его не видела близко. Что у тебя там, бедняга? – И она потянула за ручку чемодана.

– Ладно, дай мне это нейлоновое покрывало, – сказала она. Вынула из кармана кошелечек. – Семь долларов! – Она посмотрела на меня. – Мо меня убьет. Сделай милость, не говори, сколько я заплатила. Если Мо спросит, скажи три доллара.

– Не спросит он, – сказала я.

– У меня нет с собой разменных денег, – сказала Тилли, не выпуская из рук покрывала. – Зайдешь ко мне, я додам остальное.

Она подняла три пальца.

– Не забудь, – сказала она.

В доме стулья были составлены цугом, мягкие игрушки раскиданы, выдранные из детских книжек страницы разложены по одной вдоль коридора. Карандаши и кастрюли вторглись в ванную.

– Они – хорошие дети, – сказала миссис Бёме, когда я с ней расплачивалась. – От них никакого беспокойства.

Я взялась раздевать детей – пора была их купать. Пока в ванну лилась горячая вода и ее окутывал пар, я готовила подгузники и пижамки.

– Хозяйка, – вдруг раздался голос разносчика – он подошел к двери ванной.

Я задернула занавеску: Сари уже сидела в ванне.



– Спасибо вам. Вы принесли мне удачу. – Он улыбнулся. – Может, мне еще повезет. На прежней родине я был по ремеслу водопроводчиком, имел инструмент и все такое. А тут меня раньше чем через три года в проф-союз не примут, но теперь я верю, что продержусь.

Пальто он не застегнул, но чемодан больше не оттягивал ему руку.

– Дай я запишу, как тебя зовут, – сказала я. – Вдруг мне понадобится что-нибудь по слесарной части. Погоди, сейчас возьму карандаш.

Я открыла дверь в ванную.

– Сари, ты как? – крикнула я в застилавший ванную пар.

– Тону, – невозмутимо ответила она.

Я прошла в кухню, отшвыривая ногой одежды близнецов, которые они сбрасывали их по дороге в ванную.

– Как тебя зовут? – спросила я.

Он стоял ко мне спиной.

– Азиз Абдул Харб, – сказал он. – Так звали моего отца.

Я записала его имя, нажимая на карандаш с такой силой, что грифель сломался.

– От чего умер твой отец? – участливо спросила я.

– Его убили евреи, – он повернулся ко мне. – Отец пошел за нашими овцами и перешел границу. – Он поглядел мне в глаза. – Все равно спасибо вам, хозяйка, – сказал он. – Большое спасибо.

Он склонился и поцеловал мне руку мягкими мальчишескими губами.

– До свидания, – попрощался он с голыми детишками уже из коридора. И тщательно закрыл за собой дверь.

*Ī adīāā n̄ āī āēēnēīā
Ēādēnū Āān̄ āēīāē*

[1] Декстер – город в штате Мэн, США.

[2] Общество помощи еврейским иммигрантам (англ. Hebrew Immigrant Aid Society).

МАРК ВЕЙЦМАН

Я родился в Киеве за три года до войны. Эвакуировался с «Арсеналом», где работал отец, в Воткинск. Среднюю школу закончил в Киеве (медаль, конечно, «срезали», несмотря на похвальные грамоты за все классы). Поступил на физмат Черкасского пединститута. Потом десять лет проработал учителем физики в Макеевке. Между делом окончил Литинститут им. Горького (заочное отделение). Печататься начал рано – с девятнадцати лет. Несмотря на свою «неприличную» фамилию, настойчивые рекомендации взять псевдоним отвергал. Тем не менее стал автором «Юности», «Знамени», «Радуги», «Невы» и прочих уважаемых журналов, а также многих книг, увидевших свет в Москве, Киеве, а затем и в Иерусалиме. Являюсь лауреатом нескольких литературных премий.



Несмотря на утверждение весьма почитаемого мною Александра Петровича Межирова, что «до тридцати поэтом быть почетно, но срам крошечный – после тридцати», не краснея продолжаю версифицировать. Некогда состоял в СП СССР, ныне член Федерации писателей Израиля и Международного ПЕН-центра.

Идишпиль

Здесь господствует милый пустяк,
Бородатый царит анекдот,
На серьезный поскольку спектакль,
К сожаленью, никто не пойдет.
Образец безысходности – зал,
В коем зрители сплошь старички,
Суматошной эпохи финал.

Разрывающий сердце в клочки.

Шьет жилетку портной Нафтали,

Ладит борону Шайке-кузнец.

Что там робко мерцает вдали?

Может, это еще не конец?

Табличка

Если девица у вас перезрела,

А материнское сердце болит,

Стало быть, время стучаться пришло

В двери с табличкой «Ц.Е. Розенлит».

Мол, не найдется ли, Циля Евсеевна,

Парня для Баськи из рода Мойсеева –

Хоть из Бердичева, хоть из Остра:

Нашему дитятку замуж пора!

Циля Евсеевна кофе заварит,

Виды выдавший достанет блокнот,

Маме печальной улыбку подарит,

Деве опальной надежду вернет.

А что жених не красавец мужчина,

Это, чтоб мужем не стать, не причина,

Так же, как глаз не причина вставной,

Чтобы дивчина не стала женой.

...Столько устроила судеб счастливых,

что на свою – не хватило души...

С вербы, подмытой недавним разливом,

Белые «котики» рвут малыши.

Кладбище ширится, грубо внедряясь

В полуживую озимую рожь.

Видишь – стальная табличка дверная

Врезана в черный гранит?

Узнаёшь?

Рива

Если б не упрямство Ривы,

Может, все б остались живы –

И она, и старики,

И дочурка с белым бантом –

В пику наглым оккупантам,

Их расчетам вопреки.

Эшелон ушел без Ривы.

За мостом гремели взрывы,

И земля от них тряслась,

Разверзалась, оползала.

Рива, помнится сказала:

«Подождем» – и дождалась...

Мама плакала недаром,

С ней прощаясь. Бабьим Яром

Все закончилось. Порой

Снится мне, что мы в теплушку

Ривину берем девчущку,

Чтобы стала мне сестрой.

Как ее, бедняжку, звали,

Я не помню. Те, что знали,

Перемёрли – жизнь груба.

Трупы падали с обрыва.

Ты была упряма, Рива.

Как свобода. Как судьба.

Алиби

Возвратившись, я понял сразу,

Что на месте не обнаружу

Ни складного велосипеда,

Ни игрушек своих, ни книг.

Правда, мебель исчезла тоже.

Папа молвил: «Могло быть хуже».

Впрочем, смысл этой странной фразы

Я намного позднее постиг.

А вещички когда случайно

В чьем-то доме или подвале

Возникали, утратив напрочь

Прежний запах и прежний цвет,

На вопрос, не вполне корректный,

Как они, мол, сюда попали,

Пожимали люди плечами,

Не умея найти ответ.

А безродные космополиты

Где-то рядом, как псы, зверели,

И дрожали врачи-убийцы

В ожидании грозных кар.

Так что, в общем, за мародерство

Можно было б спросить с евреев.

Но у этих коварных бестий

Было алиби – Бабий Яр.

*** * ***

Городок Золотоноша

В беспредельности степной

Не красивей, но не плоше,

Чем какой-нибудь иной.

Жизнью сносной, хоть и пресной,

Здесь жила одна семья,

И училась в школе местной

Незабвенная моя.

Все меняется с годами –

Направление умов,

Колер неба над садами,

Нумерация домов.

Все проходит. Как известно,

В этом некого винить.

Время зыбко, только место

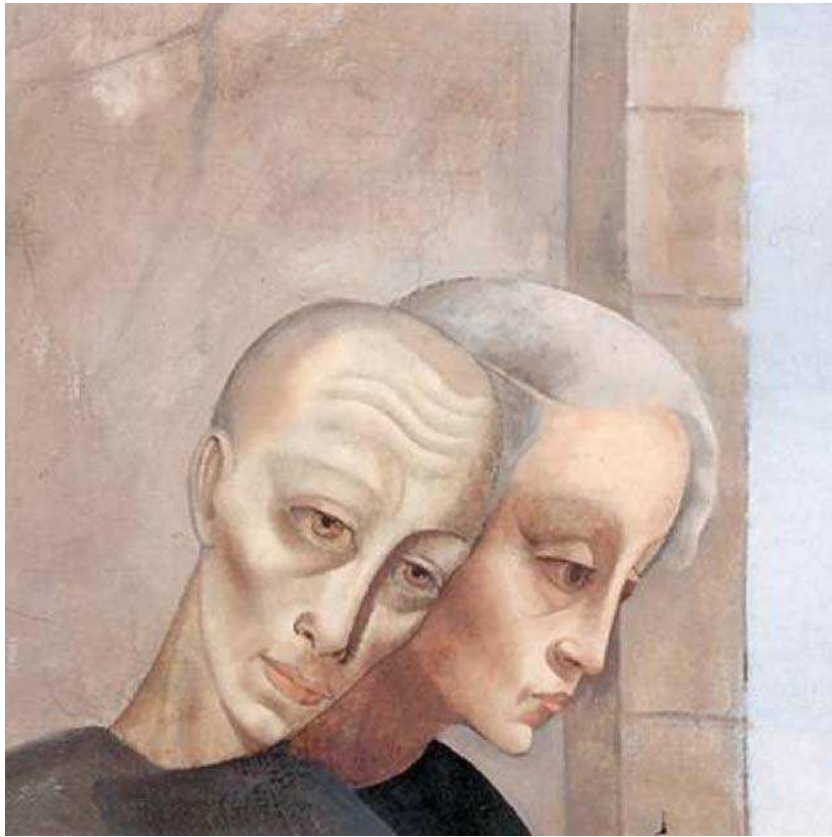
Невозможно отменить.

Жизнь, исполненную смысла,

Поглощает пустота.

Остаются только числа –

Широта и долгота...



* * *

Е. Найдену

Отец – украинец, а мать иудейка.

О ценностях вечных поди порадей-ка,

Коль в клетках твоих разместились как дома,

Погромщика гены и жертвы погрома.

Зане по Сиону бандуры рыдают,

А Припять и Днепр в Ям а-Мелах впадают,

И «раду казацкую» спутав с кагалом,

Ты ищешь у Гоголя сходство с Шагалом, –

Печальный, как сталкер иль ангел бескрылый...

Ой, готыню штаркер!

Ой, божэ ж мий мылый!

* * *

А зря ты испугался, мальчик Ося,
Реалий иудейского хаоса, –
К российскому как раз претензий нету,
Но он-то и сживет тебя со свету.
А эти – в кипах, с длинными носами,
В косынках, с накладными волосами,
Чьи мысли и намеренья неясны, –
Они, по крайней мере, не опасны.
О, пагубное лоно чуждой веры!
Всё множатся и множатся примеры:
Твоя судьба, и Галича, и Меня.
Отступничество – плод неразуменья.
А травля и погибель Пастернака?
Здесь есть над чем задуматься, однако,
Покуда семисвечья пламень зыбкий
Румянец дарит лицам изможденным
И в Александра Герцевича скрипке
Спит музыка птенцом слепорожденным.

Катюша

Ах, «Катюша»! Из райцентра у нее словечко,
А мотивчик из местечка, где живет овечка.
Там живет овечка Рая, ей двадцатый годик,
И, на скрипочке играя, старый Моня бродит.

Дмитрий Сухарев

...А когда друзьям на радость, а врагам на горе

Старый Моня с внучкой Раей прибыл

в Забугорье,

Где сподручней грешным душам

расставаться с телом,

А понятие «катюша» связано с обстрелом, –

То во всем краю библейском – Верхней Галилее, –

Оказалось, знаться не с кем «русской Лорелее».

И тогда призвал он Б-га и окликнул Раю,

И сказал: «А я немного все же поиграю».

И, смычку его доверяясь, будто по заказу,

Над рекой воздвигся берег с девой синеглазой,

С лугом, еле различимым в утреннем тумане,

И березкой не по чину на переднем плане,

Светлячком, в траве горящим, запахом

шалфея

И душой, над ним парящей, Блантера Матвея.

Хорошо играла скрипка, чисто, не фальшиво.

И к окошечку прилипла местная ешива,

И застыло солнце в небе где-то над Йехудом,

И заплакал старый ребе над своим Талмудом.

Был и он бойцом-солдатом, воином Ваала,

И о нем одна когда-то девушка певала...

* * *

Бен-Сасон, а в прошлом просто Саня,

Сильно запил, а дойдя до точки,

Выскочил на улицу, горлая:

«Хороши весной в саду цветочки!»

Мол, пошли вы все к чертям, каналы,

В том числе Совет ишува Нили!

Дети до упаду хохотали.

Взрослые в полицию звонили.

Дама полицейская признала,

В переводе странный текст услыша,

Что в нем нет ни капли криминала.

«Пой, – сказала, – брат, но только тише.

И не торопись отгородиться

Песнями чужими от народа,

Коего цветочки и девицы

Хороши в любое время года!»

* * *

Камфарный лавр шелестит во тьме

законной,

Вот он откуда, лекарственный запах этот.

Матери голос, как с ленты магнитофонной, –

Сквозь облаков заслоны, кустов и веток:

«Где справедливость? Правнуков нянчит Соня,

я ж и до внуков даже дожить не смогла...»

Слишком тепло, чтобы выпал снег на Хермоне.

Как одинока земля эта, как мала.

Как уязвима, куда ни взгляни – граница.

Блещет Кинерет внизу, как вода колодца.

Если по минному полю бежит лисица,
Сердце твое замирает: а вдруг взорвется?!
...Камфарный лавр шелестит. На оконной раме
хамелеон недвижно сидит и дышит.
Надо б о чем-то хорошем поведать маме.
Шансов, конечно, мало, но вдруг – услышит...

Дитя

И тот, кто честно ошибается,
И тот, кто вредничает, – врут:
Не беспричинно улыбается
Четырехмесячная Рут.
Ее ухмылочка беззубая
Тебе в союзницы дана
В боях с действительностью грубою,
Чья сущность вовсе не смешна.
В глазенках этих, как вечерняя
Звезда над пропастью во ржи,
Мерцает мысль неизреченная
Альтернативой всякой лжи.
С недетской страстью потаенною
Дитя велит себя беречь,
Как истина новорожденная,
Еще не втиснутая в речь.

* * *

Маленькая девочка,
скажи, где ты была?

Из английского фольклора

– Старенькая тетенька,

скажи, где ты была?

– Летала в самолетике

в тот город, где росла.

– Где лепят бабу снежную

и пьют с вареньем чай?

– Где даже молвить некому

ни «здравствуй», ни «прощай».

*** * ***

Что придает нам силы?

Может быть, чувство долга?

Иль опасенье, как бы

Не потерять лица?

...Лезвий «Восток» и «Спутник»

хватит еще надолго.

А если бриться реже,

Может, и до конца.

*** * ***

Иордан кишит сомами,

Пожирателями скверны.

Этих тварей здесь не ловят,

Потому как не кошерны.

Вот они и колобродят

Возле берега часами

И презрительно поводят

Запорожскими усами.
Лишь рабочий-таиланец,
Тот, что ест любую живность,
Проявляет кой-какую
Промысловую активность.
Ежедневно ровно в полдень,
Помышляя об обеде,
Он является на ржавом,
Но «живом» велосипеде.
Нет ни капли в нем смиренья,
Ни брезгливости, ни страха,
Никакого представленья
О наличии Танаха.
Бесчешуйчатую рыбку
Ест в неведенье глубоком,
Белозубую улыбку
Увлажнив томатным соком.
Время делит он на части,
Но пространство недвижимо...
Зря мы думаем о счастье, –
Что оно недостижимо!

*Í áæèèàöèþ ïîããòîáæë
Àñð Ýîîæüü*

ВЗРЫВЧАТАЯ МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ

Джорджо Бассани

В стенах города. Пять феррарских историй

Пер. с итал. М. Кабицкого, О. Уваровой, М. Челинцевой

М.: Текст; Книжники, 2010. – 266 с. (Серия «Проза еврейской жизни».)



Проза итальянского писателя Джорджо Бассани (1916–2000) обстоятельна и на всем протяжении не теряет увлекательности, ибо степень вдумчивого наблюдения достаточно высока, чтобы изумить глубиной, и не затянута, чтобы наскучить избыточностью. Драматургичность и прорисованность мизансцен, выражений лиц, внутреннего напряжения и сдержанности или, напротив, раскованности дыхания героев, ожидаемые возвращения к уже сказанному, но теперь проговариваемому с большей степенью подробности, – вот на чем строится повествование Бассани.

Джорджо Бассани родился в еврейской семье, окончил филологический факультет Болонского университета; детство и отрочество провел в Ферраре – городе, который оказал решающее влияние на его становление. В 1940-х годах он был обвинен в антифашистской деятельности и заключен в тюрьму, затем участвовал в движении Сопротивления. В литературу Бассани вошел достаточно поздно: его дебютом стала книга «Пять феррарских историй» («Cinque storie ferraresi», 1956), которая вместе с другими рассказами составила позднее том «Феррарских историй» («Storie ferraresi», 1960) и вошла в цикл под общим названием «Феррарский роман», создававшийся на протяжении почти двадцати лет.

Неторопливое, размеренное повествование Бассани идет из глубины времен и памяти. Подробность припоминания рассказчика умножается тем, что иногда начинают вспоминать сами персонажи. Переплетчик, сеньор Бенетти, ухаживающий за молодой женщиной Лидой Монтовани, родившей ребенка от возлюбленного из богатой еврейской семьи, вдруг посреди неторопливого разговора начинает вспоминать холодную зиму двадцатилетней давности – как замерзла река По и возчики дров рисковали, направляя телеги по льду, рассыпали перед собой опилки и неистово свистели.

Время нарратива приостанавливается и вглядывается в лица героев. Сеньор Бенетти просит Лиду выйти за него замуж. Она не отвечает – и выбегает прочь из дома. Или: Лида Монтовани на протяжении нескольких страниц рассматривает своего

возлюбленного в отсвете прожектора, разрезающего тьму в кинозале. Пожимает ему руку. И потом – вдруг, после кино – он валит ее на траву, и она, не смыкая век, «разрешает всему идти своим чередом».

Излюбленная тема «Феррарских историй» – воссоздание прошлого через воспоминания, изображение хорошо знакомой автору социальной среды – богатых еврейских семей, проживавших в Ферраре и ее окрестностях. Новелла «Однажды ночью в сорок третьем» рассказывает о ночи репрессий, устроенной фашистами в Ферраре 15 декабря 1943 года. Волнами памяти нарастает напряженность повествования, передающего подробности расследования, пытающегося выяснить, кто стал виновником смерти одиннадцати расстрелянных для устрашения человек, чьи трупы долго не убирались с центральной площади города...

Взрывчатая неторопливость прозы Бассани искусна – размеренна и выверена как ритмически, так и драматургически. Архитектурное устройство старой усадьбы, детали того, как солнце, клонясь к закату, медлительно освещает ее постройки и забор (новелла «Прогулки перед ужином»), и в то же время подлинное вживание в бытование еврейских семей старой Феррары – все выплетается искусной, тонкой вязью. Основной чертой манеры Бассани является настойчивость, с какой писатель сообщает целостность и органичную полноту повествовательному материалу, увековечивающему человеческую память.

Аëæññí ãð Èëë: ïññëé

ВОЙНОВИЧ И МИР

Владимир Войнович

Автопортрет: Роман моей жизни

М.: Эксмо, 2010. – 880 с.



Александр Гордон высказал однажды едкую и точную мысль о том, что лучшим способом популяризации авторских взглядов становится не апологетическое, а предельно откровенное, подчас и самобичующее автоописание. С таким повествователем легче себя соотнести – прием этот открыл и блестяще применил Руссо; его любишь именно за слабости, в которых узнаешь свои, и мысли его тоже постепенно становятся твоими. Автобиография Войновича – никак не агиография: сочинитель признается во множестве вещей, которые другому стыдно было бы выговорить вслух одному в пустой комнате. Так-то поглядеть – ничего страшного, но общественное мнение, пружина чести!

В том, однако, и суть таланта и личности Войновича, что многих аксиом для него не существует. Неприлично говорить, что такой-то писатель слабее меня? А почему неприлично, когда он слабее? Надо уважать старших? Да ежели они дураки?! Все диссиденты святые? Да их упоение собственной святостью бывало стократ хуже любого гэбэшного свинства. О мертвых хорошо или ничего? Но ведь все умрут, что ж, вообще заткнуться?! Запад – тоже не священная корова, хоть и приютил сотни изгнанников. Об отношении к Солженицыну говорить нечего – о нем автор уже все сказал в отдельной книге, возвращаться к теме не видит необходимости; других священных коров – скажем, Владимова – не превозносит тем более. Что было – было. Войнович любит своих друзей, но говорит о них правду и искренне не понимает, почему об иных слабостях лучше умолчать. Он помнит добро, но это добро не отменяет его права сказать о благодетеле пару вещей точных и нелюбимых. Вообще, он видит мир без приличного флера интеллигентских или кастовых представлений, – вероятно, потому, что не принадлежит ни к одному классу: от пролетариата отстал, сохранив, однако, пролетарскую выносливость и ловкость во всякой работе, а к интеллигенции так и не пристал, поскольку у интеллигенции слишком много предрассудков, а он их терпеть не может.

Лучшие сатирики, кстати, получаются именно из таких переходных, промежуточных типов: Горькому, скажем, лучше всего удавалась именно сатира – реализм его скучноват, а пафос невыносим. Не случайно и то, что большинство сатириков – продукт смешения кровей (в случае Войновича – еврейской и сербской) либо перемены мест: им лучше видны грехи «Родины вечной» и пороки новой. Вряд ли коренной уроженец России увидел бы ее так, как Гоголь, и едва ли абхазский характер и уклад описаны у кого-нибудь с той же мерой язвительности, как у коренного абхазца Искандера, переехавшего в Москву.

Войнович – вечный странник, часто менявший страны и квартиры, и потому у него даже в весьма зрелые годы не появилось снисходительности, часто отличающей людей оседлых. О советском идиотизме он пишет без тени ностальгии. Он никому ничего не простил. Память у него превосходная. Юмор его, собственно, не словесный, не «остротный», а онтологический: «Зачем острить, когда и так все смешно?» – спрашивал Мандельштам. Даже и не юмор это, если на то пошло, а здравый смысл, не омраченный цеховыми, корпоративными, национальными или классовыми комильфотными клише.

И «Автопортрет», в общем, не смешная книга, хотя комизма тут пропасть – взять хоть прикомандирование тридцатипятилетнего Войновича, уже известного прозаика, к дальневосточной воинской части и подчинение местному замполиту. Замполит был, видимо, не зверь, не хуже прочих, но что у другого автора с возрастной дистанции предстало бы милыми чудачествами соввласти – в изображении Войновича остается пошлым самодурством. Если знаменитый руководитель «Магистрала» Григорий Левин был смешон в некотором самоупоении и страстном желании залучить в литобъединение хоть одного настоящего железнодорожника – Войнович и его не пощадит. И друга Камила Икрамова, велеречивого, склонного к самолюбованию и жесту, – опишет без лишней теплоты, временами и с раздражением, хотя и самого себя, уводящего у друга жену, не пожалует.

Образ автора у Войновича не то чтобы нарочито снижен – нет, он знает себе цену, но обходится без котурнов. Бывает и смешон, и мелок, и откровенно зол – в общем, никакого подчеркнутого величия. Иронизирует над собственными болезнями, страхами и периодами молчания. Рискнем сказать, что метод писателя ярче всего сказывается не в литературе – или по крайней мере не в той ее области, в которой он чаще всего работает. За словами можно и спрятаться – «весь в словах, как рыба в чешуе», говорил тот же

Горький про другого литератора. Поэт виднее всего в прозе (и чем сильнее поэт, тем сильнее проза). Войнович видней всего в своей живописи – демонстративно непрофессиональной, примитивистской, но выразительной. Проза его тоже очень проста, свободна от фиоритур и завитушек, а смешна бывает только за счет называния вещей своими именами. Только таким и может быть сегодняшний сатирик – мир настолько изолгался, настолько натерпелся от политической и нравственной цензуры, что попросту признаться в любви к чужой жене или нелюбви к диссидентскому сектантству равносильно подвигу.

Теперь можно уверенно сказать, что Войнович подарил отечественной литературе двух полноценных героев. Первый – разумеется, Чонкин – герой главной послевоенной мениппеи, которая, подобно «Швейку», одним кажется дико смешной, а на других нагоняет зевоту, – однако уже нельзя отрицать, что Чонкин в галерее отечественных нарицательных персонажей встал рядом с Теркиным. Воплощенная придурковатость и простодушие – но и доброта, и честь, и верность – все это вызывает у Войновича насмешку, а то и презрение, но резервов, кроме Чонкина и Нюры, у России нет.

А второй герой – сам Войнович, типаж редкий, не всегда приятный, никому не льстящий, ни от кого не зависящий и ни на что не жалующийся. Но из всех мемуарных романов о шестидесятых годах этот предлагает самый точный образ эпохи и автора. Аксенов в замечательной «Таинственной страсти» написал себя и друзей такими, какими хотел их видеть и помнить. Над его вымыслом многие слезами обольются. Книга Войновича, может, и не вызывает столь сильных чувств – равно как и столь горячего восхищения авторским стилем, темпераментом, вечной молодостью, – но от того, что она есть, чувствуешь себя спокойнее и тверже. А это едва ли не самая дорогая читательская эмоция.

Ài èòòèé Àùéîá

ТРИ ВЗГЛЯДА НА ОДНУ ТЕМУ

Эйтан Финкельштейн

Пастухи фараона

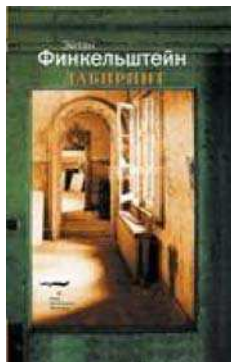
М.: Новое литературное обозрение, 2006. – 480 с.



Эйтан Финкельштейн

Лабиринт

М.: Новое литературное обозрение, 2008. – 240 с.



Эйтан Финкельштейн

Спектакль на всю жизнь

М.: Новое литературное обозрение, 2010. – 96 с.



В трех последних книгах прозы Эйтана Финкельштейна, совершенно не похожих друг на друга, прослеживается глубокая внутренняя связь.

«Пастухи фараона» – книга непонятного жанра, определенного автором как «роман-ералаш». Внутреннее единство этого «ералаша» держится на образе главного героя, израильского журналиста, привезенного в детстве из Советской Литвы, участника всех ближневосточных войн и большого книголюбца.

Автор предлагает читателю панораму двух веков российской истории. Исторические персонажи и события, представленные всякий раз под иным углом зрения, – настоящий, без кавычек, ералаш. Галерея сюжетов и положений, в которых оказывался народ, живший в порах Российского государства, шедший на соблазны, поддававшийся очарованию неминуемой ассимиляции и прозревавший, – как движущаяся сцена огромного театра. На авансцене – то Екатерина с Державиным, то Александр I или Николай I с царедворцами, то хасиды и раввинисты.

Цепь событий не рассыпается, соединенная авторской идеей. В Пасхальной агаде отец наставляет «умного сына»: «И вот дал он своим братьям, которые просились в Египет, такой совет: скажите, что вы скотоводы. И прибавил фразу, которую ты, сын мой, затверди на память, так как в ней скрыта главная мудрость скитания нашего народа: “Ибо мерзость для египтян всякий пастух”». Отец должен также напомнить сыну о финале служения у всякого фараона, который непременно скажет: «Давайте ухитримся против

него, чтобы он не умножился». Такова судьба еврейства и в русском государстве: служить очередному фараону.

Государство Израиль, наследующее русскому дому, казалось бы, должно ликвидировать тень фараона. Не тут-то было! Успевшие занять место «кондукторов в трамвае» относятся к «русскому колену» с тем же, диктуемым политическим расчетом, коварством. Тональность «израильских» глав сложна: тут и героизм мечтающих стать сабрами – коренными жителями страны репатриантов, и расчетливость лидеров, забывающих об интересах русских евреев, и цинизм секретных служб (детективная глава «Операция “женитьба”»), и ирония.

Впрочем, модель «пастухов фараона», по Финкельштейну, не универсальна. В финальной главе «Путеводитель для заблудших» вводится фэнтезийный элемент: повествователь, заваривший всю эту кашу, оказывается на том свете. Устроившись в отведенном ему Втором Лунном переулке («совсем как в Тель-Авиве»), он приходит на встречу с Ним, чтобы задать вечные вопросы: «почему Ты всегда подставляешь Свой народ под удар, почему заставляешь его страдать» и зачем «запихнул нас в такое место, где у нас нет шансов выжить»? Задает вопросы – и выслушивает ответы:

– Вспомнил, зачем вывел из России. Все ценное из сарая надо вынести.

– Я решил пропустить через него (Израиль. – Н. П.) как можно больше людей, придать им новые силы, закалить их дух, вдохнуть в них запас веры и снова послать во все концы света.

Еврей предназначен для поисков; последние слова книги: «Я до сих пор там брожу».

На фоне «Пастухов фараона» «Лабиринт» выглядит почти классическим романом. Из множества «пастухов» выбран один, через жизнь которого прокатился вал главных событий XX века: война, блокада, репрессии, диссидентство, эмиграция. В 1939 году, когда 13-летний герой отдыхал в летнем лагере в Паланге, еврейство воспринималось им естественно и неотчуждаемо, как литовское, русское или польское происхождение друзей.

С приходом в Литву Красной Армии этой безмятежности настал конец. Мальчик, уверенный, что жизнь должна преподносить одни лишь подарки, ввергнут в безумно-непонятный мир. Он оказывается в Ленинграде, без родителей и близких. Ремесленное училище, завод, голод и холод. Чтобы выжить, нужно зацепиться за людей, какими бы они ни были, – и юноша терпеливо переносит антисемитизм рабочих. Как и в «Пастухах фараона», на помощь приходит еврейская мудрость: «Сказал рабби Ханина: суд не должен выслушивать одного из тяжущихся, пока не пришел второй... И мы учим это из слов: “Выслушивайте братьев ваших”». Люди вообще говорят, не слушая друг друга, и антисемитизм – лишь частный случай этого порока.

Б-жественный завет человечеством не исполняется. Такое устройство общества раздавливает героя; он привыкает к слежке, допросам, к своей и общей несвободе. Он и обзаводиться семьей не планирует. Он талантливый физик, но как только у него появляется вера в свою звезду, его снова проваливают, подставляют, выгоняют. Его скепсис закаляется, «оттепельный» пафос, звучащий со сцены Театра на Таганке, не вызывает доверия: «Спектакль – ерундовый, актеры – никакие. Бегают по сцене, словно сумасшедшие, выкрикивают политические лозунги и думают, будто они великие

артисты». На бытовой антисемитизм герой теперь реагирует с усмешкой. «Мой-то, – жаловалась в электричке одна бабка другой, – намени шубу у меня спер, продал и пропил. Сионист проклятый!»

Герой оказывается вовлечен в диссидентское движение, но, хотя именно в диссидентстве звучит, казалось бы, подлинный диалог («Академик сказал: “Будущее нашей страны на пути конвергенции социализма и капитализма...” Писатель сказал: “Подражательность Западу – не наш путь...”»), он не верит. С сомнением относится он и к еврейскому движению, где об Израиле говорят «с придыханием». Так формируется позиция пассивности: «Жизнь представлялась мне данностью, отпущенной свыше».

Последний зигзаг судьбы наступает, когда под давлением органов герой вынужден эмигрировать. В «израильских» главах «Пастухов фараона» политиканство одних уравнивалось ответственностью других. Герой «Лабиринта» видит еврейское государство исключительно в мрачных тонах, но уже не в состоянии «сменить квартиру».

Продвигаясь по «лабиринту» трех пространств: Литвы, России и Израиля и не находя выхода, герой отступает. Но не уступает: закрывшись в маленькой комнатке израильского дома для престарелых (с видом на океан), он пишет свою историю.

В «Спектакле на всю жизнь» еврейская тема мерцает потаенно и опосредованно, ибо главной ценностью для героя-рассказчика, антрепренера Анатолия Борисовича, является театр, о котором рассказывается языком водевиля. Сергей Юрский, предпославший книге теплые слова, не учел этого, а потому удивился, как это «антрепренер может настолько не интересоваться» театром. Финкельштейн ориентируется на чеховско-аверченковскую «малую прозу», где главное – легкость: публика, успех, кассовые сборы. Помехи здесь легко устранимы, а человек сцены может не замечать границы между сценой и жизнью. Как и «Пастухи», «Спектакль» полон историй о Немировиче-Данченко, Книппер-Чеховой, Поле Робсоне, Грановском, Михоэлсе. Но главное в книге не конкретные люди, а непрерывающаяся круговерть театра, который жив и во время войны.

Легкий жанр не исключает серьезности. Еврейского вундеркинда, мальчика с волшебным голосом, не пустили в Америку; через много лет Анатолий Борисович встречает юношу:

– Как жаль, – сокрушенно покачал я головой, – ах, если бы вам тогда удалось остаться в Америке!

– А я не жалею, – твердо произнес молодой человек. – В Америке ведь капитализм, эксплуатация, а здесь я – член партии, живу в Москве, работаю на фабрике замдиректора по снабжению.

Что значит еврейство для такого человека, готового все отдать за внешний успех?

Сам герой вроде бы делает иной выбор. В молодости он пробует себя как баритон у самого Направника и, кажется, проходит. Однако бурно хлопочущая за него Дарья Николаевна в замешательстве:

– Скажите, голубчик, это правда, что вы... что вы... ну это, не крестились?

– Правда.

– И не хотите креститься?

– Не собираюсь.

Казалось бы, герой выбирает еврейство. Но дело в том, что он и не хотел становиться певцом, а любимого занятия антрепренерством его не лишали. Но если любовь? Анатолий Борисович влюбляется в балерину Маргариту Васильевну, осторожно и целомудренно приближается к ней и объясняется, получая ответ: «Стать вашей женой не могу. Ну какие мы будем муж и жена без венчания? А ведь вы же не можете... венчаться в нашей церкви».

Но такой финал не соответствует ни водевильному канону, ни представлениям автора о сложности жизни. В эпилоге, где описывается прощание с импресарио, сообщается: «Многие были удивлены тем, что он состоял в православии, в которое перешел с единственной целью – сочетаться законным браком с главной героиней спектакля, продолжавшегося всю его жизнь». Так вот для чего нужен водевиль, так легко все решающий, – чтобы читателя вдруг охватила грусть от известия о совершенном ради любви уходе от еврейства, как от самого себя.

Γὰρ ἐὲν Ἰσραὴλ

МЕЖДУ МОРО И АЙБОЛИТОМ

Пол Челлен

Доктор Хаус, которого создал Хью Лори

М.: Фантом Пресс, 2010. – 368 с.



Если бы Дэвид Шор последовал примеру двух своих братьев, Филиппа и Роберта, в мире стало бы на одного хорошего раввина больше и на одного блестящего сценариста меньше. Если бы Шор, получивший в родной Канаде юридическую степень, продолжал бы и дальше строить карьеру юриста, список высококлассных канадских адвокатов очень скоро пополнился бы еще одной фамилией, а вот один телеперсонаж, ныне возведенный в разряд культовых, на нашем горизонте так и не появился бы.

Однако в возрасте 32 лет Шор круто изменил свою биографию, бросив юриспруденцию и отправившись в Голливуд. Поступок Дэвида выглядел сущей авантюрой, почти сумасшествием, но в итоге оказался выигрышем в главной лотерее всей его жизни...

Книга канадского журналиста Пола Челлена – не только подробный путеводитель по трем первым сезонам сериала «Доктор Хаус» («House M.D.»), но и обстоятельный рассказ о людях, участвующих в создании телеистории о вымышленном американском госпитале Принстон-Плейнсборо, где работает хромой, злой, полубезумный и вполне гениальный диагност. Человек, который каждый день творит добро, но часто ведет себя как сволочь, сопровождая процесс спасения жизней поступками и словами, оскорбительными как для спасаемых, так и для соратников врача. Иными словами – доктор Грегори Хаус.

Помимо автора сценарного замысла Шора героями книги стали Хью Лори (исполнитель главной роли), Лиза Эдельштейн (доктор Кадди), Роберт Шон Леонард (доктор Вилсон) и др. Сериал стартовал в 2004 году и за шесть лет существования не только поднялся на вершины рейтинга, собрав у телеэкранов миллионы зрителей-фанатов, но и вызвал к жизни множество оригинальных концепций личности главного героя.

Для одних Хаус – медицинская версия Шерлока Холмса (недаром режиссер Гай Ричи в современной экранизации Конан Дойла сделал Великого Сыщика отчетливо похожим на персонажа Хью Лори), для других – трагестированный вариант Супермена, Бэтмена и Джеймса Бонда (с тростью и пузырьком викадина, которые заменяют все положенные этим героям гаджеты), для третьих – своеобразная инкарнация нищенского сверхчеловека, для четвертых – нечто вроде человеческой ипостаси придуманного фантастом Айзеком Азимовым суперкомпьютера МУЛЬТИВАК, являющего собой чистый разум, не замутненный прививками человеческой этики. (В этой связи Челлен напоминает, что исполнительный продюсер и режиссер ряда эпизодов Брайан Сингер прославился как создатель детектива «Обычные подозреваемые», а также трилогии «Люди Икс» и сиквела «Супермена».) Кое-кто считает Хауса воплощением «духа отрицания, духа сомнения» (его хромота кажется символической), а, например, по мнению Дэвида Гарта, Хаус – это «библейский пророк, мечущий громы и молнии в неустанной заботе о жизни, нравственности и здравомыслии своих соплеменников (пациентов)».

Разумеется, пристрастные наблюдатели – как многочисленные ценители «Доктора Хауса», так и редкие его недоброжелатели – не могли не обратить внимания на «национальный» компонент сериала. Завсегдатаи Интернета успели сообщить *urbī et orbī*, что Хаус «не прочь блеснуть познаниями в идише (в его речи встречаются слова “тухес”, “мазл тов” и некоторые другие)», что в одном из эпизодов первого сезона «у Хауса пару секунд играет на айпоне “Хава Нагила”», что в кадре нередко мелькает магендовид и что вообще Хаус, созданный сценаристом-евреем и режиссером-евреем, окружен со всех сторон лицами все той же известной национальности: начальница-еврейка (Кадди), подчиненный-еврей (Тауб) и, конечно, друг-еврей (Вилсон). Собственно, эти нюансы авторы сериала хоть и не выпячивают, но и не скрывают. «Стоит вспомнить, – замечает Челлен, – что доктор Вилсон, персонаж Роберта Шона Леонарда и, как кажется, единственный человек, которому раздражительный Хаус может доверять, – еврей». Впрочем, и Вилсон, и Тауб по ходу медицинского «расследования» часто становятся объектами сомнительных шуточек Хауса, которые порой выглядят чуть ли не антисемитскими...

В этом весь Хаус: понятия политкорректности для него не существует, а яд мизантропии способен заполнить в натуре героя все те лакуны, куда не успела проникнуть его гениальность. Выступая на вручении премии «Эмми», Шор чистосердечно признал, что персонажа он отчасти «списывал» с себя, иронически поблагодарив «всех людей, которые постоянно делали мою жизнь несчастной и превратили меня в злобного циника. Без них персонаж бы не получился». А в одном из недавних интервью Шор рассказал о

«еврейской душе Хауса»: она, по мнению сценариста, «проявляется в его вечном поиске Истины, в его неизменной пытливости и стремлении к решению интеллектуальных задач...».

Книга Челлена, переведенная на русский язык только сейчас, была написана еще в 2007 году. С тех пор врачебная практика заглавного персонажа пополнилась еще несколькими десятками эпизодов, а сам герой пережил помутнение рассудка, воображаемый роман с Кадди, лечение в психиатрической клинике с последующей реабилитацией. Однако по сути своей герой не изменился и измениться не мог: без его бросающихся в глаза недостатков не было бы и его достоинств. Так что и сегодня доктор Хаус по-прежнему пребывает на полпути от доктора Моро к доктору Айболиту. Ни вернуться назад, ни сделать шаг вперед он не может. Иначе это будет уже совсем-совсем другой персонаж.

Đī ã Áđàè ò ã

Спор. Юстиция, этика и фотография

Вена, Кунстхаус, до 20 июня



**Майкл Лайт. ОАК, 8,9 мегатонн, атолл Эниветок.
Негатив 1958 года, отпечаток 2003 года**

Сто фотографий и масса проблем, как юридического, так и морального характера – таково краткое содержание венской выставки, собравшей работы знаменитостей – от Льюиса Кэрролла до Ман Рея, от Анри Картье-Брессона до Роберта Капы. Все они, так или иначе, вступали в проблемы с законом, и писаным, неписаным. Не случайно один из кураторов выставки, подготовленной лозаннским музеем «Elysee», – действующий адвокат. Однако цель проекта – не изучение провокационных стратегий в фотографии, но рассказ о той правде жизни, на которую общество пытается наложить табу. Потому-то на выставке и работа Тодда Майзеля «Рука, 11 сентября», опубликованная в дни, когда американские масс-медиа договорились не показывать тела погибших (и тем более их фрагменты) в результате атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, и будоражащая воображение даже сегодня хрестоматийная реклама Оливьеро Тоскани для фирмы «Benetton». Есть здесь и снимки, сделанные солдатами армий союзников в немецких концлагерях в начале 1945 года. Поначалу командование наложило запрет на распространение таких фотографий. Он действовал несколько недель, пока не был полностью снят. Эта цензурная история напоминает, насколько непростым был путь к исторической правде даже у тех, кто воевал за верное дело.

Мейер де Хаан. Потаенный мастер

Париж, музей Орсе, до 20 июня



**Мейер де Хаан. Натюрморт и Мими. 1890 год.
Амстердам, Музей Ван Гога**

Знатоки искусства знают Мейера де Хаана (1852–1895) прежде всего как одного из ближайших друзей Поля Гогена. Но этот выходец из амстердамской еврейской

семьи и сам был блестящим художником. Тем удивительнее, что выставка в Орсе – его первая в истории. Поклонник голландского XVII века в целом и Рембрандта в частности, он начинал со сцен на еврейские сюжеты, в том числе исторические. Переселившись в 1888 году в Париж, где его профессиональной судьбой стал заниматься Тео ван Гог, де Хаан сближается с Писарро и, прежде всего, с Гогеном, едет с ним в Бретань и проводит там больше года. Художники вместе снимают ателье с огромным окном, выходящим на море. «Синтетический стиль» школы Понт-Авеан оказывает влияние и на его натюрморты, портреты и пейзажи, а также настенные росписи. 1891 год стал роковым для художника: умер Тео ван Гог, а Гоген отправился на Таити, как выяснится позднее, навсегда (де Хаан отказался с ним ехать). После этого следы самого де Хаана теряются, известно лишь, что он вернулся в Амстердам и скончался в бедности и безвестности. Из его наследия чудом сохранилось лишь четыре десятка работ, оставшихся в семье его незаконнорожденной дочери в Бретани (отец никогда ее не видел), сегодня во Франции находится лишь четыре полотна де Хаана.

Макс Лазарус. Трир–Сан-Луи–Денвер. Судьба еврейского художника

Трир, музей Симеонштифт, до 27 июня



**Макс Лазарус. Без названия («Мест нет»).1945 год.
Частное собрание**

Уроженец Трира, Макс Леон Лазарус (1892–1961) учился в Дюссельдорфе и Инсбруке, Мюнхене и в родном городе, но едва ли не лучшие годы провел в Веймаре, под руководством знаменитого Анри ван де Вельде. Войну он отслужил рядовым на Западном фронте, после чего, хотя и был уже известным в Трире художником, продолжил учебу – на этот раз у берлинского экспрессиониста Георга Тапера. Экспрессионизм и стал родным для него стилем, хотя при оформлении многочисленных синагог он не забывал о традиции. Почти все его росписи погибли или в Хрустальную ночь 1938 года, или в ходе бомбежек второй мировой войны. До ее начала Лазарус успел эмигрировать в Америку. Поначалу занимался тем, что разрисовывал мебель, но довольно быстро начал заново карьеру художника. Он участвовал во Всемирной выставке в Нью-Йорке, а его первая персональная выставка в Америке прошла в 1940-м в Young Men's Hebrew Association. Через два года он заболел тяжелой формой туберкулеза, но это не помешало искусству. После войны Лазарус выставлял прежде всего печатную графику.

Именно Германия!

Франкфурт, Еврейский музей, до 25 июля

Выставка о 220 тыс. русских евреев, переехавших в Германию с 1989 по 2005 год, могла бы, конечно, быть и более проблемной, и социально острой. Но и в этнографическом взгляде, предложенном кураторами, есть масса любопытного. Рассказ о

скорого сбора на родине, о существовании в лагерях для переселенцев, о попытке найти новое место в новой жизни ведется при помощи историй конкретных людей, сопровождаемых показом массы ностальгических вещей и фотографий. Выставка не затушевывает острые вопросы, например о жизни нынешних еврейских сообществ в Германии и степени их интеграции в общую культурную среду, но все же касается болезненных тем слишком осторожно, чтобы самой войти в историю.

Августин I Гедота

«ВЕЛИКОЕ РОК-Н-РОЛЛЬНОЕ НАДУВАТЕЛЬСТВО» И ЕВРЕЙСКАЯ БАБУШКА

Аיִדֶּן אִדֻּאִי רֵא

8 апреля в швейцарской больнице от редкой формы рака под названием мезотелиома умер Малькольм Роберт Эндрю Макларен, человек, имя которого принято связывать, прежде всего, с понятием «панк». Однако его амбиции простирались гораздо шире.

Несмотря на шотландскую приставку «Мак» в фамилии и яркую рыжую шевелюру, Малькольм Макларен был шотландцем только наполовину. Его отец Пит Макларен был инженером и оставил семью, когда Малькольму было два года. Мать Макларена Эмми перепоручила ребенка заботам своей матери – Роуз Корр Айзекс. В ее предках значились еврей-сефарды, торговавшие бриллиантами в лондонском районе Хакни. «Мне всегда нравилась идея быть кем-то, кто может легко исчезнуть, кем-то, кого невозможно вычислить, идентифицировать. Возможно, дело в моем детстве», – говорил Макларен в интервью «The Telegraph». Малькольм Макларен признавался, что именно от еврейской бабушки он получил, так сказать, первые уроки панка. «Быть плохим хорошо, – говорила она внуку. – А быть хорошим скучно». В интервью изданию «The Jewish Chronicle» Макларен отмечал, что самые яркие воспоминания его детства – чтение газет в доме у бабушки в пятничные вечера. Бабушка настраивала его против остальных членов семьи, и он остался под ее крылом, когда Эмми Макларен повторно вышла замуж за торговца Мартина Леви, с которым они вместе завели текстильную лавку. До 14 лет Макларен даже спал с бабушкой в одной кровати, как она того требовала. «Хаос и дискомфорт были нормой в ее мире, – рассказывал Макларен. – Если я был зачинщиком бузы в школе, ее это мало волновало. Но на любые формы отношений с девочками был наложен запрет». Журналисты считали логичным перевести беседу о воспитании Макларена в русло разговора о его сексуальной ориентации, и он туманно замечал: «Большинство людей думают, что я гей. Но я с юности был одним из тех странных существ, по которым ничего не скажешь об их сексуальности». Стоит отметить, что девственность он потерял в постели модельера Вивьен Вествуд и дни свои закончил также на руках у женщины – своей любовницы корейского происхождения Юнг Ким.



**Британский модельер Вивьен Вествуд с ее партнером – музыкальным менеджером Малькольмом Маклареном (сидят).
Около 1985 года**

Малькольм Макларен стал сам зарабатывать себе на жизнь, будучи подростком, и сменил множество профессий, в числе которых были и довольно экзотичные, такие, как, например, дегустатор вин. Одновременно он менял один за другим арт-колледжи, пропитываясь модными течениями в искусстве и политике. Его выгоняли из одного арт-колледжа, а он под чужим именем получал грант в другом. Одним из течений, которые повлияли на всю его дальнейшую жизнь, был французский ситуационизм. Он примкнул к английскому ответвлению этого течения, которое именовалось «King Mob». «Тогда прекрасные неудачники были в большем почете, чем мажоры, выставившие свой успех напоказ, – рассказывал Макларен. – А это значило, что можно нарушать правила. Приключение было важнее карьеры. Мы видели себя новыми Байронами, Китсами и Блейками».

Попытав счастья в современном искусстве и пройдя по касательной парижские баррикады 1968 года, Малькольм Макларен осел в одной из арт-общин Лондона, где и познакомился с Вивьен Вествуд, художницей-самоучкой с дурным характером. Девушка имела привычку разгуливать голышом по сквоту, полному молодых американцев, уклоняющихся от службы в армии. А вскоре новая подружка объявила 17-летнему Макларену, что беременна. Он отправился к своей «богатенькой бабушке» и попросил у нее денег на аборт, а Вивьен Вествуд потратила их на новую кашемировую кофточку. Сын Макларена и Вествуд унаследовал в качестве фамилии второе имя богатенькой бабушки. Его зовут Джо Корр, и он прославился как один из основателей линии нижнего белья «Agent Provocateur». Малькольм Макларен признавался, что после рождения Джо у него с

Вивьен Вествуд, по сути, не было сексуальных отношений. Но они жили вместе, и однажды Вивьен сшила для Малькольма костюм в стиле Элвиса: «Вот тут-то я и понял, что со мной – одаренная портниха!»

Дальше был знаменитый магазин на Кингз-роуд, получивший на некоторое время название «SEX». Для того чтобы продемонстрировать покупателям узкие штаны и рваные футболки, хозяевам лавки потребовались манекенщики. Так в магазине появились Джон Лайдон (сценическое имя Джонни Роттен) и прочие будущие участники «Sex Pistols». Сформировавшаяся вокруг Макларена компания вскоре приобрела черты музыкальной группы – сказался его краткий опыт музыкального менеджмента в США, где он безуспешно пытался вывести в люди любителей советской символики «New York Dolls». С «Sex Pistols» поначалу тоже ничто не предвещало астрономических прибылей. Контракты с крупными компаниями «EMI» и «A&M» продержались недолго. Буйный нрав «Sex Pistols» смог по достоинству оценить только владелец молодой независимой компании «Virgin» Ричард Брэнсон, выплативший группе приличный гонорар. Малькольм Макларен на радостях арендовал на Темзе теплоход для праздничной вечеринки в честь подписания контракта. Группа спела «God Save The Queen» прямо напротив Вестминстерского аббатства, всех тут же повязала полиция, на следующее утро инцидент подробно описали газеты, а продюсер получил еще одно подтверждение золотого правила музыкального менеджмента: любой PR хорош. Поводом для журналистских шпилек всегда был тот факт, что, будучи наполовину евреем, Малькольм Макларен позволял бас-гитаристу «Sex Pistols» использовать в сценических нарядах свастику. «Это была отличная идея!» – высказывался Макларен в интервью «The Telegraph». «А Холокост тоже был отличной идеей?» – провоцировал его интервьюер. «Послушайте, иногда молодое поколение не желает наследовать историю старшего поколения, – говорил Макларен. – Мы приспособили свастику для своих нужд. Мы вообще хотели изобрести заново всю общепринятую символику и иконографию».

«Sex Pistols» просуществовали в активной творческой фазе три года, с 1975-го по 1978-й. За это время они успели выпустить альбом «Never Mind The Bollocks, Here's The Sex Pistols», кучу синглов и ранних песен, а также фильм «Великое рок-н-рольное надувательство», после чего прямо посреди американского турне музыканты разругались между собой и поссорились с продюсером. До 1987 года правами на «Never Mind The Bollocks...» обладал Малькольм Макларен. Учитывая влияние «Sex Pistols» и панка на всю мировую музыкальную индустрию и на культуру в целом, отчисления от продаж альбома позволили ему безбедно существовать и реализовывать самые смелые эксперименты в области музыки.



Музыканты «Sex Pistols» вместе со своим менеджером Малькольмом Маклареном на фоне Букингемского дворца подписывают соглашение с «A&M Records» после того, как был разорван контракт с «EMI».

Лондон. 10 марта 1977 года

Малькольм Макларен работал с группами «Bow Wow Wow» и «Adam & The Ants», он продюсировал первый в истории «белый» хип-хоп-сингл, вдохнул жизнь в танец «vogue», первым положил классическую оперу на хип-хоповый ритм, создал азиатских «Spice Girls» и записал фирменную музыкальную тему для «British Airways», и все это – не будучи ни певцом, ни музыкантом. Что-то, похожее на пение Малькольма Макларена, можно слышать в его совместном с Катрин Денев альбоме «Paris» (1984), но в первую очередь этот альбом – самая известная запись в жанре spoken word, то есть «разговор, положенный на музыку». В 1990-х и 2000-х Макларен продолжал ездить по миру с лекциями о панке и поп-культуре, а параллельно всерьез увлекся политикой.

В 1987 году Джону Лайдону удалось отсудить у бывшего партнера права на альбом. Малькольм Макларен не разговаривал с ним до конца своей жизни. Но слеплены они были, безусловно, из одного теста. Любой, кто брал интервью у одного и у другого, мог уловить общую стратегию. И Лайдон, и Макларен вываливали на собеседника тирады об искусстве, масс-медиа и политике, порой не дожидаясь журналистских вопросов. В каждом из монологов было полно хлестких фраз, которые просились в заголовки, но докопаться до настоящих «я» интервьюируемых не было никакой возможности. Малькольм Макларен отлично освоил эту технологию сам и обучил ей своего бывшего подопечного. До темы еврейской бабушки и ее влияния на его жизнь в беседе с ним добирались редко. Ему действительно удалось исчезнуть, всю жизнь оставаясь на виду.

ГЕТТО – НЕ ТОЛЬКО В ГЕТТО

Ада Шмерлинг

Режиссер Миндаугас Карбаускис

Ничья длится мгновение

РАМТ, 2010



Спектакль Российского молодежного театра о гибели узников еврейского гетто в Вильнюсе, поставленный Миндаугасом Карбаускисом по роману Ицхокаса Мераса «Ничья длится мгновение», оказался единственным на тему Холокоста из числа немногих «датных» постановок, выпущенных в Москве к 65-летию окончания второй мировой войны. В феврале, когда «Ничья» была впервые показана в РАМТе, можно было еще надеяться, что ко Дню Победы Карбаускис со своим спектаклем на столь некассовую у нас сегодня тему окажется не в одиночестве. Надежды не оправдались. Поддержал тему спектаклем-читкой «Груз молчания» только андеграундный Театр им. Йозефа Бойса, не так давно основанный в Москве молодым бойким режиссером из Германии Георгом Жено.

В итоге получилось так, что при довольно бурной театральной жизни в российской столице только литовец, немец да еврей (журналист Михаил Калужский, постановщик «Груза молчания») посчитали для себя необходимым высказаться о Катастрофе. Симптоматично и то, что театральные критики в основной своей массе этот факт не отметили. Все рецензенты (за редким исключением) писали о «Ничьей» прежде всего как о первом спектакле Карбаускиса после его добровольного двухлетнего тайм-аута, связанного с уходом из «Табакерки». Другими словами, судьба режиссера, дважды лауреата «Золотой маски», успешного ученика Петра Фоменко и чуть ли не самого любимого критикой московского режиссера поколения 30+, большинство волновала куда больше, чем судьба тех, о ком он, собственно, поставил спектакль.

Конечно, сам Карбаускис, выбирая для постановки роман Ицхокаса Мераса (литовского еврея, которого после гибели его родителей в 1941 году скрывала от нацистов до конца войны семья литовских крестьян), вряд ли сильно задумывался, в каком странном московском контексте окажется его спектакль. Вряд ли хотя бы потому, что в родной Карбаускису Литве как раз недавно был снят фильм «Гетто», не очень удачный,

откровенно мелодраматичный, с очевидными заимствованиями сюжетных схем и стиля Голливуда, но тематически напрямую рифмующийся со спектаклем Карбаускиса. Вряд ли, но не настолько, чтобы не заметить, что подобной рифмы – ни кинематографической, ни театральной – для «Ничьей» в Москве подобрать невозможно.

Впрочем, несмотря на всю в хорошем смысле провокационность спектакля Карбаускиса, важным театральным событием он так и не стал. Хотя до «Ничьей» последний раз спектакль на тему Холокоста («Дневник Анны Франк» в том же РАМТе) ставили в 2000 году. Более того, выяснилось, что наша публика, не имея привычки к подобным спектаклям, не готова и к их адекватному восприятию. Так, например, уже на первых минутах спектакля Карбаускиса зрители, эмоционально подавленные темой, начинают вытаскивать носовые платки и давиться слезами, не замечая очевидного: что в действительности режиссер хотел добиться от зрителей вовсе не обильных слез, но напряженной работы мысли и что именно поэтому «Ничья» поставлена так нарочито сдержанно.

Из истории о том, как 17-летний еврейский мальчик не на жизнь, а на смерть играл в шахматы с немецким комендантом гетто, в Голливуде или на Бродвее непременно сделали бы мелодраму. Карбаускис сделал притчу. И в этом смысле его спектакль, конечно, соответствует не только тексту романа Мераса (явно построенному на аналогиях с притчевыми сюжетами из Библии), но и традициям европейского кинематографа, который, разрабатывая тему Холокоста, всегда предпочитал жанр психологической драмы с ярко выраженной притчевой структурой. Однако московская публика, давно отвыкшая и от европейского кино, и от психологических драм на сцене, и от того, чтобы соотносить сюжеты священных текстов с тем, что ей показывают в театре, оказалась даже простодушней бродвейской публики. На «Ничьей» зрители либо плачут, не обращая внимания на то, что актеры изо всех сил стараются не вызвать у публики слез, либо скучают, недовольные тем, что их не заставили плакать.

Стоит ли искать первопричину этой парадоксальной ситуации в системных просчетах режиссерской концепции – вопрос, конечно, риторический. В качестве эпиграфа к своему спектаклю Карбаускис поставил слова Ицхока Мераса о том, что «гетто – не только в гетто... только и разница, что наше гетто огорожено, а там – без ограды». Если смысловой код спектакля Карбаускиса таков, как он заявлен в программке, тогда никакой системной ошибки в «Ничьей» нет. Спектакль ровно об этом. Однако, если вы считаете, что этой мысли мало для спектакля о гибели шести миллионов евреев, сожженных в печах нацистских концлагерей только за то, что они молились своему Б-гу, тогда вы вряд ли будете требовать выхода режиссера на аплодисменты. При всем к нему уважении.

ХОЛОДНОЕ ГОРЯЧЕЕ

Оксана Алексеева

В жаркий летний день не хочется сытной и калорийной пищи, да и готовить что-то серьезное, требующее длительного стояния у плиты, тоже большого желания нет. Хочется потратить минимум времени и чтобы результат при этом оказался вкусным. Потому предлагаем вам сегодня рецепты блюд, не требующих много усилий и весьма радующих как своим вкусом, так и видом. Они прекрасно подойдут для субботнего обеда на веранде загородного дома или в пронизанной солнцем городской квартире.



Своими секретами приготовления холодных супов делится шеф-повар от компании «Пинхас» ресторана «Йона» Евгений Бедненко. Сегодня наши главные герои – свекла и шпинат. Их можно приготовить и вместе – например, в салате.

Свеклу использовали в кулинарии в лечебных целях с древних времен, на территории Европы в пищу употребляли в основном листья, а на Востоке – корнеплоды. В середине XVIII века немецкий ученый химик Андреас Маргграф обнаружил в свекле сахарозу и предложил использовать овощ для производства сахара. Следом был выведен и сорт сахарной свеклы.

В еврейской кухне этот овощ пользуется заслуженной популярностью и уважением. Свеклу (на иврите «селек») традиционно принято подавать к праздничной трапезе в канун Рош а-Шана. В Вавилонском Талмуде сказано, что «человек привык вкушать на Рош а-Шана тыкву и ревень, порей, свеклу и финики». Едят свеклу, чтобы убрались, пропали враги наши.

Шпинат (на иврите «теред») также подают на Рош а-Шана, а еще на Песах и Пурим. Из него делают котлеты и фрикадельки, с ним пекут блинчики и кугель, добавляя кабачков или цуккини, тушеным или обжаренным его используют в качестве замечательного гарнира. Наибольшую популярность в мире шпинату принес неугомонный Попай-моряк – герой американских мультфильмов и комиксов, который регулярно в критической ситуации принимает дозу шпината и становится непобедимым.

Предлагаемые сегодня живописные супы из свеклы и шпината имеют массу достоинств: они полны витаминами, так как овощи проходят минимальную термическую обработку; они питательны, поскольку приготовлены на мясном бульоне. Готовить их совсем просто, а получаются они очень вкусными. Бесспорно, выглядят супы настоящим украшением стола. И у вас так же получится. Или, может быть, несколько иначе, согласно вашей фантазии, – это еще один плюс этих рецептов – вы можете фантазировать, творить, взяв за основу рекомендации нашего повара.



Цвета бордо

Готовим холодный свекольник на телячьем бульоне. Используем только летние, легкие и очень полезные овощи, которые прекрасно сочетаются друг с другом. У нас есть несколько вариантов: овощи можно покрошить в бульон, и получится традиционный суп-свекольник; можно подать отдельно холодный бульон – он будет прекрасным освежающим и придающим сил напитком; а можно подать его с закуской из овощных равиоли.

Необходимо: 3 л телячьего бульона; 600–800 г телятины; 2–3 свеклы (в зависимости от размера); 1 средний корень сельдерея; 2 плода фенхеля; 1 головка чеснока; 2–3 моркови (в зависимости от размера); 3 луковицы лука шалот (репчатый); 1 яйцо; 200 г растительного масла; 10 г соли; 5–10 г черного перца.

Можно взять для украшения 2–3 крупных редиса и 2 свежих огурца среднего размера.

Готовим бульон, варим телятину вместе с овощами и специями, чтобы он получился ароматным: с частью корня сельдерея, 1 морковью, луком, фенхелем, солим и перчим по вкусу, добавляем любимые специи и приправы.

Свеклу, что важно, мы не варим, а запекаем в духовом шкафу. Так лучше сохраняются все ее полезные свойства. Пока варится бульон, в духовку, разогретую до 180 °С, отправляем вымытую свеклу и головку чеснока (на другой противень или на тот же на некотором расстоянии от свеклы). Чеснок вынимаем минут через 10, не дольше, а свеклу – минут через 20–25, готовность надо будет проверять – она зависит от плотности корнеплода.

Печеный чеснок сохраняет все свои полезные качества, при этом он теряет привкус горечи, столь характерный для свежего сырого чеснока, и не оставляет так не

любимого многими послевкусы. В приготовлении соусов (супов, салатов) попробуйте использовать печеный чеснок.

Запеченные (сначала чеснок, затем свеклу) вынимаем из духовки. Когда свекла немного остынет, очищаем ее от кожицы. Из готового бульона достаем овощи и мясо, процеживаем, вновь разогреваем его. Опускаем в бульон на пару минут очищенные запеченные свеклы, они окрасят наш свекольник. Как только появился насыщенный «винный» цвет, вынимаем свеклу и выключаем бульон. Не передержите свеклу в кипящем бульоне – полезные вещества испарятся и цвет получится не такой насыщенный и красивый.

Пока остывают свекла и бульон, мелкими кубиками нарезаем овощи: оставшуюся часть корня сельдерея, лук, морковь, фенхель и пассируем их на сковороде в небольшом количестве растительного масла, солим и перчим по вкусу. Перекладываем овощи на тарелку. Пока они остывают, режем свеклу на очень тонкие кружочки, лучше для этого использовать специальные насадки комбайна. Внутрь каждой свекольной дольки кладем немного получившегося у нас легкого овощного микса и складываем дольку свеклы пополам. У нас получились свекольные равиоли. Осталось сделать соус для них. В блендере взбиваем мякоть 1–2 (по вашему вкусу) зубчиков печеного чеснока, белок 1 яйца, 100–150 г растительного масла. Холодный бульон наливаем в красивые большие бокалы, на тарелку кладем несколько свекольных равиоли, поливаем их соусом (или подаем отдельно) и наслаждаемся общением друг с другом и ароматным вкусом. Если вы хотите украсить тарелку кружочками редиса и огурца, порежьте тоненько (лучше также с помощью специальных насадок) и замочите в обычной холодной воде примерно на 30 минут, перед подачей красиво выложите их на тарелку. В этом случае кусочки редиса и огурца дольше сохранят свежий и аппетитный вид.

Такими овощами, приготовленными с выдумкой и вкусно, можно заинтересовать детей: они съедят немало равиоли и выпьют достаточно свекольного «вина», пока разгадают, что это.

На лужайке

Готовим суп-пюре из шпината на телячьем бульоне с соусом из куркумы и маракуйи, нежный и мягкий по вкусу.



Необходимо: 3 л телячьего бульона; 600–800 г телятины; 1/2 кг свежего шпината; 1 яйцо; 1 маракуйя; 2–3 зубчика печеного чеснока; 1 лимон; 100 г растительного маргарина; 20 г куркумы; 5–10 г черного перца; 10 г соли.

Берем кастрюлю из нержавеющей стали, 2–3 зубчика печеного чеснока (головку запекаем в течение 10 минут в духовке, разогретой до 180 °С) и масло. Кастрюлю раскаляем на огне, снимаем с огня и тут же наливаем в нее масло и выдавливаем чеснок, быстро перемешиваем их, добавляем часть бульона, еще раз перемешиваем. Все делаем быстро, пока кастрюля не остыла. В смесь из масла, бульона и чеснока целиком кладем вымытые листья шпината (без ножек). Если бульона недостаточно, добавляем еще немного – жидкости должно быть столько, чтобы листья шпината было удобно перемешивать. Интенсивно перемешиваем листья в горячей кастрюле, пока шпинат не начнет менять цвет, темнеть – это буквально 1–2 минуты.

Молодые листья шпината не стоит варить, чтобы лучше сохранить их полезные качества, им достаточно будет такой обработки. И если листьям в момент перемешивания не дать потемнеть, у супа получится приятный нежно-зеленый цвет.

Выжимаем в шпинат сок половины лимона и перекладываем смесь в блендер. Перемешиваем до получения однородной зеленой массы. Лимон и чеснок хорошо сочетаются со шпинатом.

Для того чтобы суп стал более сытным, в него можно добавить 2–3 отварные картофелины, перемешать их в блендере вместе со шпинатом.

Теперь надо сделать соус для супа. В блендере взбиваем белок 1 яйца, куркуму и мякоть 1 маракуйи. Солнечный, яркий соус прекрасно дополнит суп и по цветовой гамме и по вкусу добавит нейтральному шпинату, приправленному лимоном и чесноком, сладковато-пряных оттенков.

ОЖИДАЕМЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

Ī àdē Çàé-èé

Баскетбольный клуб «Маккаби» (Тель-Авив) не смог выйти в «финал четырех» розыгрыша Евролиги, проиграв четвертьфинальную серию соревнований белградскому «Партизану». Сербы выиграли три игры, а израильяне победили лишь в одной встрече четвертьфинальной серии.



Чак Эйдсон («Маккаби», Тель-Авив) борется за мяч с Александром Мариком (белградский «Партизан») во время третьего матча четвертьфинала Евролиги. Белград. 30 марта 2010 года

Это поражение было воспринято в Израиле болезненно: клуб «Маккаби» давно – и справедливо – считается лучшей спортивной командой страны, у клуба масса болельщиков среди разных слоев населения. К примеру, в 1970-х годах главным фаном «Маккаби» был тогдашний министр обороны Моше Даян. Перед каждой игрой Кубка Европы Даян обходил игроков обеих команд и пожимал руки баскетболистам. В этом ритуале сопровождал его невысокий крепкий человек, обходительный и в то же время суровый, звали человека Шимон Мизрахи.

Президент баскетбольного «Маккаби» Шимон Мизрахи находится на своем посту уже 41 год. А еще «баскетбольный президент» Мизрахи – успешный адвокат, подполковник резерва ЦАХАЛ и... опытный бизнесмен.

Мизрахи завоевал со своей командой 38 чемпионских титулов в Израиле и пять раз становился чемпионом Евролиги – достижение беспрецедентное. Он не только создал эту команду, он поставил ее на ноги и на зависть другим сделал из нее суперколлектив.

Фанатично преданные команде израильские болельщики любят шутить когда к месту, когда нет: «Что есть у нас, на этом куске Средиземноморья? – вопрошают они и, особо не задумываясь, отвечают: – Страна Израиля, ЦАХАЛ и “Маккаби”». При всей внешней предвзятости, при всем том, что в этом списке не упомянуто много чего другого, чем, несомненно, мог бы гордиться среднестатистический израильтянин, есть определенная доля правды в простодушных умозаключениях болельщиков.

В этом сезоне «Маккаби», попав в ТОП-16 розыгрыша Евролиги, проиграл в четвертьфинальной серии белградскому «Партизану».

Мизрахи, как и всегда, внешне никак не проявлял своих эмоций, встретился с журналистами, ответил на несколько острых вопросов, которые многих интересовали.



Шимон Мизрахи на церемонии, организованной в честь его дня рождения, перед началом первой игры баскетбольной Евролиги сезона 2009–2010 годов. Стадион «Nokia Arena».

15 октября 2009 года

– На ваш взгляд, «Маккаби» все еще первая команда Израиля?

– «Маккаби» всегда был и будет национальной командой, представляющей спорт Израиля. И это не только мое мнение и мнение наших болельщиков, находящихся на всех социальных уровнях.

– **Тем не менее «Партизан» сумел выбить «Маккаби» из розыгрыша Евролиги. Как вы себя при этом чувствуете?**

– Мог бы чувствовать себя лучше, как вы понимаете. Мы проиграли четвертьфинальную серию «Партизану» уже в Тель-Авиве, когда упустили разницу в 21 очко, в результате чего сербы сумели вырвать победу. Если бы мы удержали ту разницу в счете, все сложилось бы иначе, но спорт, впрочем, как и жизнь, не терпит сослагательного наклонения.

– **Выходит, «Партизан» лучше «Маккаби»?**

– На нейтральной площадке, за слова свои отвечаю, мы выиграем у «Партизана» 7–8 матчей из 10.

Но нейтральных площадок в соревнованиях такого высокого уровня нет. Трибуны либо за своих болеют, либо за чужих.

– **Бюджет «Маккаби» в этом сезоне – 18 миллионов долларов. У «Партизана» – 1,5 миллиона евро. Цифры несопоставимые. В свое время тренер команды Пини Гершон утверждал, что бюджет играет в баскетбол наравне с игроками. Но после второго поражения от сербов он изменил свою точку зрения, сказал, что деньги не играют никакой роли. Что думаете вы?**

– На уровень ТОП-16 розыгрыша Евролиги вышли команды класса польского «Сопота». То есть я хочу сказать, что в четвертьфинале бюджет не имеет решающего значения. Все более или менее равны на этом уровне. Но остальные участники финальной четверки, особенно «ЦСКА» и «Барселона», имеют бюджет много больший, чем у нас. Деньги не главный аргумент в спорте, но важный. Будет интересно, если «Партизан» выиграет Евролигу и тем самым как бы ответит на ваш вопрос.

– **Что вы можете сказать о белградских болельщиках? Не всегда ведь увидишь поющими и пляшущими 24 тысячи зрителей?**

– На эту серию игр сербы мобилизовали всех, кого могли. Иногда болельщики переступали границы дозволенного: забрасывали наших игроков разными предметами, оплевывали их, но общее впечатление от болельщиков – что-то фантастическое.

– **На одной из пресс-конференций Пини Гершон пожаловался, что «Маккаби» в Израиле недостаточно любят, недостаточно ценят и желают успеха...**

– Я думаю, что все-таки «Маккаби» желают успеха очень многие в Израиле. Конечно, сказывается и зависть, и беспомощность соперников, но эти проявления решающего значения для нас не имеют.

– **Сказалось ли появление в стартовой пятерке и на доминирующих позициях израильских игроков? Почему израильтян так мало?**

– К сожалению, это мнение расхожее в спортивных кругах. Спорить не собираюсь, скажу только, что у нас в команде на сегодняшний день лучшие израильские игроки. В будущем мы еще больше усилим позиции местными баскетболистами.

К словам Шимона Мизрахи остается добавить, что клуб его изменит состав в будущем сезоне, – это факт очевидный. Речь идет, прежде всего, о возвращении в «Маккаби» игроков, выступающих в европейских командах. Это форвард Лиор Элиягу («Каха Лабораль», Испания) и защитник Йотам Гальперин («Олимпиакос», Греция), которые не могут быть довольными временем, отводимым им на игровой площадке. Оба они воспитанники «Маккаби» и могут резко усилить родной клуб. Хотя с их возвращением могут начаться определенные проблемы, прежде всего с подписанием контрактов на будущий год или годы. Помимо вышеназванных бесспорных кандидатов идут разговоры о привлечении в команду форварда из Галилеи Элишая Кадира, который резко прибавил в минувшем сезоне.

Помимо этого среди израильских баскетболистов претендует на приглашение в «Маккаби» и молодой одаренный разыгрывающий – Гай Мекель. Он также является воспитанником клуба и отдан в аренду команде «А-Поэль» (Галиль-Эльон). Правда, вернуть его проще, чем остальных ребят, если решить один существенный вопрос, связанный со временем нахождения игрока на площадке: юноша требует гарантий. В «Маккаби» никто ничего гарантировать не может, тем более 21-летнему игроку.

Информация о том, что второй тренер клуба, Шарон Друкер, может уйти главным наставником в одну из европейских команд, похоже, достоверна. В этом случае «Маккаби» намерен пригласить на освобождающееся место Оеда Каташа, который уже работал в команде. Помимо этого, клуб оставляет и центровой Янив Грин, который не впечатлил своей игрой в прошедшем сезоне. Так или иначе, «Маккаби» ждут большие перемены в предстоящем сезоне.

И все они, эти перемены, ожидаемы и необходимы.

ЮРИЙ ЛЕВИН. КАМЕНЬ СЕМИОТИКИ

Уход из жизни 14 апреля 2010 года, накануне 75-летия, выдающегося деятеля семиотического движения 1960–1980-х годов, участника «Белой книги» по делу А. Синявского и Ю. Даниэля, крупнейшего исследователя творчества Осипа Мандельштама и Бориса Пастернака Юрия Иосифовича Левина обозначает важный рубеж в истории неконформистской интеллигенции второй половины XX века.



Юрий Иосифович был сыном замечательного юриста и еврейского мыслителя Иосифа Давыдовича Левина, чьи труды в двух томах попечением сына вышли в издательстве «Радикс» среди первых «соросовских» книг. Роль и место этих томов в истории еврейской мысли еще предстоит оценить. Как предстоит оценить и поступок Юрия Иосифовича, когда на Лондонской конференции 1991 года по творчеству Осипа Мандельштама он вместо заявленного сверх-научного доклада (название которого было едва ли не сознательно пародийным) зачитал текст «Почему я не буду делать доклад о Мандельштаме», впоследствии вошедший в том его избранных трудов наряду с научными статьями. Этот поступок был результатом долгих размышлений. А мне он показал этот текст больше чем за год до поездки в Англию.

Дело в том, что для Левина Мандельштам и русская поэзия вообще были образом жизни, совмещавшимся в те баснословные годы с наукой, сама форма которой была вызовом социуму. Чтение академического Мандельштама на академических конференциях – это уже не то, другая жизнь, не его. Он вообще делал только первые работы. Такими были и его статьи о словарях поэзии Пастернака и Мандельштама, целостные описания поэтики Ходасевича и блистательные парные описания логики мысли довольно системного Владимира Соловьева и «беспочвенного» Льва Шестова. Между ними не могло не оказаться такого же описания Тютчева, и оно появилось.

Творчество Левина всегда было начальным и первым. Так, его выдающийся современник и коллега Владимир Топоров говорил мне: «Надо бы издать книгу Юрия Иосифовича, он поразительный человек: сам отвечает на поставленные им же вопросы». Понятно, что такой человек не мог включиться в проекты по изданию академических собраний своих любимых поэтов. И сожаление по этому поводу теперь можно найти в письмах Михаила Гаспарова...

Правда, в самых первых мандельштамовских и пастернаковских сборниках всегда были статьи Левина, опубликованные когда-то в зарубежной славистской периодике.

В доме его можно было разжиться подобного рода литературой, о тамиздате и говорить нечего. Юрий Иосифович был аккуратен: все данное на руки заносил в соответствующую тетрабочку, откуда долг вычеркивал по возвращении. После чего тут же можно было поймать что-то новое. Я был сильно удивлен, увидев его однажды с «новомирским» «Доктором Живаго» в руках. «Хочу прочесть его с моим народом», – объяснился Левин, в очередной раз обозначив для себя рубеж 1980–1990-х годов.

Как-то в ответ на мой рассказ о том, как я сдавал экстерном кандидатский минимум по философии и спорил с одним философом сталинского разлива о диалектичности Канта в точном соответствии с темой билета, услышал от него: «Кончайте все это доморощенное неокантианство, почитайте лучше “Критику чистого разума”!» Я тогда сразу задал ему вопрос: «А вы когда читали?» И услышал: «С папой в седьмом классе». Левину повезло. Его отца лишь погнали откуда можно, но не посадили, не убили, а значит, Канта можно было читать с папой. И этот его общий, левинский, еще довузовский философский уровень мысли просматривается даже в самых структурных и логико-лингвистических работах.

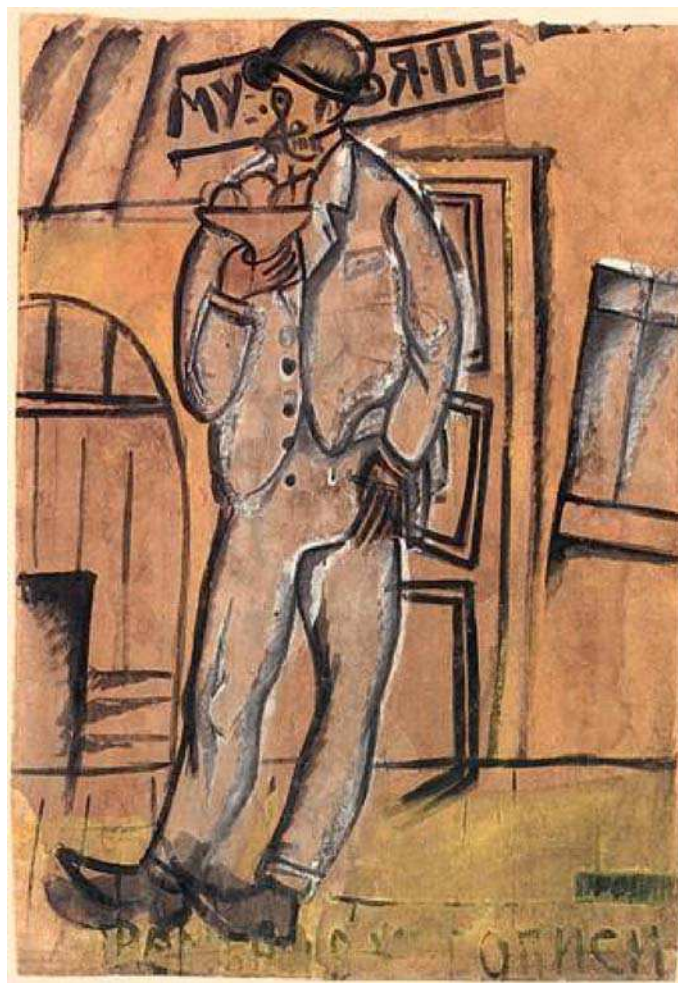
После 2000 года наши встречи стали редкими и случайными. В последний раз я видел Левина на экране, на II чтениях памяти Андрея Синявского в 2009 году, где в кадре поминок по Даниэлю мелькнуло знакомое лицо. То же самое, которое изображено на книге конца 1990-х, где мне было написано красной ручкой: «Это мой могильный камень». Теперь это, к сожалению, так.

Ėāī ēā Ėāōēñ

СВОБОДНЫЙ ХУДОЖНИК НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ ИСТОРИИ

עזריאל אברמוביץ

Этой весной на русских торгах Sotheby's в Нью-Йорке единым лотом продавалась коллекция Якова Абрамовича Перемена (1881–1960). Сионист, меценат, заметная фигура в общественной жизни Одессы, он незадолго до революции собрал очень неплохую коллекцию работ художников, входивших в «Общество независимых художников». В частности, Амшея Нюренберга, Исаака Малика, Теофила Фраермана, Михаила Гершенфельда, Сигизмунда Олесевича, Израиля Мексина. В 1919-м Перемен уехал в Палестину, увезя с собой свое собрание. В Нью-Йорке 86 произведений выставлялись единым лотом и были проданы за 1,99 млн долларов (при эстимейте – 1,5–2 млн). Купил коллекцию киевский бизнесмен Андрей Адамовский. Предполагается, что коллекция будет выставлена в музее, который меценат собирается открыть. Объединяет этих еврейских художников то, что их творчество равно связано как со знаменитой парижской школой, так и с колоритом одесской жизни. Последний раз коллекция Перемена демонстрировалась в 2006 году в израильском Музее русского искусства Марии и Михаила Цетлиных в Рамат-Гане, называлась выставка «Одесские парижане». Впрочем, последний раз – не совсем точно. Незадолго до торгов, в конце марта, Sotheby's привез в Киев 14 произведений из 86, представив их в Музее искусств Богдана и Варвары Ханенко.



Амшей Нюренберг. Дружеский шарж на Якова Переме́на. 1918 год

«Я жил тогда в Одессе...»

То, что Одесса до революции чувствовала себя маленьким Парижем, знают все. Сходство усиливали не только гостиница под названием «Франция», но и бурный общественный темперамент жителей и их любовь к искусствам. Когда читаешь воспоминания – например, Амшея Нюренберга «Одесса–Париж–Москва», только что вышедшие (Jerusalem: Gesharim; М.: Мосты культуры, 2010), – возникает ощущение, что одесситы рождались с любовью к живописи.

Этому много способствовало Одесское художественное училище, где преподавали замечательные мастера, например старый грек Кириак Константинович Костанди, чьи пейзажи Репин однажды назвал «бриллиантами». У Костанди было множество учеников, но не оказалось последователей. К огорчению учителя, те, кто прилежно посещал его класс, затем норовили увлечься новейшими французскими художниками, всякими фовистами, а потом и того хуже – кубистами и Пикассо. Среди этих учеников были Амшей Нюренберг и Теофил Фраерман, которые уехали в Париж, но к 1915 году вернулись.

Как ни странно, одесские ученики Костанди Фраерман и Нюренберг познакомились именно в Париже. К 1911 году, когда Амшей Нюренберг в ночи пешком пересек российско-немецкую границу (не без помощи контрабандистов, у которых были налажены взаимовыгодные связи как с пограничниками-казаками, так и с немецкими солдатами), Фраерман уже освоился во Франции. Он был знаком с Матиссом, работал с

Дега, посещал мастерскую Родена. Да и сам уже не был безвестен. Его работы знали, покупали, выставляли. Во всяком случае, он участвовал в Осеннем салоне с большими декоративными панно. Нюренберг же, только что прибывший во Францию и искавший подработки, начал писать художественные рецензии в «Парижском вестнике» (не подозревая, что литературная стезя доведет его до художественных обзоров в газете «Правда»). Короче, он написал отзыв на Осенний салон и на панно Фраермана. В результате они познакомились и подружились.

Дружба продолжилась в Одессе. Понятно, что если в Париже оба скучали по морю, парусникам, родным местам, то в Одессе они вскоре начали скучать по Парижу. Благодаря этому в 1915 году и появилось «Общество независимых художников» – наш ответ французскому Салону независимых. Фраерман и Нюренберг были среди его организаторов. Среди «независимых» в Одессе оказались люди самые неожиданные. Например, профессор медицины, специалист по кожным болезням Николай Юхневич, который, судя по воспоминаниям Нюренберга, был отличным рисовальщиком. Ему удавались не только поэтические пейзажи, но и острые карикатуры.

Вообще, одесские профессора медицины активно участвовали в художественной жизни и были завсегдатаями выставок, вечеров, обсуждений. Нередко выставлялись сами. Самым колоритным из них был анатом Лысенков, который своими учителями в искусстве считал Матисса и Гогена. Натюрморты из фруктов он ставил прямо в анатомичке, неподалеку от цинковых столов, на которых лежала другая *natura morta*. Для художников Лысенков написал специальный учебник по анатомии, который пользовался невероятным спросом.

В такой арт-атмосфере домашние коллекции были всеобщей страстью. Некоторым удавалось создать замечательные собрания, как, например, одесскому художнику Николаю Дмитриевичу Кузнецову. Он специализировался на западной живописи. Любимые работы Кузнецов увез с собой в эмиграцию в 1919 году. Другие ориентировались не на музейный уровень, а на «Магазин картин Лоренцо», что был на Дерибасовской. Там можно было по сходной цене купить все, что душе угодно: от Левитана до Айвазовского. Благо от имени классиков выступали ученики все того же прославленного Одесского художественного училища Зусер и Беркович. Вряд ли они были монополистами, потому как уж очень велик был фронт работ. Когда в 1919-м большевики создали Комитет по охране памятников искусства и старины и собрали все конфискованные богатства, имеющие отношение к искусству, в доме графа Толстого, их ждало разочарование. «Выяснилось, – пишет Нюренберг, – что из 25 Левитанов 18 оказалось подделками, из 15 Репиных только 8 были подлинными, из 17 Айвазовских только 8 принадлежали кисти знаменитого мариниста. Фальшивыми были также работы Серова, Поленова и других».



Исаак Малик.

Базарный день в Крутах. 1919 год

Книготорговец Яков Абрамович Перемен выбрал третий путь. Он решил собрать коллекцию еврейских художников и сделал ставку на одесских «независимых», чьи выставки финансировал и чьи работы покупал. Они были почти ровесниками: к примеру, Яков был лишь на шесть лет старше Амшея Нюренберга.

Яков Абрамович был председателем радикальной партии «Рабочие Сиона», членом Совета еврейской общины Одессы, и, судя по всему, он еще до появления на горизонте большевиков мечтал об отъезде в Эрец-Исраэль. Там-то, на Земле Израиля, собранная в Одессе коллекция должна была пригодиться – для создания галереи «лучших еврейских художников». Если судить по воспоминаниям Перемена, изданным в 1942 году, его мечты разделяли Нюренберг, Фраерман и Малик. Они также собирались в Палестину – с намерением организовать там Академию современного искусства. Нюренберг в воспоминаниях, написанных в советское время, по понятным причинам об этом не упоминает. Не называет даже имени Перемена.

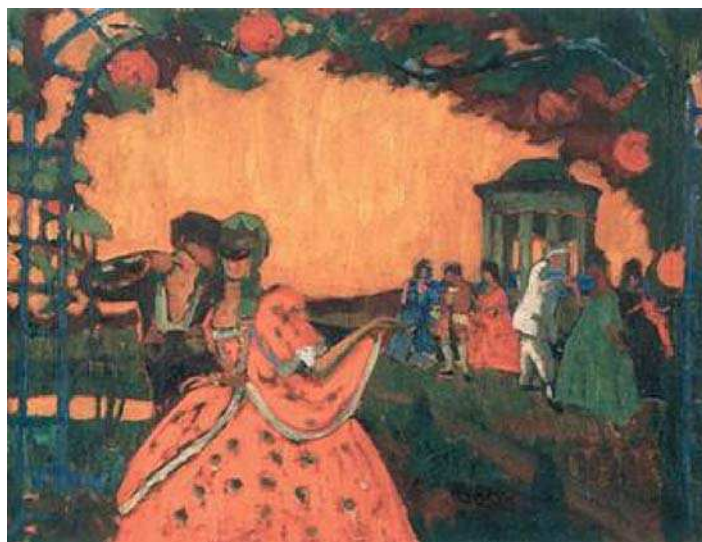
Меж тем даже в 1918 году отношения собирателя и художников были очень дружескими. Свидетельством тому – шарж, сделанный в стилистике футуристов и «Ослиного хвоста». На вечеринке после очередной выставки «независимых» портрет экспромтом набросал Нюренберг, остальные художники докончили дело «с быстротою молнии», как писал герой шаржа. «Общество независимых художников» к тому времени было переименовано в «Товарищество» – в соответствии с духом времени. Кроме того, все в том же 1918-м в Одессе неугодный Нюренберг основывает «Свободную мастерскую», куда заглядывал Эдуард Багрицкий, и «Детскую академию», где преподавали те же питомцы парижской школы – Нюренберг и Фраерман, а также брат Ильфа Сандро Фазини, Исаак Малик, Сигизмунд Олесевич.

Очевидно, что начинания вдохновлялись не только «музыкой революции», но и воспоминаниями о посещении парижских академий и школ. По крайней мере, в «Свободных мастерских» занятия шли целый день: днем живопись, вечером – рисунок. На рисование обнаженной натуры приходили и преподаватели, и ученики. Характерно замечание Нюренберга, что, возвращаясь поздними вечерами из студии, они с Фраерманом обыкновенно «вели оживленный разговор на любимую тему – о Париже».

Надо сказать, иногда от этих бесед их отвлекали грабители. Впрочем, в кроватной чехарде Гражданской войны они были едва ли не меньшим из зол. Амшей Маркович вспоминал, что в момент очередной встречи с «неприятелем», когда он начал препирательства из-за бумажника, Фраерман не без иронии посоветовал другу: «Отдай им деньги и не мешай. Они на работе».

Воспоминания о Париже чередовались с честолюбивыми мечтами о будущем. Но образ Академии современного искусства на земле предков явно мерк по сравнению с перспективами мировой революции. В шуточной песенке о посиделках «Свободной мастерской», сочиненной Багрицким, появились неожиданные строки: «Здесь Нюрнберг рисует быстро, / Надеждой сладкой окрылен, / Что должность важную министра / Получит на Украине он».

«Должность важная министра» могла появиться, разумеется, только при красных. Багрицкий, конечно, шутил. Тем не менее уже на второй день после прихода красных в 1919 году педагогическая работа была оставлена. И целая бригада художников и поэтов (в которую входили, кстати, и Максимилиан Волошин, и Александра Экстер, и Теофил Фраерман) во главе с Нюрнбергом является в исполком с предложением поставить искусство на службу революции. И начали – с праздничного оформления Одессы к Первомаю.



Маски в Версале (Комедианты). 1917 год

Увидеть Париж и умереть?

С точки зрения людей, прибывавших в столицу Франции с юга, будь то из жаркой Испании или Одессы, в Париже все было прекрасно, кроме одного: в нем было холодно и не было моря. Может показаться странным, что о мучительном парижском холоде пишут практически все мемуаристы, рассказывающие о жизни там художников в начале XX века. Все же Франция не Сибирь. Но дело не в климате, а в том, что в дешевом «Улье» («La Ruche»), где селились бедные выходцы из Витебска, Смилевичей, Одессы, Вильнюса и других городов и местечек Российской империи, не было ни газа, ни печек, ни каминов. Вообще-то, воды и электричества тоже не было. Но при ледяных сквозняках из окон отсутствие воды не ощущалось так остро. «Зимой почти никто не мылся, постепенно натягивая весь свой гардероб. В аллеях “Улья” и проезде Данциг встречались странные фигуры, завернутые, словно пугала, в одеяла и старые коврики, – пишет

французский историк Жан-Поль Креспель, – Сутин, приехавший из России в тулупе, не выходил без него даже летом, боясь, как бы его не украли».

Со странностями французской жизни примиряли музеи и друзья-земляки. Когда Амшей Нюренберг приезжает в Париж в 1911 году, во Франции его встречают выпускники Одесского училища скульптор Оскар Мещанинов и художник Исаак Федер. Они помогают для начала найти дешевый отель в Латинском квартале. Ведут в Лувр и Люксембургский музей. Рассказывают, где можно сытно поесть за один франк, а в случае отсутствия и его – воспользоваться «обжоркой» «Мать с очками». Наконец они приводят в кафе «Ротонда», к папаше Либиону, где можно встретить художников, критиков, маршанов.

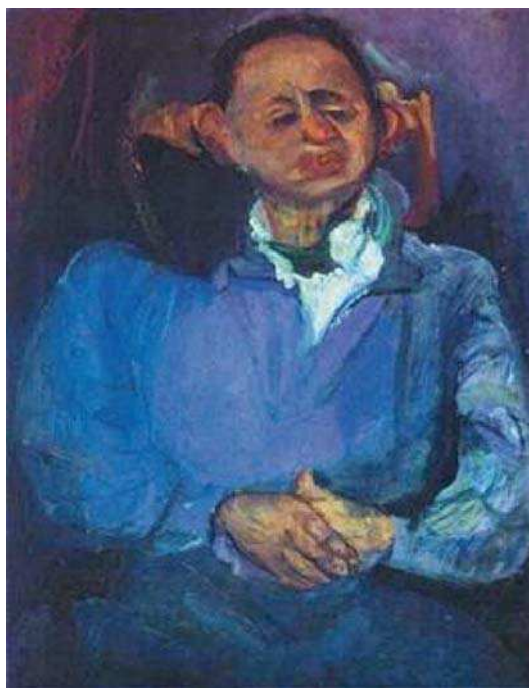


Теофил Фраерман. Пророк. 1919 год

Но поначалу актуальнее всего были поиски возможности подзаработать. Отличный скульптор, ученик знаменитого Жозефа Бернара, Оскар Мещанинов умел находить для себя и для друзей подработки самые невероятные. Например, малярные работы от профсоюза строительных рабочих. Главным было не проколоться и не выдать, что «строители» – художники из «Ротонды». До 1923 года, когда у Мещанинова будет своя вилла на опушке Булонского леса, построенная Корбюзье, было еще очень далеко. Как и до его персональной выставки в Пти-пале в 1939 году. Как и до знаменитой его скульптуры на тему Холокоста «Мужчина с мертвым ребенком», созданной после войны уже в Америке.

Впрочем, судя по воспоминаниям Нюренберга, в любые годы Мещанинов оставался замечательным другом. В 1912 году он позволяет Нюренбергу и Федеру жить в своей мастерской. Той самой, по поводу которой Федер говорил приятелю: «Ты, Амшей, должен быть благодарен судьбе. Ты живешь в прекрасном районе: с одной стороны у тебя знаменитая тюрьма Санте, с другой женский монастырь – символ душевного и телесного покоя, а позади – знаменитая венерологическая больница». Когда у Нюренберга появились признаки туберкулеза, Мещанинов нашел ему бесплатного врача. Он же помог продать картины, чтобы собрать хоть какие-то деньги на возвращение домой. Более того, когда в 1927 году Нюренберг приезжает в Париж уже в качестве «культурного посла» от Советской России, для чтения лекций о советском искусстве, Мещанинов хлопочет, помогает устроить на Осенний салон работы старого друга. Что касается Нюренберга, то он, похоже, начинает смотреть на преуспевающего земляка с пролетарской ревностью, заметив по поводу двухэтажного особняка Мещанинова в Булонском лесу: «Сын витебского портного неплохо устроился в Париже».

Не менее тесные дружеские отношения связывали Нюренберга и с другим сыном Витебска, знаменитым Марком Шагалом. Почти год, с зимы 1911 года, они делили одну мастерскую на двоих в «Улье». Тогда они сложились и купили печь и ведро угля. День печка стояла на половине Шагала, день – у Нюренберга. Последний вспоминал: «Часто Шагал ночью приходил ко мне с градусником измерять температуру и был очень доволен, когда у меня было 14 или 15 градусов тепла. “Поздравляю! – восклицал он. – У нас тепло!”» Шагал работал по ночам.



Хаим Сутин. Портрет скульптора Оскара Мещанинова. 1923–1924 годы

Когда они встретились в 1927 году, Марк Шагал был уже парижской знаменитостью. Обоим бедная парижская юность с дистанции лет казалась лучезарной. Шагал описывал творческие радости «Улья»: «Монпарнасская жизнь – это великолепно! Я работал ночи напролет... В соседней мастерской рыдала обиженная натурщица, у итальянцев пели под мандолину, Сутин возвращался с рынка с грудой несвежих цыплят, чтобы рисовать их, а я сидел один в своей деревянной келье перед мольбертом при свете жалкой керосиновой лампы... За тридцать пять франков в квартал я располагал всеми

мыслимыми удобствами». Главными среди этих «мыслимых удобств» (помимо летнего тепла) были угол для работы и творческая свобода.

Похоже, именно ее к 1930-м годам потерял Амшей Нюренберг. Если в 1910-х годах он пишет работы под явным влиянием Матисса на мотивы античных мифов и французской поэзии, то теперь рядом с уголками старого Парижа появляется экспрессивно-плакатная работа «Буржуазная сволочь» (1929–1930), где демонстранта уводит парочка полицейских, а парочка буржуа наблюдает сцену в монокли. Если в 1910-х годах его интересовали детское творчество, деформации природы, интерес к которым, возможно, вызван работами Шагала, то в конце 1920-х ни о каком «интуитивном поиске» речь уже не идет. Пресс идеологических установок давит в Париже не меньше, чем в России. Положение «культурного посла» от Луначарского обязывает.



Амшей Нюренберг. Буржуазная сволочь. 1929–1930 годы

Из края в край...

Как ни странно, отчасти чувство свободы (художественной, конечно) возвращается тогда, когда Амшей Нюренберг оказывается далеко и от Парижа, и от Москвы – в Ташкенте. Речь не о командировке 1922–1923 годов, когда он впервые попадает в Среднюю Азию для организации реставрации исторических и культурных памятников. Речь об эвакуации в 1941–1943 годах. На выставке в Музее Востока «Рахмат, Ташкент!», название которой дала строчка из Ахматовой, можно увидеть одну из лучших, на мой вкус, графических работ Нюренберга «Эвакуированные». Рисунок тушью на небольшом листе отстранен и выразителен одновременно. Он похож на кадр из фильма, где за деревьями, вдалеке от зрителей, движется бесконечная вереница людей: с детьми, груженные невеликим скарбом... Беззащитность перед небом и судьбой, бесконечность движения и людского потока. Все то, что придает этой маленькой работе эпический масштаб и пронзительный «запах сиротства», о котором писала Ахматова.



Амшей Нюренберг.

Эвакуированные. 1941–1943 годы

Нет, ташкентская школа или самаркандская, в отличие от парижской, не сложилась. Хотя могла бы. В Средней Азии оказываются бывшие «парижане» Амшей Нюренберг, Роберт Фальк, москвич Александр Лабас... Как ни странно, именно здесь, в Азии, вновь начинает проступать память о Париже. Что, в общем, понятно. Многие художники искали не столько подробностей быта, сколько узнавали лик старого Востока. Проводниками в неведомый мир служили Библия, сказки Шахерезады и... французские художники. Даже ослики на улицах и женщины в паранджах, которые, видимо, поражали воображение прибывших, выглядят порой цитатами из Матисса. С другой стороны, вслед за Лабасом многие художники могли повторить: «Здесь небо кажется ближе, а бесконечность ощутимее. <...> Мне хотелось передать вечность и древность восточной красоты, казавшейся зыбкой в те страшные годы, – все жили мыслями о войне». В цепочке страшных лет и трудных странствий Средняя Азия оказалась звеном, напомнившим о вечности библейского слова, о Земле Израиля... Словом, о Земле обетованной, казавшейся далеко, как никогда, и одновременно близко. Путь к ней оказался очень долгим – через Париж, Москву, Ташкент...

ЛЕЖАИМ ИЮНЬ 2010 СИВАН 5770 – 6(218)

АВТОРЫ НОМЕРА:

Оксана Алексеева журналист, лауреат премии ФЕОР «Человек года – 2002».

Роман Арбитман (р. 1962) литературный критик. Автор «Истории советской фантастики» и нескольких детективных романов (под маской Льва Гурского).

Борис Барабанов (р. 1973) журналист, музыкальный обозреватель Издательского дома «Коммерсантъ».

Элизабет Бронер американская писательница, прозаик, драматург, эссеист.

Дмитрий Быков (р. 1967) поэт, прозаик, журналист («Орфография», «Эвакуатор» и др.), автор биографий Б. Пастернака и Б. Окуджавы. Лауреат премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер». Теле- и радиоведущий («Пятый канал», «Сити-FM»).

Жанна Васильева арт-критик, сотрудничает в изданиях «Литературная газета», «Сегодня», «Персона» и др.

Матвей Ганапольский (р. 1953) журналист, теле- и радиоведущий. Лауреат многих журналистских премий: финалист «Тэффи», «Телегранда», премии ФЕОР «Человек года – 2009».

Ишайя Гиссер (р. 1961) раввин. Автор, переводчик, редактор и составитель более 70 книг и учебных пособий. Проректор по еврейским дисциплинам в Международном еврейском институте экономики, финансов и права.

Михаил Горелик (р. 1946) эссеист, публицист, литературный критик. Автор книги «Разговоры с раввином Адином Штейнзальцем» (2003).

Марк Зайчик (р. 1947) журналист («Континент», «22»), прозаик («Сделано в СССР», «Иерусалимские рассказы»).

Исроэл-Иеошуа Зингер (1893–1944) еврейский прозаик и журналист. Писал на идише. Автор романов «Сталь и железо», «Йоше Калб», «Братья Ашкенази», «Семья Карновских» и других, книги очерков «Новая Россия», воспоминаний «О мире, которого больше нет» и двух сборников рассказов.

Александр Иличевский (р. 1970) прозаик, поэт: «Случай», «Не-зрение», «Волга меда и стекла», «Нефть», «Ай-Петри», «Гуш-мулла». Лауреат премий им. Ю. Казакова (2006) и «Русский Букер» (2007) за роман «Матисс».

Григорий Канович (р. 1929) прозаик, драматург, киносценарист. Национальная премия Литвы (1986). Кавалер ордена Гедиминаса III степени.

Марина Карпова преподаватель, переводчик, автор учебно-методических пособий по преподаванию еврейской традиции и классических текстов.

Леонид Кацис (р. 1958) филолог («Осип Мандельштам: мускус иудейства»; «Кровавый навет и русская мысль. Историко-теологическое исследование дела Бейлиса»). Профессор Учебно-научного центра библеистики и иудаики РГГУ.

Аркадий Ковельман (р. 1949) историк, заведующий кафедрой иудаики Института стран Азии и Африки при МГУ. Основные работы: «Риторика в тени пирамид: массовое сознание римского Египта», «Эллинизм и еврейская культура».

Евгений Левин (р. 1973) журналист, переводчик, автор пособий по еврейской традиции.

Афанасий Мамедов (р. 1960) прозаик, журналист. Автор романов «Хазарский ветер» и «Фрау Шрам». Финалист Букера-2003, премии им. Льва Толстого (2005), лауреат премии им. Казакова (2007).

Алексей Мокроусов (р. 1965) литературный и художественный критик, печатается в «Коммерсанте» и «Ведомостях».

Нелли Портнова литературовед, доктор филологии. Автор-составитель хрестоматии «Быть евреем в России».

Арсен Ревазов (р. 1966) писатель («Одиночество-12»), фотограф («Неочевидный мир», фотобиеннале-2010), деятель медиабизнеса. Автор идеи сообщества community.livejournal.com/mgendelev/.

Владимир Хазан (р. 1952) филолог, профессор Еврейского университета в Иерусалиме. Автор книг и публикаций, посвященных различным аспектам русско-еврейских культурных связей.

Владимир Шляхтерман (р. 1924) журналист, спортивный обозреватель («Московский комсомолец», «Журнал 64 – шахматное обозрение» и др.).

Ада Шмерлинг театральный критик, обозреватель газеты «Известия-Неделя», сайта OpenSpace.ru и журнала «Эксперт». Публиковалась в «Psychologies», «Madame Figaro».

Адин Эвен-Израэль (Штейнзальц) (р. 1937) раввин, педагог, ученый. Основатель новаторских учебных заведений и просветительских организаций в Израиле и СНГ, в том числе Института изучения иудаизма (1990). В 1988 году удостоен высшей награды еврейского государства – Премии Израиля.

Михаил Эдельштейн (р. 1972) филолог, литературный критик, заведующий редакцией биографического словаря «Русские писатели». Печатается в «Русском журнале», «Политическом журнале», «Новом мире», «Знамени», «Новом литературном обозрении», газетах «Русская мысль», «Ведомости» и др.

Леонид Юниверг (р. 1945) историк, библиограф, издатель. Главный редактор и составитель альманаха «Иерусалимский библиофил».

Эстер Яглом исследователь еврейских классических текстов и еврейской мистики. Докторант Университета Бар-Илан, преподаватель и ведущая бейт мидрашей.